

Гиляровский Владимир
Собрание сочинений в четырех томах
Том 2. Трущобные люди. Рассказы, очерки, репортажи

Трущобные люди

Человек и собака

— Лиска, ляг на ноги да погрей их, ляг! — стуча от холода зубами, проворчал нищий, стараясь подобрать под себя ноги, обутые в опорки и обернутые тряпками.

Лиска, небольшая желтая культиная дворняжка, ласково виляя пушистым хвостом и улыбаясь во весь свой ротик с рядом белых зубов, поднялась со снега и легла на заскорузлые ноги нищего.

— Эх, Лисичка! и холодно-то нам с тобой и голод» но! Кою ночь ночуем на морозе, а деваться некуда... В ночлежных обходы пошли, как раз к «дяде»¹ угодишь, а здесь, в саду, на летнем положении-то, хоть и не ахти как, а все на воле... Еще спасибо, что и так, подвал-то не забили... И чего это в саду дом пустует: лучше бы отколотили доски да бедных пущали... А вот хлебушка-то у нас с тобой нет... Ничего, до лета потерпим, а там опять на вольную работу, опять в деревню косить пойдем и сыты будем... В лагеря сходим... Солдаты говядинки дадут... Наш брат солдат собак любит... Сам я вот в Туречине собачонку взял щенком в лесу, как тебя же, выкормил, выходил и офицеру подарил. В Расею он ее взял... «Чудаком» звали собаку-то. Бывало, командир подзовет меня и спросит: «Как звать собаку?» — «Чудак, мол, ваше благородие!» А ён, покелича не поймет, и обижается, думает, его чудаком-то зовут... Славная собака была!.. Вот и тебя, как ее, тоже паршивым щенком достал, выкормил, да на горе... Голодаем вот...

Лиска виляла хвостом и ласково смотрела в глаза нищему...

Начало светать... На Спасской башне пробило шесть. Фонарщик прошел по улице и потушил фонари. Красноватой полосой засветлела зорька, погашая одну за другой звездочки, которые вскоре слились с светлым небом... Улицы оживали... Завизжали железные петли отпираемых где-то лавок... Черные бочки прогремыхали... Заскрипели по молодому снегу полозья саней. Окна трактира осветились огоньками...

Окоченелый от холода, выполз нищий из своего логова в сад, послышал палыцы, протер ими глаза, заплывшие, опухшие, — умылся — и приласкал вертевшуюся у ног Лиску.

— Холодно, голубушка, холодно, ну полежи, милая, полежи ты, а я пойду постреляю² и хлебушка принесу... Ничего, Лиска, поправимся!.. Не все же так... Только ты-то не оставляй меня, не бегай... Ты у меня, безродного бродяги, одна ведь. Не оставишь, Лиска?

Лиска еще пуще заюлила перед нищим и по его приказанию ушла в логово, а он, съезжившись и засунув руки в рукава рваного кафтана, зашагал по снегу к блестящим окнам трактира...

* * *

— Сюда, ребята, закидывай сеть, да захватывай подвал, там, наверное, есть! — командовал рыжий мужик шестерым рабочим, несшим длинную веревочную сетку вроде невода.

Те оцепили подвал, где была Лиска.

¹ В тюрьму

² Посбираю милостыню

Она с лаем выскочила из своего убежища и как раз запуталась в сети. Рыжий мужик схватил ее за ногу. Она пробовала вырваться, но была схвачена железными щипцами и опущена в деревянный ящик, который поставили в фуру, запряженную рослой лошадью. Лиска билась, рвалась, выла, лаяла и успокоилась только тогда, когда ее выпустили на обширный двор, окруженный хлевушками с сотнями клеток, наполненных собаками.

Некоторые из собак гуляли по двору. Тут были и щенки, и старые, и дворовые, и охотничьи собаки — словом, всех пород. Лиска чувствовала себя не в своей тарелке и робко оглядывалась. Из конторы вышел полный коротенький человек и, увидав Лиску, спросил:

— Это откуда такая красавица?.. совсем лисица, и шерстью, и хвостом, и мордочкой.

— Бродячая, в саду взяли...

— Славная собачка! не сажать ее в клетку, пусть в конторе живет, а то псов прорва, а хорошего ни одного нет... Кличка ей будет «Лиска»... Лиска, Лиска, иси сюды!

Лиска, услышав свое имя, подбежала к коротенькому человечку и завиляла хвостом.

Ее накормили, устроили ей постель в сенях конторы, и участь ее была обеспечена, — она стала общей любимицей...

Только что увезли ловчие Лиску, возвратился и бродяга в свой подвал. Он удивился, не найдя в нем своего друга, и заскучал. Ходил целый день как помешанный, искал, кликал, хлеба в подвале положил (пуцай, мол, дура, поест с голодухи-то, набегается ужо!), а Лиски все не было... Только вечером услышал он разговор двух купцов, сидевших на лавочке, что собак в саду «ловчие переимали» и в собачий приют увезли.

— В какой приют, ваше степенство? — вмешался в разговор нищий, подстрекаемый любопытством узнать

о судьбе друга.

— Такой уж есть, выискались, вишь, добрые, вместо того чтобы людей вот вроде тебя напоить-накормить да от непогоды пригреть, — собакам пансион устроили.

— Вроде как богадельня собачья! — вставил другой, — и берегут и холят.

Поблагодарил бродяга купцов и пошел дальше, куда глаза глядят.

Счастлив хоть одним был он, что его Лиске живется хорошо, только никак не мог в толк взять, кто такой добрый человек нашелся, что устроил собачью богадельню, и почему на эти деньги (а стоит, чай, немало содержать псов-то) не сделали хоть ночлежного угла для голодных и холодных людей, еще более бесприютных и несчастных, чем собаки (потому собака в шубе, — ей и на снегу тепло). Немало он подивился этому.

Прошло три дня. Сильно заскучал бродяга о своем культяпом друге (и ноги-то погреть некому и словечушка не с кем промолвить!) и решил наконец отыскивать приют, где Лиска живет, чтобы хоть одним глазком посмотреть, каково ей там (не убили ли ее на лайку, али бо што).

Много он народу переспросил о том, где собачья богадельня есть, но ответа не получал: кто обругается, кто посмеется, кто копеечку подаст да, жалеючи, головой покачивает, — «спятил, мол, с горя!» Ходил он так недели зря. Потом, как чуть брезжить стало, увидел он в Охотном ряду, что какие-то мужики сеткой собак ловят да в карету сажают, и подошел к ним.

— Братцы, не вы ли недавнись мою Лиску в саду пымали? Така собачонка желтенькая, культяпая...

— Там вот пымали в подвале под старым трактиром... Как лисица, такая...

— Это она! Самая она и есть!

— Ну, пымали, у нас живет, смотритель к себе взял, говядины не в проед дает...

— А где ваша бог...

Но бродяга не договорил, — вдали показался городской. («Фараон»³ триклятуший, и

³ Городовой

побалакать не даст, — того и гляди «под шары»⁴ угодишь, а там и «к дяде»!)

Пошел бродяга собачью богадельню разыскивать. Идет и думает. Вспомнилось ему прежнее житье-бытье... Вспомнил он родину, далекую, болотную; холодную «губерню», вспомнил, как ел персики и инжир⁵ в Туре-чине, когда «во вторительную службу» воевать с чумазой туркой ходил... Вспомнил он и арестантские роты, куда на четыре года военным судом осудили «за пьянство и промотание казенных вещей»... (Уж и вешши! Рваная шинелишка — рупь цена — да сапоги старые, в коих зимой Балканы перевалил да по колено в крови ходил!)... Выпустили его из арестантских рот и волчий билет ему дали (как есть волчий, почет везде, как волку бешеному, — ни тебе работа, ни тебе ночлег!). Потерял он этот свой билет волчий, и стали его, как дикого зверя, ловить: поймают, посадят в острог, на родину пошлют, потом он опять оттуда уйдет... Несколько лет так таскали. Свыкся он с бродяжной жизнью и с острожным житьем-бытьем. Однако последнего боялся теперь, потому что общество его отказалось принимать, и если «пымают, то за бугры, значит, жигана водить».⁶ А Сибири ему не хотелось!..

* * *

Опустилась над Москвой ночь — вьюжная, холодная... Назойливый, резкий ветер пронизывал насквозь лохмотья и резал истомленное, почерневшее от бродяжной жизни лицо старого бездомника. А все шагал он по занесенным снегом улицам Замоскворечья, пробираясь к своему убежищу... Был он у «собачьей богадельни» и Лиску на дворе видел, да опять «фараоны» помешали. Дальше пошел он. Вот Москва-река встала перед ним черной пропастью... Справа, вдалеке, сквозь вьюгу чуть блестели электрические фонари Каменного моста... Он не пошел на мост и спустился по пояс в снегу на лед Москвы-реки.

Бродяга с утра ничего не ел, утомился и еле передвигал окоченевшие, измокшие ноги... Наконец, подле проруби, огороженной елками, силы оставили его, и он, упав на мягкий, пушистый сугроб, начал засыпать... Чудится ему, что Лиска пришла к нему и греет его ноги... что он лежит на мягком лазаретном тюфяке в теплой комнате и что из окна ему видны Балканы, и он сам же, с ружьем в руках, стоит по шею в снегу на часах и стережет старые сапоги и шинель, которые мотаются на веревке... Из одного сапога вдруг лезет «фараон» и грозит ему...

На третий день после этого дворники, сидя у ворот, читали в «Полицейских ведомостях», что «Вчерашнего числа на льду Москвы-реки, в сугробе снега, под елками, окружающими прорубь, усмотрен полицией неизвестно кому принадлежащий труп, по-видимому солдатского звания и не имеющий паспорта. К обнаружению звания приняты меры».

А кому нужен этот бродяга по смерти? Кому нужно знать, как его зовут, если при жизни-то его, безродного, бесприютного, никто и за человека с его волчьим паспортом не считал... Никто и не вспомнит его! Разве когда будут копать на его могиле новую могилу для какого-нибудь усмотренного полицией «неизвестно кому принадлежащего трупа» — могильщик, закопавший не одну сотню этих безвестных трупов, скажет:

— Человек вот был тоже, а умер хуже собаки!.. Хуже собаки!..

А Лиска живет себе и до сих пор в собачьем приюте и ласковым лаем встречает каждого посетителя, но не дождется своего воспитателя, своего искреннего друга... Да и что ей? Живется хорошо, сыта до отвала, как и сотни других собак, содержащихся в приюте...

⁴ В часть

⁵ Винные ягоды

⁶ «За бугры жигана водить» — в Сибирь

Их любят, холят, берегут, ласкают...

Разве иногда голодный, бесприютный бедняк посмотрит в щель высокого забора на собачий обед, разносимый прислугой в дымящихся корытах, и скажет!

— Ишь ты, жите-то, лучше человеческого!

Лучше человеческого!

Без возврата

С кладбищенской колокольни тихие, торжественные звуки часового колокола пронесли по спавшей окрестности.

Двенадцать.

Новый часовой сосчитал часы и осмотрелся, насколько позволял это сделать мрак темной ночи. Он родился в этом городе, и местность, скрытая мраком ночи, была ему хорошо знакома. Пороховой погреб, порученный его надзору, стоял в полуверсте от городской заставы, на глухом всполье, заросшем то мелким кустарником, рассыпанным по кочкам давно высохшего болота, то бурьяном. Направо, шагах в полутора от погреба, возвышалось на голом холме еврейское кладбище, а налево, в роскошной березовой роще — христианское, обнесенное полуразрушившимся земляным валом, местами сровнявшимся с землею. Все это знакомые места, где он играл ребенком. Они напомнили ему годы детства, и невольно он задумался над своим настоящим.

Из дядиной семьи, где он был принят и обласкан как сын родной, Воронов очутился в казармах, под командой фельдфебеля, выкреста из евреев, и дядьки, вятского мужика, заставлявшего своего «племяша» чистить сапоги и по утрам бегать в лавку и трактир с жестяным чайником за покупкой: «на две — чаю, на две-сахару и на копейку — кипятку».

Тяжела была ему первое время солдатская жизнь, невыносимо казалось это день-деньское ученье, грязные работы и прислуживанье дядьке.

Только ночью, с усталыми, изломанными членами, он забывался сладкой грезой. Но пять часов утра, и голос дневального «шоштая рота, вставай!» да звук барабана пли рожка, наяривавшего утреннюю зорю, погружал его снова в неприглядную действительность солдатской жизни.

Он с усилием открывал глаза и расправлял изломанные на ученье члены.

Сквозь густой пар казарменного воздуха мерцали красноватым потухающим пламенем висячие лампы с закоптелыми дочерна за ночь стеклами и поднимались с нар темные фигуры товарищей. Некоторые уже, набрав в рот воды, бегали по усыпанному опилками полу, наливали в горсть воду и умывались. Дядькам и унтер-офицерам подавали умываться из ковшей над грудями опилок. Некоторые из «старых» любили самый процесс умывания и с видимым наслаждением доставали из своих сундучков тканые полотенца, присланные из деревни, и утирались. А спавший рядом с Вороновым на нарах «штрихованный» солдатик Пономарев, пропивавший всегда и все, кроме казенных вещей, утирался полой шинели или суконным башлыком. Полотенца у Пономарева никогда не было.

— Ишь лодырь, полотенца собственного своего не имеет! — заметил ему раз взводный Терентьев.

— Где же я возьму, Трифон Терентьич? Из дому не получаю денег, а человек я не мастеровой.

— Лодырь ты, дармоед, вот что! У исправного солдата всегда все есть, хоть Егорова взять для примеру!

Егоров, солдатик из пермских, со скопческим, безусым лицом, встал с нар и почтительно вытянулся перед взводным.

— Егоров от нас же наживается, по пятаку с рубля проценты берет... А тут на девять-то гривен жалованья в треть да на две копейки банных не раскутишься...

— Пшел, становись на молитву! — раздалась команда дежурного по роте и прекратила спор...

Воронов считался в роте «справным» и «занятым» солдатом. Первый эпитет ему прилагали за то, что у него все было чистенькое и мундир, кроме казенного, срочного, свой имелся, и законное число белья, и пар шесть портянок. На инспекторские смотры постоянно одолажались у него, чтобы для счета в ранец положить, ротные

бедняки, вроде Пономарева, и портянками и бельем. «Занятым» называл Воронова унтер за его способность к фронтовой службе, «емнастике» и «словесности», обыкновенно плохо дающейся солдатам из неграмотных, которых всегда большинство в пехотных полках армии.

— Садись на словесность! — бывало, командует взводный офицер из сдаточных, дослужившийся годам к пятидесяти до поручика, Иван Петрович Копьев.

И садится рота: кто на окно, кто на нары, кто на скамейку.

— Егоров, что есть солдат? — сидя на столе, задает вопрос Копьев.

Егоров встает, уставляет белые, без всякого выражения глаза на красный нос Копьева и однотонно отвечает:

— Солдат есть имя общее, именитое, солдат всякий носит от генерала до рядового...

— Врешь! Дневальным на два наряда... Что есть солдат, Пономарев?

— Солдат есть имя общее, знаменитое, носит имя солдата...

— Врешь. На прицелку на два часа! Не носит имя, а имя носит... Воронов, что есть солдат?

— Солдат есть имя общее, знаменитое, имя солдата носит всякий военнотружущий от генерала до последнего рядового.

— Молодец Воронов!

— Рад стараться, ваше благородие

Далее следовали вопросы: «что есть присяга, часовой, знамя» и др. и, наконец, сигналы. Для этого призывался горнист, который на рожке играл сигналы, и Копьев спрашивал поочередно, какой сигнал что значит, и заставлял спрашиваемого проиграть сигнал на губах или спеть его словами. В последнем случае горнист отсылался.

— Играй наступление, раз, два, три! — хлопал в ладоши Копьев, и с последним ударом взвод начинал хором:

— Та-ти-та-та, та-ти-та-та, та-ти, та-ти, та-ти-та, та, та, та.

— Верно! пой словами.

И взвод пел: «За царя и Русь святую уничтожим мы любую рать врагов».

Если взвод пел верно, то Копьев, весь сияющий, острил:

— У нас, ребята, при Николае Павловиче, этот сигнал так пели: «У тятеньки, у маменьки просил солдат говядинки, дай, дай, дай!» А то еще так: «Топчи хохла, топчи хохла, топчи, топчи, топчи хохла, топ, топ, топ!»

Взвод хохотал, и Копьев не унимался, он каждый сигнал пел по-своему.

— А ну-ка, ребята, играй четвертой роте! — Та-та-ти-а-тат-та-да-то!

— Словами!

— «Вот зовут четвертый взвод!»

— А у нас так пели: «Настассия-попадья», а то: «Отрубили кошке хвост!».

И Копьев рад, ликует, глядя на улыбающихся солдат.

Зато если ошибались в сигналах — беда. Нос его багровел больше прежнего, ноздри раздувались, и половина взвода назначалась не в очередь на работу или «удила рыбу». Так называлось двухчасовое стоянье «на прицелке» с мешком песку на штыке. Воронов ни разу не был наказан ни за сигналы, ни за словесность, ни за фронтовое ученье. В гимнастике и ружейных приемах он был первым в роте, а в фехтовании на штыках побивал иногда «в вольном бою» самого Ермилова, учебного унтер-офицера, великого мастера своего дела.

— Помни, ребята, — объяснял Ермилов ученикам-солдатам, — ежели, к примеру, фихтуешь, так и фихтуй умственно, потому фихтование в бою есть вещь первая, а главное, помни, что колоть неприятеля надо на полном выпаде в грудь, коротким ударом, и коротко назад из груди штык вырви... Помни, из груди коротко назад, чтобы ён рукой не схватал...

Вот так: р-раз — полный выпад и р-раз — назад. Потом р-раз — д-ва, р-раз — д-ва, ногой коротко притопни, устрашай его, неприятеля, р-раз — д-ва!

И Воронов мастерски коротко вырывал штык из груди воображаемого неприятеля и, энергично притопывая ногой, устрашал его к крайнему удовольствию Ермилова, любившего его «за ухватку».

— Что тебя скрючило? Живот болит, что ли, мужик? — кричал, бывало, Ермилов на скорчившегося с непривычки к боевой стойке солдата.

— А? Что это? Ты вольготно держись, как генерал в карете, развались, а ты как гусь на проволоке...

Любили Воронова и солдаты за то, что он рад был каждому помочь, чем мог, и даром всем желающим писал письма в деревню.

— У нас в роте и такой-то писатель, такой-то писатель объявился из молодых, что страсть, — говорили солдаты шестой роты другим, — такие письма складные пишет, что хоть кого хошь разжалобит, и денег пришлют из деревни...

Прослужил Воронов девять месяцев, все более и более свыкаясь со службой и заслуживая общую любовь. В караул его назначали в первый раз, к пороховому погребу...

Воронов со страхом оглядывался, стоя на своем посту, и боязливо жался к будке, крепко сжимая правой рукой ложе винтовки...

Ночь была тихая и темная, хоть глаз выколи. Такие ночи нередко бывают во второй половине августа месяца в нашей средней полосе России.

Прямо перед ним громоздился черный город, в котором в виде красноватых точек, обрамленных радужными кругами, виднелись несколько фонарей, а направо и налево не видно зги.

Часовой обернулся лицом по направлению к кладбищу, снял шапку и перекрестился.

"Отец мой и мать здесь лежат..." — подумалось ему...

«А тут, налево, подле еврейского кладбища, жида-знахаря хоронили... Похоронили, а он все по ночам ходил, так осиновый кол ему в спину вбили»... Вспомнились Воронову предания, слышанные в детстве...

«Тут вот, у нашего кладбища, солдатик расстрелянный закопан... А здесь...»

Вдруг какие-то радужные круги завертелись в глазах Воронова, а затем еще темнее темной ночи из-под земли начала вырастать фигура жида-знахаря, насквозь проколота окровавленным осиновым колом... Все выше и выше росла фигура и костлявыми, черными, как земля, руками потянулась к нему... Воронов хочет перекреститься и прочесть молитву «Да воскреснет бог», а у него выходит:

— Солдат есть имя общее, знаменитое...

А фигура все растет и все ближе тянется к нему руками. Он закрыл глаза, но и сквозь закрытые веки он еще яснее видит и землистые руки, и, как у кошки, блестящие, где-то вверху, зеленые глаза, и большой, крючковатый нос жида...

А сзади раздаются чьи-то тяжелые шаги и тихие, за душу берущие стоны.

Целый рой привидений встает перед часовым: и жид-знахарь с землистыми руками и зелеными глазами оскаливает белые, длинные, как у старого кабана, клыки, и фигура расстрелянного солдата в белом саване лезет из-под земли, и какие-то звери с лицами взводного офицера Копьева.

Он чувствует, как стучат зубы и как волосы поднимают дно его фуражки. Он еще крепче сжал ружье и еще крепче прижался к будке.

А фигуры, всё одна страшней другой, носились перед ним, а сзади что-то тихо, тихо стонало, будто под землей.

Он поднял руку, чтобы перекреститься, но в тот момент ружье выпало у него из рук и пропало. Ему показалось, что ружье провалилось сквозь землю...

Не помня, что делает, не сознавая, что с ним, Воронов бросился бежать. Он мчался, как вихрь, едва касаясь земли, а привидения гнались за ним со стонами, свистом, гиканьем. Ему ясно слышались неистовые возгласы, вой, рев, и громче всех голос Копьева: «Врешь — не

уйдешь!»

Он бежал, а над головой его мелькала мохнатая, землистая рука жида-знахаря и его черная фигура, головой упирающаяся в небо. Вдруг из-под земли вырос кто-то в белом саване и обхватил его...

Пронизывающий холодок привел Воронова в чувство. Он открыл глаза.

Над ним свесились ветки деревьев с начинающими желтеть листьями. Красноватые лучи восходящего солнца яркой полосой пробегали по верхушкам деревьев, и полоса становилась все шире и шире. Небо, чистое, голубое сквозило сквозь ветки.

Воронов привстал и оглянулся. Кругом могильные холмики и кресты. Рядом с ним белый, только что выкрашенный крест. Он снова опустился на землю и на момент закрыл глаза, не понимая, что с ним, где он. Рука его упала на пояс и нащупала патронную суму.

Воронов что-то сообразил, и ужас отразился в его глазах.

— Да ведь я с часов бежал! — невольно сорвалось у него с языка.

«Часовому воспрещается сидеть, спать, есть, пить, курить, разговаривать с посторонними, делать в виде развлечения ружейные приемы, выпускать из рук или отдавать кому-либо ружье и оставлять без приказа сменяющего пост. Часовой, оставивший в каком бы то ни было случае свой пост, подвергается расстрелянию», — промелькнула в уме его фраза, заученная со слов Копьева. Рас-стре-лянию!

Он закрыл глаза и увидел памятную ему с детства картину, здесь же, близ кладбища, расстреливали солдата. Несчастный стоял привязанный к столбу в белом саване. Перед ним стояла шеренга солдат. Молодой, рыжий, с надвинутой на затылок кепи офицер махнул белым платком, и двенадцать ружей блеснули на ярком утреннем солнце светлыми стволами, и в одну линию, параллельно земли, вытянулись впереди солдат, сделавших такое движение, будто бы они хотели достать концами острых штыков солдатику в саване, а ноги их примерзли к земле.

Рыжий офицер опять махнул платком. Из стволов вырвались одновременно двенадцать огненных язычков, затем клубов белого дыма, слившихся в сплошную массу, и белый саван на привязанном солдатику дрогнул, всколыхнулся раза три, а голова его в белом колпаке бессильно повисла на груди.

Воронов с такими же, как он, ребяташками смотрел из огорода на казнь. Это было лет десять назад, очень рано утром. Утро было такое же солнечное, ясное, как и теперь. Воронов вздрогнул, и голова его опустилась так же бессильно на грудь, как у расстрелянного солдатики.

— Вот так же и меня! — Он еще два раза поднял и опустил голову на грудь, будто репетируя, как опустить голову, когда его будут расстреливать, и каждый раз, как он опускал голову, чувствовал, что в грудь вонзались пули...

Он вдруг открыл глаза и вскочил на ноги.

— А может быть, еще не хватились, может, и смена не приходила, — вскрикнул Воронов и выбежал на опушку кладбища, на вал и, раздвинув кусты, посмотрел вперед. Далеко перед ним раскинулся горизонт. Налево, весь утопающий в зелени садов, город с сияющими на солнце крестами церквей, веселый, радостный, не такая темная масса, какой он казался ночью... направо мелкий лесок, левой его дерновая, зеленая горка, а рядом с ней выкрашенная в казенный цвет, белыми и черными угольниками, будка, подле порохового погреба.

Взор Воронова остановился на будке. Около нее стоял недвижимо, как статуя, новый часовой.

У дверей погреба ходил офицер и несколько солдат. Офицер осматривал печати и что-то размахивал руками. Солдаты держали под козырек.

Воронов посмотрел на город, на поляну, где расстреливали солдатику, перекрестился и ползком, между кустарниками, дрожа от страха, добрался до лесу...

Перед ним открывалась бесконечная лесная трущоба.

Воронов обернулся назад и посмотрел в сторону города.

«Расстрелянию», — мелькнуло в его уме.
Он махнул рукой и скрылся в дебрях леса.

Обреченные

На самом краю города Верхневолжска, на высоком, обрывистом берегу Волги, стоит белильный завод, принадлежащий первогильдейному купцу миллионеру Копейкину. Завод этот, состоящий из целого ряда строений деревянных и каменных, закоптелых, грязных снаружи и обнесенных кругом высоким забором, напоминает собою крепость. Мрачно, неприветливо выглядывает он снаружи... острожным холодом веет от него...

У высоких решетчатых железных ворот завода бесменно, день и ночь, сидит сторож, обыскивая каждого выходящего изнутри и спрашивая каждого входящего, «зачем?» и «к кому он идет?».

В один из холодных январских воскресных вечеров холодного 187... года к воротам завода подходил, или, вернее сказать, подбегал, молодой человек, с интеллигентным лицом, одетый в рубище, в опорках вместо сапог, надетых на босые ноги. Подошедший постучал в калитку большим железным кольцом, и на стук вышел сторож, усатый солдат, с добродушно-строгим выражением чисто русского, курносого лица.

— Что тебе?

— Насчет места... нет ли у вас на заводе... — под аккомпанемент щелкавших от холода зубов вымолвил подошедший.

— Замерз, босая команда!.. Ну ступай в сторожку, погрейся уж! — не отвечая на вопрос, добродушно сказал солдат, окидывая его взглядом.

Молодой человек вошел в маленькую сторожку, теплую, как баня, от накалившейся железной маленькой печки, и поместился у притолоки.

— Садись к печке, погрейся, — пригласил его солдат, что и было немедленно исполнено.

— Ну, пропился, что ли, коли на копейкинские хлеба пришел? Впервой сюда?

— Да, ни разу еще нигде не работал, хоть с голоду умирай, спасибо еще добрые люди послали, а то хоть и топиться так в пору!

— А сам из каких? Приказчик прогорелый или из трактирщиков?

— Нет, юнкером на Кавказе служил, офицерского чина не получил, вышел в отставку, приехал сюда место искать и прожился...

Сторож переменял тон. На его лице мелькнула улыбка, выражавшая горькое сожаленье и вместе с тем насмешку.

— Что ж делать, барин! Не вы первый, не вы последний! Трудно только вам будет здесь без привычки, народ-от мрет больно! Вот сейчас подпоручика Шалеева в больницу увезли, два года вытрубил у нас, надо полагать не встанет, ослаб!

— Неужели рабочим, простым рабочим был подпоручик?

— Эх, барин! Да что подпоручик, капитан, да еще какой, работал у нас! Годов тому назад пяток, будем говорить, капитан был у нас, командир мой, на Капказе вместе с ним мы горцев покоряли, с туркой дрались...

— Капитан?

— Как есть; сию я это словно как теперь в сторожке... перед рождеством было дело, холодно... Вдруг, слышу, в ворота кто-то стучится — выхожу. Стоит это он у ворот, дрожит. Сапожонки ледащие, шапчонка на голове робячья, махонькая, кафтанишка — пониток рванный, тело сквозь видать, — не узнал я его сразу, гляжу, знакомое лицо, так и хочется сказать: Левонтий Яковлевич, здоровья желаю! Да уж изменился больно ён, прежде-то, при мундире, да при орденах, красавец лихой был, а тут осунулся, почернел, опять и одежда... иначе я таки признал его, по рубцу больше: на левой щеке рубец был, в Дегестане ему в набеге шашкой вдарили... Ну, признал я его и говорю: «Вашскобродие, вы ли Левонтий Яковлевич?» А я с ним в охотниках под горца хаживал, так все его по имени звали...

Любили больно уж... Взглянул ён на меня да как заплачет.

— Здравствуй, — гырт, — Размоляев! — Заплакал и я тут... Повел его в сторожку, чайком, водочкой угостил...

— И теперь здесь? — спросил молодой человек.

— Нет, барин, зиму-то он выжил кой-как, а весной приказчика поколотил, ну его и прогнали... Непокорливый он был! Да и то сказать опять, человек он заслуженный, а тут мужика-приказчика слушайся! Да и что! Господам офицерам на воле жить плохо, особливо у хозяев ежели служить: хозяин покорливости от служащего перво-наперво требует, а они сами норовят по привычке командовать! Вот нашему брату не в пример вольготней: в сторожа ли, в дворники — везде ходит, потому нам что прикажут, без рассуждений исполняем... Одначе и из нашего брата ныне путных мало: как отслужил службу, так и шабаш, домой землю орать не заманишь, всё в город на вольные хлеба норовит! Вон у нас на заводе все, почитай, солдаты...

В сторожку вошел высокий, одетый в оборванный серый кафтан солдат.

— Здорово, Капказский, садись! — приветствовал его сторож.

— Здорово! — молвил вошедший и опустился на лавку.

— Новенький? — спросил он.

— Да, наш капказец, юнкарь! — ответил Размоляев и вышел из сторожки вместе с барином.

— Вот пожалуйста в контору, там есть приказчик, так к нему обратитесь, — указал он на белое одноэтажное здание с вывеской «контора».

В конторе за большим покрытым черным сукном столом сидел высокий рыжий мужчина.

— Что тебе?

— Насчет места...

— В кубовщики, четыре рубля в месяц!.. Ванька, введи его в третий номер, — крикнул сидевший за столом мальчику, который стоял у притолоки и крутил в руках обрывок веревки.

— Сегодня гуляй, а завтра в четыре утра на работу! — крикнул вслед уходившим приказчик.

II

Иван показал Луговскому корпус номер третий, находившийся на конце двора.

Это было длинное, желтого цвета, грязное и закопченное двухэтажное здание, с побитыми стеклами в рамах, откуда валил густой пар. Гуденье сотни голосов несло на двор сквозь разбитые стекла.

Луговский отворил дверь; удушливо-смердный пар, смесь кислой капусты, помойной ямы и прелого грязного белья, присущий трущобным ночлежным домам, охватил Луговского и вместе с шумом голосов на момент ошеломил его, так что он остановился в двери и стоял до тех пор, пока кто-то из сидевших за столом не крикнул ему:

— Эй, черт, затворяй дверь-то! Лошадей воровал, так небось хлев затворял!

Луговский вошел. Перед ним была большая казарма; по стенам стояли столы, длинные, грязные, обсаженные кругом народом. В углу, налево, печка, в которой были вмазаны два котла для щей и каши. На котле сидел кашевар с черпаком в руках и разливал в чашки какую-то водянистую зеленую жидкость. Направо, под лестницей, гуськом, один за другим, одетые в рваных рубахах и опорках на босую ногу, толпились люди, подходя к приказчику, который, черпая стаканчиком из большой деревянной чашки водку, подносил им. Каждый выпивал, кричал и садился к столу. Приказчик заметил Луговского.

— Новенький, что ли?

— Да, сейчас нанялся!

— Ну, иди, пей водку да садись ужинать.

Луговский выпил и сел к крайней чашке, около которой уже сидело девять человек. Один, здоровенный молодой малый, с блестящими серыми глазами, с бледным, утомленным, безусым лицом, крошил говядину и клал во щи из серой капусты. Начали есть. Луговский, давно не пробовавший горячей пищи, жадно набросился на серые щи.

— Ишь ты, слава богу, с воли-то пришел, как ест! В охотку еще! — пробормотал седой старик с землистым цветом лица и мутными глазами, глядя на Луговского.

— А тебе и завидно, ворона старая! — заметил старику крошивший мясо парень.

— Не завидно, а все-таки... — ответил старик, вытаскивая из чашки кусок говядины.

— Раз! — раздалось громко по казарме, и парень, крошивший говядину, влепил звучный удар ложкой по лбу старика.

— Ишь, ворона, все норовит как бы говядинки, а другим завидует!

— Чего дерешься, Пашка? — огрызнулся на парня старик.

— А то, что прежде отца в петлю не суйся, жди термину: скомандую «таскай со всем», так и лезь за говядиной, а то ишь ты! Ну-ка, Сенька, подлей еще! — сказал Пашка, подавая грязному кашевару чашку. Тот плеснул щей и поставил на стол. Хлебнули еще несколько раз. Пашка постучал ложкой в край чашки. Это было сигналом таскать говядину. Затем была подана белая пшенная каша с постным, из экономии, маслом. Ее, кроме Луговского и Вороны, никто не ел.

— Что это никто каши не ест? Каша хорошая, — спросил Луговский сидевшего с ним рядом Пашку.

— погоди, брат, недельку поживешь, на ум каша-то не пойдет, ничего не захочешь! Я, брат, в охотку-то сперва-наперво похлестче твоего ел, а теперь и глядеть-то на еду противно, вот что!

Пока Луговский ел, весь народ ушел вверх по лестнице в казарму. За ними, через несколько времени, пошел и он. Вид и воздух верхней казармы поразил его. Это была комната сажен в пять длиной и сажени четыре шириною. По трем стенам в два ряда, один над другим, шли двухэтажные нары, буквально битком набитые народом. Кроме того, спали под нарами, прямо на полу. Постели были у редких. Некоторые расположились на рогожках, с поленом в головах, некоторые раскинулись на полу, без всего. А пол? Пол был покрыт, более чем в вершок толщиной, слоем сероватой грязи, смеси земли и белил. Посредине казармы горела висячая лампа, страшно коптившая. Рабочие уже многие спали. Некоторые лежа разговаривали. Луговский остановился, смотря, куда бы лечь.

— Эй, новенький, поди сюда, здесь слободно! — крикнул ему из-под нар Пашка, растянувшийся на полу во весь свой гигантский рост. Луговский лег с ним рядом.

Прошло часа три времени, — вся казарма храпела на разные лады.

Не спалось только Луговскому.

Он, облокотясь, с удивлением осматривал всю эту ужасную обстановку, этих ужасных, грязных оборванцев, обреченных на медленную смерть и загнанных сюда обстоятельствами.

— Господи, неужели я совсем пропал! — невольно вырвалось у него, и слезы обильным ручьем потекли по его бронзовому, но нежному лицу.

— Будет вам, барин, плакать, бог милостив! — раздался тихий шепот сзади него, и чья-то громадная, жесткая, как железо, ручища опустилась на плечо Луговского.

Он оглянулся. Рядом с ним сидел встреченный им в сторожке мужчина средних лет, геркулесовского телосложения, но истомленный, с земляным лицом и потухающими уже глубокими серыми глазами. Громадные усы, стриженная голова и побритый, но зарастающий подбородок показывали в нем солдата.

— Полно вам, барин, не плачьте, — участливо сказал солдатик.

— Так я... что-то грустно... Первый раз в жизни заплакал... — заговорил Луговский, отирая слезы.

— Ну вот, так-то лучше! Чего вы! Вот бог даст весна придет, на волю пойдем... Солнышко... работа вольная на Волге будет! Что вам печалиться, вы молодой, ученый, у вас дорога широкая. Мне о вас Размоляев давечи рассказывал. Вот моя уж песенка спета, мне и

крышка тут!

— А вы давно здесь живете?

— Шестой год по заводам странствую. Лето зимогорю по пристаням, а на зиму либо к Охромееву, либо к Свинчаткину, либо сюда. Привык я к этой работе...

работа легкая, часов шесть в сутки, есть вволю, место теплое... ну и манит! Опять на эти заводы всегда народ нужен, потому мужик сюда мало идет, вреды боится; а уж если идет какой, так либо забулдыга, либо лентяй, либо никакого другого места не найдет. Здесь больше отпускной солдат работает али чиновник, ежели ему некуда пристроиться... Вот, супротив вас, на нарах долговолосый лежит — чиновник-пропойца, три года и лето и зиму здесь около шляется. «Секлетарем» наши его зовут. Получит жалованье, пропьет, опять живет, да и куда ему идти? На службу не годится, в другую работу — силенки мало, вот и околачивается. А вот рядом с ним, где теперь мальчишка спит, офицер жил, да в больницу отправили, умрет — надо полагать.

— Чем он болен был?

— От свинцу, от работы. Сперва завалы делаются, пишшии никакой не захочется, потом человек ослабнет, а там положили в больницу, и умер. Вот я теперь ничего не ем, только чаем и живу, да водки когда выпью при получке...

— А здоровы вы?

— Какое здоров! Еще бы годик-другой протянуть, так и хорошо бы...

— Семья у вас?

— Какая семья у солдата! Жена была в мужиках-то. В службу отдали, одиннадцать годов отслужил, воротился домой — ни кола, ни двора. Жена все прогуляла без меня, да я и не сержусь на ее. Как же и не гулять, одиннадцать лет не видались, жить ей без поддержки как? Дело бабье, ну и пошла! Бог с ней, я не сержусь!.. И сам не без греха ведь! Пришел, поглядел — куда деваться! Для кого жить?! Детишек не было... Пришел сюда вот да коротаю век... Спервоначалу-то, как и вы, зимой без одежды пришел, думал ненадолго, да так, видно, до смерти здесь и затянулся!.. Ничего, привык больше уж некуда...

— Так и я, пожалуй, также... навек здесь... — искренно вымолвил Луговский и вздрогнул даже при этой мысли. От солдата не скрылось это движение.

— Не бойтесь, барин, бог поможет, ничего, выпутаемся...

Потом он сразу постарался переменить разговор.

— Ну, барин, вы человек новый, и я вот расскажу всю нашу работу, то есть как за нее приняться. Вы назначены в кубочную, где и я работаю. У нас два сорта рабочих — кубочники и печники. Есть еще литейщики, которые белила льют, так то особа статья. Печники у печки свинец пережигают, а кубочники этот самый свинец в товар перегоняют, и уж из товара литейщики белила льют... Кубики бывают сперва-наперво зеленые, потом делаются серыми, там белыми, а потом уж выходят в клейкие, в товар. Где в два месяца выгоняют кубик в товар, где в три. У нас месяца в два с половиной, потому кубочные жаркие. Зеленый кубик для работы самый вредный, а клейкий самый трудный — руки устают, мозоли будут на руках. Вот вы теперь со мной рядом, будете заместо офицера, который, я говорил, в больницу ушел, а кубик остался клейкий...

— Стало быть, трудно будет?

— Ничего, я помогу; а теперь, барин, усните, завтра в пять часов вставать, ложитесь.

— Благодарю вас, благодарю! — со слезами выговорил Луговский и обеими руками крепко пожал руку собеседнику.

— Спите-сь, спокойной ночи! — проговорил тот, вставая.

— А ваше имя-отчество?

— Капказский — так меня зовут.

— Нет, вы мне имя-отчество скажите...

— Нет, барин, зовите Капказский, как и все!

— Не хочу я вас так называть, скажите настоящее имя...

— Был у меня на Кавказе, в полку, юнкарь, молодец, словно и вы, звал он меня «Григорьич», зовите и вы, если уж вам угодно.

— А вы, Григорьич, кавказец?

— Да, Тенгинского полка...

— Так и я Тенгинского, юнкером служил в нем.

— Эх, барин мой родной, где нам пришлось свидеться!..

Слезы градом полились у обоих горемык, родных по оружию. Крепко они обнялись и заплакали...

— Милый мой барин, где нам пришлось встретиться!.. — всхлипывая, говорил кавказец.

— Чего вы там, черти, дьяволы, спать не даете! — послышался чей-то глухой голос из угла...

Кавказский оправился, встал и пошел на свое место.

— До завтра, барин, спите спокойно! — на пути выговорил он.

— Прощай, Григорьич, спасибо, дядька! — отвечал Луговский и навзничь упал на грязный пол.

Измученный бессонными ночами, проведенными на улицах, скоро он заснул, вытянувшись во весь рост. Такой роскоши — вытянуться всем телом, в тепле — он давно не испытывал. Если он и спал раньше, то где-нибудь сидя в углу трактира или грязной харчевни, скорчившись в три погибели...

А уснуть, вытянувшись во весь рост, после долгой бессонницы — блаженство.

III

В соседней с заводом церкви ударили к заутрене. В казарму, где спали рабочие, вошел ночной сторож, ходивший в продолжение ночи по двору, и сильно застучал в деревянную колотушку.

— Подымайтесь на работу, ребятишки, поды-майсь! — нараспев прикрикивал он.

— Эй, каторга — жисть. Господи, а-а-а! — раздался в ответ в углу чей-то сонный голос.

— Во имя отца и сына и святого духа, — забормотали в другом.

— На работу, ребятишки, на работу! — еще усилил голос сторож.

— Чего ты, осовелый черт, дармоед копейкинский, орешь тут, словно на панифиде? — вскочив с полу, зыкнул на него Пашка, прозванный за рост и силу атаманом.

— Встал, так и не буду, и уйду, чего ругаешься, — испуганно проворчал сторож и начал спускаться вниз.

— Паша, а фискал-то тебя боится, науку, значит, еще не забыл, — сказал Пашке один из рабочих подобострастно заискивающим голосом.

— Вставать в кубочную, живо! — скомандовал Пашка, и вся эта разношерстная ватага, зевая, потягиваясь, крестясь и ругаясь, начала подниматься. В углу средних нар заколыхалась какая-то грудка разноцветных лохмотьев, и из-под нее показалась совершенно лысая голова и заспанное, опухшее, желтое, как шафран, лицо с клочком седых волос вместо бороды.

— Вставайте, братцы, пора, сам плешистый козел из помойной ямы вылезает, — указывая на лысого, продолжал Пашка. Многие захохотали: «козел» отвернулся в угол, промычал какое-то ругательство и начал бормотать молитву.

Понемногу все поднялись поодиночке один за другим, спустились вниз, умывались из ведра, набирая в рот воды и разливая по полу, «чтобы в одном месте не мочить», и, подымаясь вверх, утирали лица кто грязной рубашкой, кто полой кафтана...

Некоторые пошли прямо из кухни в кубочную, отстоявшую довольно далеко на дворе.

Разбуженный Кавказским, Луговский тоже умылся и вместе с ним отправился на работу.

На дворе была темь, метель так и злилась, крупными сырыми хлопьями залепляя глаза. Некоторые кубочники бежали в одних рубахах и опорках.

— Холодно, дядька! — шагая по снегу и стуча зубами от холода, молвил Луговский.

— Сейчас, барин, согреемся. Вот и кубочная наша, — показывая на низкое каменное здание с освещенными окнами, ответил дядька.

Они вошли сначала в сени, потом в страшно жаркую, наполненную сухим жгучим воздухом комнату.

— Ух, жарница! — сказал кавказцу Луговский.

— Тепло, потому клейкие кубики есть, они жар любят, — ответил тот.

Луговский окинул взглядом помещение; оно все было занято рядом полок, выдвижных, сделанных из холста, натянутого на деревянные рамы, и вделанных, одна под другой, в деревянные стойки. На этих рамах сушился «товар». Перед каждым тремя рамами стоял неглубокий ящик на ножках в вышину стола; в ящике лежали белые круглые большие овалы.

— А вот и кубики. Их мы сейчас резать будем! -

показал на столы кавказец и подал Луговскому нож особого устройства, напоминающий отчасти плотнический инструмент «скобель», только с длинной ручкой посередине.

— Это нож, им надо резать кубик мелко-намелко, чтоб ковалков не было. Потом кубики изрежем — разложим их на рамы, ссыпем другие и сложим. А теперь снимайте с себя платье и рубашку, а то жарко будет.

Луговский снял рубашку. Кавказец окинул его взглядом и, любуясь могучим сложением Луговского, улыбнулся:

— Ну, барин, вы настоящий кавказец, вам с вашими руками можно пять кубиков срезать!

Луговский действительно был сложен замечательно: широкие могучие плечи, высокая, сильно развитая грудь и руки с рельефными мускулами, твердыми, как веревки, показывали большую силу.

Он начал резать кубик. Мигом закипело дело в его руках, и пока кавказец, обливаясь потом, тяжело дыша, дорезывал первый кубик, Луговский уже dokonчил второй. Пот лил с него ручьем. Длинные волосы прилипли к высокому лбу. Ладонь правой руки покраснелась, и в ней чувствовалась острая боль — предвестник мозолей.

— Ай-да барин, наше дело пойдет! — удивился Кавказский, смотря на мелко изрезанные кубики.

— Хорошо?

— Лучше не треба! Теперь раскладываете его на рамки, вот так, а потом эти рамки в станки сушить вставим.

Сделано было и это. На дворе рассвело...

— Теперь вот извольте взять эту тряпицу и завяжите ей себе рот, как я, чтобы пыль при ссыпке не попала. Вредно. — Кавказский подал Луговскому тряпку, а другой завязал себе нижнюю часть лица. Луговский сделал то же. Они начали вдвоем снимать рамки и высыпать «товар» на столы. В каждой раме было не менее полпуда, всех рамок для кубика было десять. При ссыпке белая свинцовая пыль наполнила всю комнату.

Затем кубики были смочены «в препорцию водицей», как выражался Кавказский, и сложены. Работа окончена. Луговский и Кавказский омылись в чанах с водой, стоявших в кубочной, и возвратились в казарму, где уже начали собираться рабочие. Было девять часов. До одиннадцати рабочие лежали на нарах, играли в карты, разговаривали. В одиннадцать — обед, после обеда до четырех опять лежали, в четыре — в кубочную до шести, а там — ужин и спать...

IV

Так и потекли однообразно день за днем. Прошло два месяца. Кавказский все сильнее

кашлял, задыхался, жаловался, что «нутро болит». Его землистое лицо почернело еще более, и еще ярче загорелись впавшие глубже глаза... Кубики резать ему начал помогать Луговский.

Луговский сделался общим любимцем, героем казармы. Только Пашка, ненавидимый всеми, был его злейшим врагом. Он завидовал.

Было второе марта. Накануне роздали рабочим жалованье, и они, как и всегда, загуляли. После «получки» постоянно не работают два, а то и три дня. Получив жалованье, рабочие в тот же день отправляются в город закупать там себе белье, одежду, обувь и расходятся по трактирам и питейным, где пропивают все, попадают в часть и приводятся оттуда на другой день. Большая же часть уже и не покупает ничего, зная, что это бесполезно, а пропивает деньги, не выходя из казармы.

В этот день, вследствие холода, мало пошло народу на базар. Пили уже второй день дома. Дым коромыслом стоял: гармоники, пляска, песни, драка... целый ад... Внизу, в кухне, в шести местах играли в карты — в «три листа с подходцем».

На нарах, совершенно больной, ослабший, лежал Кавказский. Он жалованье не ходил получать и не ел ничего дня четыре. Похудел, осунулся — страшно смотреть на него было. Живой скелет. Да не пил на этот раз и Луговский, все время сидевший подле больного.

Было пять часов вечера. В верхнюю казарму ввалился, с гармоникой в руках, Пашка с двумя пьяными товарищами — билетными солдатами, старожилками завода. Пашка был трезвее других; он играл на гармонике, приплясывал, и все трое ревели «барыню».

— Будет вам, каторжные, дайте покой! — простонал больной кавказец, но те не унимались.

— Пашка, ори тише, видишь больной здесь! — возвысил голос Луговский, сразу, по-солдатски, привыкший к новому житью-бытью.

— А ты мне что за указчик, а? Ты думаешь, что ты барское отродье, так тебя и послушаюсь?!

— Во-первых, не барин я, а такой же рабочий, а во-вторых, — перестань горланить, говорю тебе...

— Как ты смеешь мне говорить, черт?! Ты знаешь, кто я? А? Или я еще не учил тебя? Хочешь?..

— Хочу и требую, чтобы ты перестал играть, а то я тебя силой заставлю...

— Меня силой?

— Да, тебя, силой! — раздраженно уже крикнул Луговский.

В казарме все смолкло... Бросили играть в карты, бросили шуметь. Взоры всех были устремлены на спорящих. Только двое товарищей Пашки шумели и подзуживали его.

Пашка выхватил откуда-то длинный нож и, как бешеный, прыгнул на нары, где был Луговский.

Вся казарма будто замерла. В этот момент никто не пошевелился. Так страшен был остервенившийся Пашка. Некоторые опомнились, вскочили на помощь, но было уже поздно, помощь не требовалась. Страшный, душу раздирающий стон раздался на том месте, где сидел Луговский и лежал умирающий Кавказский. Стон этот помнят все, слышавшие его, — ему вторила вся казарма. Крик испуга и боли вырвался одновременно из всех ртов этих дикарей.

Один из рабочих, человек бывалый, старик, по прозвищу Максим Заплата, бывший мясник, видевший эту сцену, рассказывал после об этом происшествии так:

— Как вскочит Пашка с полу, выхватил ножище да как бросится на барина — страшный такой, как бык бешеный, который сорвется, коли его худо оглушат обухом, глаза-то кровью налились.

«Убью!» — кричит. Схватил он левой рукой барина за горло, а нож высоко таково поднял, и видел я сам, как со всего размаха засадил в барина. Закричал я — а встать не могу, и все побледнели, все, как я. Видят — а не могут встать. Известно, кто к Пашке каторжному подступится! Поди, на душе у его не один грех кровавый! Одно слово — сибиряк...

Как ударил он ножом, и слышим мы, кто-то застонал, да так, что теперь страшно... Не успели мы опомниться — глядим, Пашка лежит на земле, а на нем верхом барин сидит. Как уже это случилось, мы все глазам не поверили и не знаем... Только сидит на ём барин и скрутил руки ему за спину... Как это вышло — и теперь невдомек.

А вышло это вот как.

Пашка бросился на Луговского, левой рукой схватил его за грудь, а правой нанес ему страшный удар, смертельный. Но Луговский успел одной рукой оттолкнуть нож, который до рукоятки всадились в щель нар, где, изломанный пополам, и найден был после... Под правую же руку Луговского подвернулась левая рука Пашки, очутившаяся у него на груди, и ее-то, поймав за кисть, Луговский стиснул и из всей силы вывернул так, что Пашка с криком страшной боли повернулся и упал всею тяжестью своего гигантского тела на больного кавказца.

Он-то и застонал так ужасно...

Луговский, не выпуская руки Пашки, успел вскочить на ноги, левой рукой поймал его за ворот, сдернул с нар на пол и сидел на нем.

Все это произошло в один момент, казарма еще не успела опомниться... Товарищ Пашки наяривал на гармонике «барыню».

— Доволен? — спросил лежавшего на полу Пашку Луговский.

— Бей его, разбойника! — крикнули все рабочие в один голос и вскочили с мест. Гармоника смолкла.

— На место, не ваше дело! — энергично, голосом, привыкшим командовать, крикнул Луговский.

— Не тронь, ребята, это наше дело с ним, другим не след путаться! Павел, вставай, я на тебя не сержусь, — спокойно произнес Луговский и встал с него.

— Ты виноват во всем, ты подзуживал Пашку сделать скандал. Из-за тебя драка, чуть не убийство вышло, — подойдя к игравшему на гармонике секретарю, проговорил Луговский, взмахнул рукой, и полновесная пощечина раздалась по казарме. Секретарь вместе с гармоникой слетел вниз по лестнице, в кухню...

Восторженно-дикие крики одобрения раздались с обеих этажей нар.

Луговский с этой минуты стал властелином, атаманом казармы.

Эти люди любят дикую силу...

И нельзя не любить силу, которая в их быту дает громадное преимущество, спасает.

А Пашка все еще лежал лицом вниз.

— Павел, вставай! — поднимая его за левую руку, сказал Луговский.

— Ой, не вороши, больно! — как-то приподнимаясь вслед за поднятой рукой, почти простонал тот и, опираясь на правую, сел на пол.

Страшен он был... За несколько минут перед тем красный от пьянства, он как-то осунулся, почернел, глаза, налитые кровью, смотрели ужасно — боль, стыд и непримиримая злоба сверкали в них...

Бледное, но разгоревшееся, на этот раз сияющее лицо Луговского с его смеющимися глазами было страшным контрастом.

— Паша, что с тобой?

— Ничего, руку ушиб, — с трудом поднявшись, ответил тот и, вставая, спустился вниз в кухню и ушел на двор.

Крикнули рабочих к ужину.

V

Прошел уж и лед на Волге. Два-три легких пароходика пробежали вверх и вниз... На пристанях загудела рабочая сила... Луга и деревья зазеленели, и под яркими, приветливыми лучами животворного солнца даже сам вечно мрачный завод как-то повеселел, хотя грязный двор с грудями еще не успевшего стаять снега около забора и закоптевшими зданиями

все-таки производил неприятное впечатление на свежего человека... Завсегдатаям же завода и эта острожная весна была счастьем. Эти желтые, чахлые, суровые лица сияли порой...

В одно из этих весенних воскресений, в яркий полдень, кучка рабочих сидела и лежала на крыше курятника, на заднем дворе завода, и любовалась на Волгу. Между ними не было видно Луговского и Пашки. Внизу, рядом с курятником, на двух ящиках лежал покрытый рваной солдатской шинелью Кавказский и полуоткрытым тусклым взором смотрел на небо; он еще более похудел, лицо почернело совершенно, осунулось, нос как-то вытянулся, и длинные поседевшие усы еще более опустились вниз, на давно не бритую бороду. Он тяжело дышал и шевелил губами, будто хотел что-то сказать, но ни звука не слышно было из его почерневших, будто прилипших к зубам губ...

— Поди, теперь наш барин в Рыбну⁷ приехал, — прервал молчание старик Заплата.

— И дай ему, господи, хороший человек был, по работе на барина и не похож: кубик, бывало, в пять минут изрежет, либо дрова колоть начнет, так не успеешь оглянуться, сажень готова...

VI

— Нашел кого поминать, подлеца! — злобно сказал секретарь.

— Не любишь, видно, плюху помнишь?

— Плюху! Счастье его, что Пашка сбежал, а то бы ему такая плюха была, что своих бы не узнал, счастье, что уехал-то.

— Да, вырвался-таки на волю, только потому, что не пьянствовал, а то тоже бы нашей участи хватил.

— А что, ребятки, где в самом деле Пашка, я в больницу ушел, а когда вернулся, его уже не было, — спросил молодой сухощавый солдатик с болезненным лицом.

— Сбежал он, Карпуша! — продолжал Заплата.

— Из-за чего?

— Да из-за того, что квартальный приходил справляться: кто он такой есть.

— Паспорт фальшивым оказался, — вставил секретарь.

— Фальшивым?

— Да.

— Так кто же он был, этот самый Пашка? — обратился к секретарю Карпушка.

— Каторжник беглый, за убийство сосланный был, вот кто!

— Каторжник? А ты почему знаешь?

— Он мне раз пьяный открылся во всем.

— А ты на него квартальному донес, фискал! За трешницу товарища продал.

— Все равно он и без этого убежал бы, чего лаешься, коли не знаешь!

— Братцы! Подь-ка сюды кто-нибудь! — послышалось снизу.

— Никак Капказский зовет?

— Братцы, дайте испить!

— Сейчас, дядя, сейчас принесу! — ответил сверху Заплата, спустился вниз и через минуту стоял с полным ковшом у Кавказского.

— На, кушай на здоровье!

— Спасибо! — прохрипел тот в ответ и стал жадно пить... — Хорошо! — сказал он, роняя ковш на землю.

— Ну что, дядя, лучше тебе? — перегнувшись с крыши, спросил его Карпушка.

— Хорошо... вон солнышко светит, привольно... На Волгу бы хотелось, поработать бы, покрюшничать! Вот через недельку, бог даст, поправлюсь, в Рыбну поеду к моему барину, вместе работать будем...

⁷ Рыбинск

— Да, в Рыбне теперь хорошо, народу сколько сошлось, работы дорогие! — задумчиво проговорил Заплата.

— Нет, на Капказе лучше, там весело, горы! Люблю я их! На будущее лето уеду в Владыкапкай, там у меня знакомые есть, место дадут... Беспременно уеду!.. — чуть слышно, но спокойно и медленно, с передышкой говорил кавказец...

— На Капказ? — спросил Карпушка.

— На Капказ! Я его весь пешком выходил; хотите, Ребятки, я вам капказскую походную песенку спою, слушайте!

И он, собравшись с силами, запел надорванным голосом:

Гремит слава трубой, Мы дрались за Лабой; По горам твоим, Кавказ, Уж гремит слава об нас... Уж мы, горцы басурма...

Вдруг хрип прервал песню, — кавказец как-то судорожно вытянулся, закинул голову назад и вытянул руки по швам, как во фронте...

— Что это с ним, Заплата?..

— Что? То же, что и с нами будет, умер!

— Эх, братцы, какого человека этот свинец съел: ведь три года тому назад он не человек — сила был: лошадь одной рукой садиться заставлял, по три свинки⁸ в третий этаж носил!.. А все свинец копейкинский. Много он нашего брата заел, проклятый, да и еще заест!..

Заплата злобно погрозил кулаком по направлению к богатым палатам заводчика Копейкина!

— Погоди уж ты!

Один из многих

Было шесть часов вечера. Темные снеговые тучи низко висели над Москвой, порывистый ветер, поднимая облака сухого, леденистого снега, пронизывал до кости прохожих и глухо, тоскливо завывал на телеграфных проволоках.

Около богатого дома с зеркальными окнами, на одной из больших улиц, прячась в углубление железных ворот, стоял человек высокого роста...

— Подайте Христа ради... не ел... ночевать негде! — протягивая руку к прохожим, бормотал он...

Но никто не подал ни копейки, а некоторые обругали дармоедом и кинули замечание еще, что, мол, здоровяк, а работать ленится...

Это был один из тех неудачников, которые населяют ночлежные дома Хитрова рынка и других трущоб, попадая туда по воле обстоятельств.

Крестьянин одного из беднейших уездов Вологодской губернии, он отправился на заработки в Москву, так как дома хлебушка и без его рта не хватит до нового.

В Москве долгое время добивался он какого ни на есть местишка, чтобы прохарчиться до весны, да ничего не вышло. Обошел фабрики, конторы, трактиры, просился в «кухонные мужики» — не берут, рекомендацию требуют, а в младшие дворники и того больше.

— Нешто с ветру по нонешнему времени взять можно? Вон, гляди, в газетах-то пропечатывают, что с фальшивыми паспортами беглые каторжники нарочно нанимаются, чтобы обокрасть! — сказали ему в одном из богатых купеческих домов.

— Разъ я такой? Отродясь худыми делами не занимался, вот и паспорт...

— Паспортов-то много! Вон на Хитровом по полтине паспорт... И твой-то, может, оттуда, вон и печать-то слепая... Ступай с богом!

Три недели искал он места, но всюду или рекомендации требовали, или места заняты были... Ночевал в грязном, зловонном ночлежном притоне инженера-богача Ромейко, на

⁸ Свинка — четыре пуда свинца

Хитровке, платя по пятаку за ночь. Кроме черного хлеба, а иногда мятого картофеля-тушенки, он не ел ничего. Чаю и прежде не пивал, водки никогда в рот не брал. По утрам ежедневно выходил с толпой таких же бесприютных на площадь рынка и ждал, пока придут артельщики нанимать в поденщину. Но и тут за все время только один раз его взяли, во время метели, разгребать снег на рельсах конно-железной дороги. Полученная полтина была проедена в три дня. Затем опять тот же голод...

А ночлежный хозяин все требовал за квартиру, угрожая вытолкать его. Кто-то из ночлежников посоветовал ему продать довольно поношенный полушубок, единственное его достояние, уверяя, что найдется работа, будут деньги, а полушубков в Москве сколько хошь.

Он ужаснулся этой мысли...

— Как не так, продать? Свое родное и чужому продать? — рассуждал он, лежа на грязных нарах ночлежной квартиры и вспоминая все те мелкие обстоятельства, при которых сшит был полушубок... Вспомнил, как целых четыре года копил шкуры, закалывая овец, своих доморощенных, перед рождеством, и продавал мясо кабатчику; вспомнил он, как в Кубинском ему выдубили шкуры, как потом пришел бродячий портной Николка косой и целых две недели кормился у него в избе, спал на столе с своими кривыми ногами, пока полушубок не был справлен, и как потом на сходе долго бедняки-соседи завидовали, любуясь шубой, а кабатчик Федот Митрич обещал два ведра за шубу...

— Ты во што: либо денег давай, либо духа чтоб твоего не было! — прервал размышления свирепый, опухлый от пьянства мужик, съемщик квартиры.

— Повремени, а, ты! Сколочусь деньжатами, отдам! Можя, местешко бог пошлет... — молил ночлежник.

— За тобой и так шесть гривен!

— Ведь пашпорт мой у тебя в закладе.

— Пашпорт! Что в нем?! За пашпорт нашему брату достается... Сегодня или деньги, али заявлю в полицию, по этапу беспашпортного отправят... Уходи!

Несчастный скинул с плеч полушубок, бросил его на нары вверх шерстью, а сам начал перетягивать кушаком надетую под полушубком синюю крашенинную короткую поддевичку, изношенную донельзя.

Взгляд его случайно упал на мех полушубка.

— Это вот Машки-овцы шкурка... — вперяясь прослезившимися глазами в черную полу, бормотал про себя мужичок, — повадливая, рушная была... За хлебом, бывало, к окошку прибежит... да как заблеет: бе-е... бе-е! — подражая голосу овцы, протянул он.

Громкий взрыв хохота прервал его. Ночлежники хохотали и указывали пальцами:

— А мужик-то в козла обернулся!

— Полушубок-то блеет! — И тому подобные замечания посыпались со всех сторон. Он схватил полушубок и выбежал на площадь.

А там гомон стоял.

Под навесом среди площади, сделанным для защиты от дождя и снега, колыхался народ, ищущий поденной работы, а между ним сновали «мартышки» и «стрелки». Под последним названием известны нищие, а «мартышками» зовут барышников. Эти — грабители бедняка-хитровака, обувающие, по местному выражению, «из сапог в лапти», скупают все, что имеет какую-либо ценность, меняют лучшее платье на худшее или дают «сменку до седьмого колена», а то и прямо обирают, чуть не насильно отнимая платье у неопытного продавца.

Пятеро «мартышек» стояло у лотков с съестными припасами. К ним-то и подошел, неся в руках полушубок, мужик.

— Эй, дядя, что за шубу? Сколько дать? — засыпали его барышники.

— Восемь бы рубликов надо... — нерешительно ответил тот.

— Восемь? А ты не валяй дурака-то... Толком говори. Пятерку дам.

— Восемь!

Шуба рассматривалась, тормошилась барышниками.

Наконец, сторговались на шести рублях. Рыжий барышник, сторговавший шубу, передал ее одному из своих товарищей, а сам полез в карман, делая вид, что ищет денег.

— Шесть рублей тебе?

— Шесть...

В это время товарищ рыжего пошел с шубой прочь и затерялся в толпе. Рыжий барышник начал разговаривать с другими...

— Что же, дядя, деньги-то давай! — обратился к нему мужик.

— Какие деньги! За что? Да ты никак спятил?

— Как за што? За шубу небось!

— Нешто я у тебя брал?

— А вон тот унес.

— Тот унес, с того и спрашивай, а ты ко мне лезешь? Базар велик... Вон он идет, видишь? Беги за ним.

— Как же так?! — оторопел мужик.

— Беги, черт сиволапый, лови его, поколя не ушел, а то шуба пропадет! — посоветовал другой барышник мужику, который бросился в толпу, но «мартышки» с шубой и след простыл... Рыжий барышник с товарищами направился в трактир спрыснуть успешное дельце.

Мужицкий полушубок пропал.

Прошло две недели. Квартирный хозяин во время сна отобрал у мужика сапоги в уплату за квартиру... Остальное платье променяно «а лохмотья, и деньги проедены... Работы не находилось: на рынке слишком много нанимающихся и слишком мало нанимателей. С квартиры прогнали... Наконец, он пошел просить милостыню и два битых часа тщетно простоял, коченея от холода. К воротам то и дело подъезжали экипажи, и мимо проходила публика. Но никто ничего не подал.

— Господи, куда же мне теперь?..

Он машинально побрел во двор дома. Направо от ворот стояла дворницкая сторожка, окно которой приветливо светилось. «Погреться хоть», — решил он и, подойдя к двери, рванул за скобу. Что-то треснуло, и дверь

отворилась. Сторожка была пуста, на столе стояла маленькая лампочка, пущенная в полсвета. Подле лампы лежал каравай хлеба, столовый нож, пустая чашка и ложка.

Безотчетно, голодный, прошел он к столу, протянул руку за хлебом, а другою взял нож, чтоб отрезать ломоть, в эту минуту вошел дворник...

Через два дня после этого в официальной газете появилась заметка под громким заглавием: «Взлом сторожки и арест разбойника».

13 декабря, в девятом часу вечера, дворник дома Иванова, запасный рядовой Евграфов, заметил неизвестного человека, вошедшего на двор, и стал за ним следить. Неизвестный подошел к запертой на замок двери, после чего вошел в сторожку. Дворник смело последовал за ним, и в то время, когда оборванец начал взламывать сундук, где хранились деньги и вещи Евграфова, последний бросился на него. Оборванец, видя беду неминуемую, схватил со стола нож, с твердым намерением убить дворника, но был обезоружен, связан и доставлен в участок, где оказалось, что он ни постоянного места жительства, ни определенных замятий не имеет. При разбойнике нашелся паспорт, выданный из волости, по которому тот оказался крестьянином Вологодской губернии, Грязовецкого уезда, Никитой Ефремовым. Паспорт, по-видимому, фальшивый, так как печать сделана слишком дурно и неотчетливо. В грабеже, взломе и покушении на убийство дворника разбойник не сознался и был препровожден под усиленным конвоем в частный дом, где содержится под строгим караулом в секретной камере. Разбойник гигантского роста и атлетического телосложения, физиономия зверская. Дворник Евграфов представлен к награде».

Такое известие не редкость! Его читали и ему верили...

Это был двадцатилетний малый, высокого роста, без малейшего признака усов и бороды на скуластом, широком лице. Серые маленькие глаза его бегали из стороны в сторону, как у «вора на ярмарке».

В них и во всем лице было что-то напоминающее блудливого кота. Одевался Спирька во что бог пошлет. В первый раз — это было летом — я встретил его бегущего по Тверской с какими-то покупками в руке и папироской в зубах, которой он затягивался немилосердно. На нем была рваная, вылинявшая зеленая ситцевая рубаша и короткие, порыжелые, плисовые, необыкновенной ширины шаровары, достигавшие до колен; далее следовали голые ноги, а на них шлепавшие огромные резиновые калоши, связанные веревочкой. Шапки на голове у Спирьки не было. У меблированных комнат, где служил Спирька самоварщиком, его остановил швейцар:

— Спирька! Как тебе не стыдно так ходить? Ведь гостиницу срамишь!

— Что это? Чем-с?! Украл, что ли, я что? — отвечал тот, затягиваясь дымом.

— Кто говорит, украл! А ходишь-то в чем... Стыдно!

— Чего стыдно! Всяк знает, что я при месте нахожусь! Вот коли бы без места ходил этак, стыдно бы было, вот что! — И еще раз пыхнув папироской, Спирька в два прыжка очутился на верху лестницы.

Я жил в тех же номерах.

— Что это, у нас служит? — спросил я швейцара.

— У нас, Владимир Алексеич, самоварщиком; самый что ни на есть забулдыжный человек и пьяница распре-горчайший, пропащий!

— Зачем же держать такого?

— Сами изволите знать, хозяин-то какой аспид у нас — все на выгоды норовит, а Спирька-то ему в аккурат под кадрель пришелся — задарма живет. Ну и оба рады. Хозяин — что Спирька денег не берет, а Спирька — что он при месте! А то куда его такого возьмут, оголтелого. И честный хоть он и работающий, да насчет пьянства — слаб, одежки нет, ну и мается.

Я жил в одном номере с товарищем Григорьевым. Придя домой, я рассказал ему о Спирьке.

— Да, я его видал. Любопытный человек, он меня заинтересовал давно; способный, честный, но пьяница.

Этим разговор о Спирьке и кончился. Потом я его несколько раз встречал в коридоре и на улице.

Как-то пришлось мне уехать на несколько дней из Москвы. Когда я возвратился, мой товарищ сказал мне:

— А у нас, Володя, семейства прибавилось.

— Что такое?

— Спирьку я к себе в лакеи взял.

— Ну?! — удивился я.

— Да, верно; третьего дня его хозяин прогнал, идти человеку некуда, ну я его и взял. Славный малый, исполнительный, честный.

В это время дверь отворилась, и с покупками в руках явился Спирька. Положив покупки и сдачу с десятирублевой ассигнации, он поздоровался со мной.

— Здравствуйте, барин, — рикамендуюсь вам, что мы теперь у вас в услужении будем.

— Рад за тебя, служи.

— Нет, вы, барин, на меня поглядите-сь, каким я теперь — хоть сейчас под венец, — обратился ко мне Спирька, охорашиваясь и поправляя полы спереди узкого, короткого сюртука.

— Барин подарил-с, — сказал он. Действительно, Спирьку нельзя было узнать. На нем была поношенная, но чистенькая триковая пара и порядочные, вычищенные до блеска сапоги. Он был умыт, причесан, и лицо его сияло.

— Эх, то есть вот как теперь меня благодетельствовали, что всю жизнь свою не забуду, по гроб слугой буду, то есть хоть в воду головой за вас... Ведь я сроду таким господином не был. Вот родители-то полюбовались бы...

— Ну и покажись им, — сказал я.

— Это родителям-то-с? Да у меня их никогда и не бывало; я ведь из шпитонцев взят прямо.

— Как не бывало?

— Мы шпитонцы; из ошпитательного дома... бог его знает, кто у меня родитель — може, граф, може, князь, а може, и наш брат Исакий!

— Ну, последнее вернее, — сказал мой товарищ, глядя на лицо Спирьки.

Стал у нас Спирька служить. Жалованье ему положили пять рублей в месяц.

Два месяца Спирька живет — не пьет ни капли. Белье кой-какое себе завел, сундук купил, в сундук зеркальце положил, щетки сапожные... С виду приличен стал, исполнитель и предупредителен до мелочей. Утром — все убрано в комнате, булки принесены, стол накрыт, самовар готов; сапоги, вычищенные «под спиртовой лак», по его выражению, стоят у кроватей, на платье ни пылинки.

Разбудит нас, подаст умыться и во все время чаю стоит у притолоки, сияющий, веселый.

— Ну что, Спиридон, как дела? — спросишь его.

— Слава тебе господи, с бродяжного положения на барские права перешел! — ответит он, оглядывая свой костюм.

— А выпить хочется тебе?

— Нет, барин, шабаш! Было попито, больше не буду, вот тебе бог, не буду! Все эти прежние художества побоку... Зарок дал — к водке и не подходить: будет, помучился век-то свой! Будет в помойной яме курам да собакам чай собирать!

— Так не будешь?

— Вот-те крест, не буду.

Спустя около месяца после этого разговора Спирька является к моему сотоварищу и говорит ему:

— Петр Григорьич, дайте мне четыре рубля, жисть решается!

— Как так?

— Невесту на четыре рубля сосватал! С приданым, и все у нее как следно быть, в настоящем виде.

— Что ты?

— Будь сейчас четыре рубля, и жена готова!

— На что же четыре рубля?

— Свахе угощение, и ей тоже надо. Сделайте милость, будьте, барин, отец родной, составьте полное удовольствие, чтобы жениться — остепениться!

Ему дали четыре рубля. Это было в три часа дня, Спиридон разodelся в чистую сорочку, в голубой галстук, наваксил сапоги и отправился.

На другой день Спирька не являлся. Вечером, когда я вместе с Григорьевым возвратился домой после спектакля, Спирька спал на диване в своих широчайших шароварах и зеленой рубахе. Под глазом виднелся громадный фонарь, лицо было исцарапано, опухло. Следы страшной оргии были ясно видны на нем.

— Вот так женился! — сказал Григорьев, рассматривая лежавшего.

— Да, с приданым жену взял!

Спирька, услышав разговор, поднял голову, быстро опомнился, вскочил и пошел в переднюю, не сказав ни слова.

— Спиридон! — громко окликнул его Григорьев, едва сдерживаясь от смеха.

— Чего изволите? — прохрипел тот в ответ, останавливаясь у двери и жмурясь.

— Что с тобой? А?

— Загуляли, барин! — Спирька махнул энергично правой рукой.

— А свадьба когда?

— Не будет! — пресерьезно ответил он и скрылся за дверями.

Григорьев решил его еще раз одеть и не прогонять.

— Авось исправится, человеком будет! — рассуждал он.

Однако слова его не оправдались. Запил Спирька горькую. Денег нет — ходит печальный, грустный, тоскует, — смотреть жаль. Дашь ему пятак — выпьет, повеселеет, а потом опять. Видеть водки хладнокровно не мог. Платье дашь — пропьет.

Наконец, Григорьев прогнал его. После, глубокой осенью, в дождь и холод, я опять встретил его, пьяного, в неизменных шароварах, зеленой рубахе и резиновых калошах. Он шел в кабак, пошатывался и что-то распевал веселое...

Балаган

Ханов более двадцати лет служит по провинциальным сценам.

Он начал свою сценическую деятельность у знаменитого в свое время антрепренера Смирнова и с бродячей труппой, в сорокаградусные морозы путешествовал из города в город на розвальнях. Играл он тогда драматических любовников и получал двадцать пять рублей в месяц при хозяйской квартире и столе. Квартирой ему служила уборная в театре, где в холодные зимы он спал, завернувшись в море или в небо, положивши воздух или лес под голову. Утром он развертывался, катаясь по сцене, вылезал из декорации весь белый от клеевой краски и долго чистился.

Лет через десять из Ханова выработался недюжинный актер. Он женился на молодой актрисе, пошли дети. К этому времени положение актеров сильно изменилось к лучшему. Вместо прежних бродячих трупп, полуголодных, полураздетых, вместо антрепренеров-эксплуататоров, игравших в деревянных сараях, явились антрепренеры-помещики, получавшие выкупные с крестьян. Они выстроили в городах роскошные театры и наперебой стали приглашать актеров, платя им безумные деньги.

Пятьсот и шестьсот рублей в месяц в то время были не редкость.

Но блаженные времена скоро миновали. Помещичьи суммы иссякли. Антрепренерами явились актеры-скопидомы, сумевшие сберечь кой-какие капиталы из полученных от помещиков жалований.

Они сами начали снимать театры, сами играли главные роли и сильно сбавили оклады. Время шло. Избалованная публика, привыкшая к богатой обстановке пьес при помещиках-антрепренерах, меньше и меньше посещала театры, а общее безденежье, тугие торговые дела и неурожай довершили падение театров. Дело начало падать. Начались неплатежи актерам, между последними появились аферисты, без гроша снимавшие театры; к довершению всех бед великим постом запретили играть.

В один из подобных неудачных сезонов в городе, где служил Ханов, после рождества антрепренер сбежал. Труппа осталась без гроша. Ханов на последние деньги, вырученные за заложенные подарки от публики, с женой и детьми добрался до Москвы и остановился в дешевых меблированных комнатах.

Продолжая закладываться, кое-как впроголодь, он добился до масленицы. В это время дети расхворались, жена тоже простудилась в сыром номере. А места все не было, и в перспективе грозил голодный пост.

— И зачем это я русский, а не немец, не француз какой-нибудь! — восклицал за рюмкой водки перед своими товарищами Ханов.

— Да, вот иностранцам скабрзные шансонетки можно петь, а нам, толкователям Гоголя и Грибоедова, приходится под заграничные песни голодом сидеть...

— И сидишь, и жена и дети сидят, а заработки никакой... Пойду завтра дрова колоть наниматься...

— Зачем дрова! Еще в балагане можно заработать, — заметил комик Костин, поглаживая свою лысинку.

— В балагане? — удивился Ханов.
— Ну да, в балагане под Девичьим...
— Стыдно, брат, в балагане...
— Стыдно? Дурак! Да мы на эшафоте играли!
— Что-о? — протянул сквозь зубы столичный актер Вязигин, бывший сослуживец и соперник Ханова по провинциальным сценам, где они были на одних ролях и где публика больше любила Ханова.
— На эшафоте, говорю, играли... Приехали мы в Кирсанов. Ярмарка, все сараи заняты, играть негде. Гляжу я — на площади эшафот стоит: преступников накануне вывозили.
— Ну и...
— Ну и к исправнику сейчас. Так, мол, и так, ваш-скородие, уступите эшафот на недельку, без нужды стоит. Уступил, всего по четыре с полтиной за помещение в вечер взял, и дело сделали, и «Аскольдову могилу» ставили.
— Эт-то на эш-шаф-фоте? — ломался Вязигин.
— На эшафоте...
— Странно...
— Ей-богу, брат Ханов, не брезгай балаганом... — советовал Костин.
— Па-слушайте, Ханов, я тоже советую; там, батенька мой, знаменитости играли, да-с.
— Я согласен, господа, как бы ни заработать честным трудом... но как попасть туда?
— А, пустяки... Я карточку дам Обиралову, содержателю балагана... Он мой... да... ну, я знаю его.
— Спасибо, Вязигин, я пойду...
— За здоровье балаганных актеров! — крикнул Ханов, поднимая рюмку.
— Костин, вечно ты балаганишь! — как-то странно, сквозь зубы процедил Вязигин...

* * *

Был холодный, вьюжный день. Кутаясь в пальто и нахлобучив чуть не на уши старомодный цилиндр, Ханов бодро шагал к Девичьему полю.

Он то скользил по обледенелому тротуару, то чуть не до колена вязнул в хребтах снега, навитых ветром около заборов и на перекрестках; порывистый ветер, с силой вырывавшийся из-за каждого угла, на каждом перекрестке, врезывался в скважины поношенного пальто, ледяной змеей вползал в рукава и чуть не сшибал с ног. Ханов голой рукой попеременно пожимал уши, грел руки в холодных рукавах и сердился на крахмаленные рукава рубашки, мешавшие просунуть как следует руку в рукав.

Вот, наконец, и Девичье поле, занесенное глубоким снегом, тучами крутящимся над сугробом.

Посередине поля плотники наскоро сшивали дощатый балаган. Около него стоял пожилой человек, в собольей шубе, окруженный толпой полураздетых, небритых субъектов и нарумяненных женщин, дрожавших от холода.

Он отбивался от них.

— Да не надо, говорят, не надо, у меня труппа полна:

— Иван Иванович, да меня возьмите хоть, ведь я три года у вас Илью Муромца представлял, — приставал высокий, плотный субъект с одутловатым лицом.

— Ты только дерешься, да пьянствуешь, да ругаешься неприлично на сцене, и так чуть к мировому из-за тебя не попал, а еще чиновник. Не надо, не надо.

— Иван Иванович, нас-то вы возьмите, Христа ради, ведь есть нечего, — упрашивали окружающие.

— Не надо.

Ханов приосанился, принял горделивую позу, приподнял слегка цилиндр и спросил:

— Иван Иванович Обиралов — вы?

— Я, что угодно?
— Вязигин просил вам передать.
Тот взял визитную карточку, прочитал и подал руку Ханову.
— Очень приятно-с... От Вязигина? Мой приятель...
Дела делали... пожалуйста в трактир-с!
— Иван Иванович, как же, возьмете? — упрасивала толпа.
— Да ну, ступайте, что пристали? Сказал — не надо, некогда... Пойдемте-с, — и они с Хановым пошли.
Толпа направилась следом.
Ханов слышал, как про «его говорили: «должно, наниматься», «актер», «куда ему, жидок», «не выдержит», «видали мы таких».

* * *

Народные гулянья начались. Девичье поле запестрело каруселями, палатками с игрушками, дешевыми лакомствами.

Посередине в ряд выросла целая фаланга высоких, длинных дощатых балаганов с ужасающими вывесками: на одной громадный удав пожирал оленя, на другой негры-людоеды завтракали толстым европейцем в клетчатых брюках, на третьей какой-то богатырь гигантским мечом отсекал сотни голов у мирно стоявших черкесов.

Богатырь был изображен на белом коне. Внизу красовалась подпись: «Еруслан богатырь и Людмила прекрасная».

«Это, должно быть, я!»- взглянув на рыцаря, улыбнулся Ханов, подходя к балагану.

Около кассы, состоящей из столика и шкатулки, сидела толстая баба в лисьем салопе и дорогой шали.

— Это балаган Обиралова? — обратился к ней Ханов.

— Балаганы с петрушкой, а это киятры!.. Это наши киятры... А вам чево?

— Я актер Ханов, я играю сегодня.

— Тьфу! а я думала, с человеком разговариваю! Балаган тоже!

«Хорошенькая встреча», — подумал Ханов и поднялся четыре ступеньки на сцену.

По сцене, с изящным хлыстом в руке и в щегольской лисьей венгерке, бегал Обиралов и ругал рабочих. Он наткнулся на входившего Ханова.

— Так нельзя-с! Так не делают у нас... Вы опоздали к началу, а из-за вас тут беспокойся. Пошел-те в уборную, да живо одеваться! — залпом выпалил Обиралов, продолжая ходить.

Ханов хотел ответить дерзостью, но что-то вспомнил и пошел далее.

— В одевальню? сюда пожалте... — указал ему рабочий на дверь.

Ханов поднял грязный войлок, которым был завешан вход под сцену, и начал спускаться вниз по лесенке.

Под сценой было забранное из досок стойло, на гвоздях висели разные костюмы, у входа сидели солдаты, которым, поплеывая себе на руки, малый в казинетовом пиджаке мазал руки и лицо голландской сажей. Далее несколько женщин белились свинцовыми белилами и подводили себе глаза. Несколько человек, уже вполне одетые в измятые боярские костюмы, грелись у чугуна с угольями. Вспыхивавшие синие языки пламени мельком освещали нагримированные лица, казавшиеся при этом освещении лицами трупов.

Ханов оделся также в парчовый костюм, более богатый, чем у других, и прицепил фельдфебельскую шашку, справлявшую должность «меча-кладенца».

Напудрив лицо и мазнув раза два заячьей лапкой с суриком по щекам, Ханов вышел на сцену.

По сцене важно разгуливал, нося на левой руке бороду, волшебник Черномор. Его изображал тринадцатилетний горбатый мальчик, сын сапожника-пьяницы. На кресле сидела симпатичная молодая блондинка в шелковом сарафане с открытыми руками и стучала от

холода зубами. Около нее стояла сухощавая, в коричневом платье, повязанная черным платком старуха, заметно под хмельком, что-то доказывала молодой жестами.

— Мама, щец хоть принеси... Свари же...

— Щец! Щец!.. Дура!.. Деньги да богатство к тебе сами лезли... Матери родной пожалеть не хотите... Щец!

— Мама, оставьте этот разговор... Не надо мне ничего, лучше голодать буду.

В публике слышался глухой шум и аплодисменты. Обиралов подошел к занавесу, посмотрел в дырочку на публику, пощелкал ногтем большого пальца по полотну занавеса и крикнул: «Играйте!»

Плохой военный оркестр загремел. У входа в балаган слышались возгласы:

— К началу-у-у, начинаем, сейчас начнем! Наконец, оркестр кончил, и занавес, скрипя и стуча, поднялся.

Началось представление.

Публика, подняв воротники шуб, смотрела на полураздетых актеров, на пляшущих в одних рубашонках детей и кричала после каждого акта «бис».

В первый день пьеса была сыграна двадцать три раза.

К последнему разу Черномор напился до бесчувствия; его положили на земляной пол уборной и играли без Черномора.

После представления Ханов явился домой веселый и рассказал жене о своем дебюте. Оба много смеялись.

На следующий и на третий день он играл в надежде на скорую получку денег и не стеснялся. Публика была самая безобидная: дети с няньками в ложах и первых рядах и чернорабочие на «галдарее». Последние любили сильные возгласы и резкие жесты, и Ханов старался играть для них. Они были счастливы и принимали Ханова аплодисментами.

Аплодисмент балагана — тоже аплодисмент.

Ханов старался для этой безобидной публики и, пожалуй, в те минуты был счастлив знакомым ему счастьем.

Он знал, что доставляет удовольствие публике, и не разбирал, какая это публика.

Дети и первые ряды аплодировали Людмиле. Они видели ее свежую красоту и симпатизировали ей.

Симпатия выражалась аплодисментами.

В субботу на масленой особенно принимали Людмилу. Она была лучше, чем в прежние дни. У ней как-то особенно блестели глаза и движения были лихорадочны. Иногда с ней бывало что-то странное: выходя из-за кулис, Людмила должна была пройти через всю сцену и сесть на золоченый картонный трон. Людмила выходила, нетвердыми шагами шла к трону, притом вдруг останавливалась или садилась на другой попутный стул, хваталась руками за голову, и, будто проснувшись от глубокого сна, сверкала блестящими, большими голубыми глазами и шла к своему трону. Это ужасно к ней шло. Она была прекрасна, и публика ценила это.

Ей аплодировали и удивлялись.

В три часа дня играли «Еруслана» в пятнадцатый раз. Публика переполнила балаган.

— К началу! К началу! — неистово орал швейцар в ливрее с собачьим воротником, с медным околышем на шляпе.

Появление Людмилы встретили аплодисментами. Она вышла еще красивее, глаза ее были еще больше, еще ярче блестели.

Но на этот раз она не дошла до трона. Выйдя из-за кулис, она сделала несколько шагов к огню передней рампы, потом, при громе аплодисментов, повернула назад и, будто на стул, села на пол посередине пустой сцены.

— Bravo! Bravo! Бис! — загоготала публика, принявшая эту сцену за клоунский фарс.

Явился антрепренер, опустил занавес, и Людмилу унесли вниз, в уборную, и положили на земляной пол. «Простудилась», — сказал кто-то. Публика неистовствовала и вызывала ее.

Акт не был кончен. Начали ставить вторую картину, а роль Людмилы отдали какой-то

набеленной, дебелой полудеве.

Подняли занавес. Ханов вышел с фельдфебельской саблей в руках и, помахивая ею, начал монолог:

— «О поле, поле, кто тебя усеял повсюду мертвыми костями!»

— А кости где? — кто-то протяжно, ломая слова, сказал в публике.

Ханов невольно оглянулся. В первом ряду сидели четыре бритые, актерские физиономии, кутаясь в меховые воротники. Он узнал Вязигина и Сумского, актера казенных театров.

— Браво, браво, Ханов! — с насмешкой хлопнули они в ладоши. Задняя публика, услышав аплодисменты первых рядов, неистово захлопала и заорала: «Браво, bis!»

— Баррр-банщика! — проревел какой-то пьяный, покрывший шум толпы бас.

Ханов ничего не слышал. Он хотел бежать со сцены и уже повернулся, но перед его глазами встал сырой, холодный, с коричневыми, мохнатыми от плесени пятнами по стенам номер, кровать детей и две белокурые головки.

Ханов энергично повернулся к картонной голове, вращавшей в углу сцены красными глазами, и начал свой монолог:

— «Послушай, голова пустая, я еду, еду не свищу, а как наеду — не спущу и поражу копьем тебя — я!» — замахиваясь саблей, декламировал он дрожащим голосом.

— Это не копье, а полицейская селедка! — громко, насмешливым тоном крикнул Вязигин.

Ханов вздрогнул и умоляюще посмотрел на говорившего.

Он увидел торжествующий злобный взгляд и гадкую усмешку на тонких, иезуитских губах Вязигина.

— Браво, Ханов, браво! — зааплодировал Вязигин, а за ним его сосед и публика.

Ханов затрясся весь. «А жена, а дети?» — мелькнуло у него в голове. Затем опять перед глазами его Вязигин гадко улыбался, и Ханов, не помня себя, крикнул:

— Подлец! — и бросился бежать со сцены. Публика, опять приняв поступок Ханова за входившего в роль Руслана, аплодировала неистово.

Ханов вбежал в уборную и остановился у входа.

Посредине пола, на голой земле, лежала Людмила, разметав руки. Глаза ее то полузакрывались, то широко открывались и смотрели в одну точку на потолок. Подле нее сидела ее пьяная мать, стояла водка и дымился завернутый в тряпку картофель.

Мать чистила картофелину.

«Я не хочу... не хочу, мама... не надо мне ваших бриллиантов... золота... мы там играть будем... коленкору на фартук... вот хороший венок... мой венок...» — металась и твердила в бреду Людмила.

— Что с ней? — спросил у матери Ханов.

— Сама виновата... Сама. Говорила я... А теперь картошку ешь!

— А, обе пьяные! — крикнул Ханов и начал раздеваться. Старуха вскочила со своего места и набросилась на Ханова.

— Как вы смееете?.. Я сама актриса... Я Ланская... слышали?! Вы смееете? Я пьяная, я старая пьяница... А она, моя Катя... Ах, говорила я ей, говорила... Лучше бы было!

И старуха с рыданиями упала на грудь дочери.

Та лежала по-прежнему и бредила.

Слышались слова: венок, букет, Офелия...

Ханов подошел и положил руку на мраморный, античный лоб Людмилы. Голова была как огонь. Жилы на висках бились.

— Тиф с ней, горячка, а вы — пьяная! — всхлипывала мать.

А сверху доносились звуки военного оркестра, наигрывавшего «Камаринского», и кто-то орал под музыку!

Там кума его калачики пекла, Баба добрая, здоровая была!..

Колесов

Почтовый поезд из Рязани уже подходил к Москве. В одном из вагонов третьего класса сидел молодой человек, немного выше среднего роста, одетый в теплое пальто с бобровым воротником. Рядом с ним лежал небольшой чемоданчик и одеяло. Этот пассажир был Александр Иванович Колесов, служивший в одной из купеческих контор на юге чем-то вроде бухгалтера. Контора разорилась, и Колесов, оставшийся без места, отправился в Москву искать счастья. Деньги, заслуженные им в продолжение пятилетней службы, так и пропали. Продав кой-что лишнее из носильного платья, он отправился. Родственников у него нигде не было. Отец и мать, бедные воронежские мещане, давно умерли, а более никого не было нигде.

Какие мысли роились в голове его!.. Какие планы строил он!..

«Вот, — думал Колесов, — приеду в Москву. Устроюсь где-нибудь в конторе, рублей на пятьдесят в месяц. Года два прослужу, дадут больше... Там, бог даст, найду себе по сердцу какую-нибудь небогатую девушку, женюсь на ней, и заживем... И чего не жить! Человек я смирный, работающий, вина в рот не беру... Только бы найти место, и я счастлив... А Москва велика, люди нужны... Я человек знающий, рекомендация от хозяина есть, значит, и думать нечего».

Раздался последний свисток, пассажиры зашевелились, начали собирать вещи, и через минуту поезд уже остановился. Колесов вышел из вагона на платформу. Его тотчас окружили «вызывали» из мелких гостиниц и дурных номеров, насильно таща каждый к себе. Один прямо вырвал из рук Колесова его чемодан.

— Пожалуйте-с к нам остановиться, сударь, номера почти рядом, дешевые-с, от полтинника-с! Пожалуйте-с за мною...

— Пожалуй, пойдем, если только номера приличные; где ни остановиться, мне все равно.

— Приличные-с, будьте благонадежны, можно сказать, роскошные номера за эту цену, пожалуйста! И близ-ко-с, даже извозчик не требуется.

Через несколько минут чичероне заявил, указывая на меблированные комнаты:

— Здесь!

— А улица какая?

— Самая спокойная в Москве-с, Дьяковка прозывается.

В полтинник номеров не оказалось, пришлось занять в рубль.

— Самоварчик-с? — предложил юркий, с плутовскими глазами коридорный.

Колесов приказал самовар.

— Документик теперь прикажете получить? Документ был отдан.

— Из провинции изволили прибыть в белокаменную?

— Да, из Воронежа.

— По коммерции-с?

— Нет, места искать!

И Колесов рассказал коридорному причину, заставившую его прибыть в Москву.

— Те-кс! — протянул слуга и, вынув из кармана серебряные часы, посмотрел на них, потом послушал.

— Остановились! А на ваших сколько-с? Колесов вынул золотые недорогие часы.

— Ровно десять.

— Так-с! А что намерены делать сегодня?

— Отдохну с полчаса, а потом куда-нибудь пройду, Москвой полюбуюсь.

— Доброе дело-с!

Коридорный скрылся, а Колесов, напившись чаю, оделся, запер дверь, ключ от номера взял с собой и пошел по Москве. Побывал в Кремле, проехался по интересовавшей его конке и, не зная Москвы, пообедал в каком-то скверном трактире на Сретенке, где содрали с него втридорога, а затем пешком отправился домой, спрашивая каждого дворника, как пройти на

Дьяковку.

* * *

Трактир низшего разбора был переполнен посетителями. В отдельной комнатке, за стенкой которой гремел, свистя и пыхтя, как паровик, расстроенный оркестрион, сидели за столом две женщины; одной, по-видимому еврейке, на вид было лет за пятьдесят. Другая была еще молоденькая девушка, строгая блондинка, с роскошной косой и с карими, глубокими глазами — Гретхен, да и только. Но если попристальнее взглядеться в эту Гретхен, что-то недоброе просвечивало в ее глазах, и ее роскошная белизна лица с легким румянцем оказывалась искусственно наведенной. Обе были одеты безукоризненно. На руках молодой сверкали браслеты и кольца. На столе перед ними стояла полбутылка коньяку и сахар с лимоном.

— Да! Сенька все дело испортил своим дурацким кашлем! — говорила блондинка.

— Испортил? Как же?

— Да так: сидели мы во втором классе. Подходящего сюжета не было. Вдруг в Клину ввалился толстый-претолстый купчина, порядком выпивши. Сенька сел с ним рядом, тут я подошла. Толстяк был пьян и, как только сел, начал храпеть, отвалившись на стенку дивана. Сенька мне мигнул, мы поменялись местами, я села рядом с купчиной, а Сенька, чтоб скрыть работу от публики, заслонил купца и полез будто бы за вещами на полочку, а я тем временем в ширмоху за лопатошником⁹... В эту самую минуту Сенька и закашлялся. Мощи¹⁰ проснулись, и не выгорело! Из-за дурацкого кашля напрасно вся работа пропала.

— Стоит с Сенькой ездить! То ли дело Лейба!

— Лейба? Толст очень, ожирел, да и работой нечист! На выставке и то попался из-за красненькой!

Блондинка замолчала, налила по рюмке коньяку, выпила и заговорила:

— Выручи, Марья Дмитриевна, сделай милость, дай рубликов пятьдесят, работы никакой, ехать в дорогу не с кем, с Сенькой поругалась, поляк сгорел.¹¹ Милька...

— Здесь работай!

— Работы никакой. Сашка номерной давеча мигал что-то из двери, когда мы ехали, — да напрасно, кажись!

— Не напрасно-с, Александра Кирилловна, дело есть!

— Сашка, легок на помине! — воскликнули обе.

— Как черт на овине, — раскланиваясь, проговорил знакомый уже нам коридорный, прислуживавший Колесову.

— У вас? — заговорила блондинка.

— У нас! Попотчуйте коньячком-то!

— Пей! — Еврейка налила ему рюмку, которую он и проглотил.

— Богатый?

— На катеньку есть.

— Мелочь! А впрочем, на голодный зуб и то годится.

— Так идет? — спросила еврейка.

— Так точно-с! — ответил Сашка. — Четвертную им, четвертную мне, четвертную хозяину и четвертную за хлопоты...

— За какие хлопоты? — полюбопытствовала еврейка.

⁹ В карман за бумажником

¹⁰ Спящий пассажир

¹¹ Арестован

— А когда за работу? — спросила Сашку блондинка, не отвечая на вопрос соседки.
— Сегодня, сиди здесь пока, а потом я забегу и скажу, что делать. Затем прощайте, скоро буду!

Сашка пожал руки обоим женщинам и ушел.

Колесов явился домой через полчаса после того, как коридорный Сашка возвратился из трактира. Он потребовал самовар, а за чаем Сашка предложил ему познакомиться с некоторой молодой особой, крайне интересной, на что тот согласился, и через самое короткое время известная читателю блондинка уже была в гостях у Колесова, которого она успела положительно очаровать. К двенадцати часам ночи Колесов, одурманенный пивом, настоящим на окурках сигар, так часто употребляемым в разных трущобах для приведения в бесчувствие жертв, лежал на кровати одетый, погружаясь в глубокий искусственный сон, навеянный дурманом...

— Барин, а барин! Вставать пора! Барин! Двенадцатый час!.. — кричал поутру коридорный, стуча в дверь номера, где спал Колесов. Но тот не откликнулся.

Колесов проснулся поздно.

* * *

«Посмотрим, который теперь час!» — подумал Колесов, ища в кармане жилета часы и не находя их...

«Не украла ли их вчерашняя гостья?» — мелькнуло у него в уме. Он инстинктивно схватился за бумажник, раскрыл его: денег не было ни копейки.

— Коридорный, коридорный! — закричал он, отворяя дверь.

— Самоварчик? Сию минуту, подаю-с! — ответил Сашка, являясь в номер Колесова.

— Обокрали! Слышишь! Обокрали меня! Деньги, часы... Что мне делать? Ведь это мое последнее достояние! — со слезами на глазах умолял Колесов.

— Кого обокрали, помилуйте?

— Меня, меня! бумажник, часы...

— Где-с?

— Здесь, ночью...

— Это гостья ваша, наверно. Никто и не видал, когда она ушла...

— Кто же она, пошлите за полицией, задержать ее! Ведь ты рекомендовал! — метался Колесов.

— Меня и не изволите мешать! Рекомендовал! Приведете там, да на служащих валить! Ишь ты, за полицией... Вы и номеров не извольте срамить!.. А лучше убирайтесь отсюда подобру-поздорову, пока целы, — дерзко ответил коридорный и хлопнул дверью...

II

В знакомом же нам трактире, только в черной половине его, сидел небритый, грязный субъект. Было семь часов вечера.

В это время в трактир вошел Колесов, с чемоданом в руке, и поместился за одним из соседних столиков.

«Ага, приезжий! Попросить разве на ночлег», — мелькнуло в голове субъекта. Он подошел к столу, который занял Колесов.

— Позвольте к вам на минутку присесть! — обратился он к Колесову.

— О, с удовольствием, рад буду! — ответил последний.

Подали чай, за которым Колесов рассказал субъекту свое горе, как его обокрали и как, наконец, попросили удалиться из номеров.

— Денег ни гроша, квартиры нет, — жаловался Колесов.

— Устроим, не беспокойтесь! Только деньжонок рубля три надо!

— Нет у меня. Чемодан бы заложить, да вещишки кой-какие там. Кольцо было

материно, рублей сорок стоило, и то украли.

Через несколько времени стараниями субъекта чемодан был заложен за три рубля, и Колесов уже сидел в одном из трактиров на Грачевке, куда завел его субъект, показывавший различные московские трущобы.

— Ну что же, ведите меня спать! — упрашивал его Колесов.

— Спать? Какой там сон, пойдем еще погуляем. Водочки выпьем, закусим.

— Я не пью ничего, кроме пива, — да и пиво у вас какое-то гадкое.

— Спросим настоящего. Хочешь, с приятелями познакомлю, вон видишь, в углу за бутылкой сидят!

Колесов посмотрел, куда указывал ему его товарищ.

В углу, за столом, сидели три человека, одетые — двое в пальто, сильно поношенные, а третий в серую поддевку. Один, одетый в коричневое пальто, был гигантского роста. Он пил водку чайным стаканом и говорил что-то своим собеседникам.

— Кто это такие?

— Славные люди, промышленники. Посиди, а я к ним схожу, надо повидаться! — шепнул субъект и быстро подошел к столу, за которым сидели трое. С каждым из них он поздоровался за руку, как старый приятель, и начал что-то говорить им, наклонившись к столу, так тихо, что слова лишь изредка долетали до Колесова. Громче всех говорил гигант. Можно было расслышать

у него: «еще не обсосан», «шкура теплая» и «шланбой». Во время разговора трое посмотрели на Колесова, но поодиночке каждый, будто не нарочно. Колесов сам не обращал внимания на них; он сидел, облокотившись одной рукой на стол, и безотчетно смотрел в пространство. Глаза его были полны слез. Он ничего не слышал, ничего не видел вокруг себя.

— Не вешай голову, не печаль хозяина! — вдруг раздался над ухом у него громовой бас, и чья-то тяжелая, как свинец, рука опустилась на него. Колесов встрепенулся. Подле него стоял гигант и смотрел ему в глаза.

— Что вам угодно? Я не знаю вас! — проговорил испуганный Колесов.

— А мы вас знаем; слышали о том, как вас обработали, и горю вашему помочь возьмемся.

— Горю помочь? Да неужели? Деньги отдадите, часы?

— Часы и деньги — все достанем, только за труды красненький билет будет да на расход красненький, и все возвратим.

— Как же это?

— Да так: знаем, кто у вас украл, слышали и предоставим.

— Голубчик! как вас и благодарить!

— Не меня, вашего приятеля благодарите, — проговорил гигант, указывая на субъекта, распивавшего водку за другим столом.

— А вы сами кто?

— Приказчик; а девчонка, которая была у вас вчера, живет со мной в одном доме, так я подслушал разговор. Ну, так идет?

— Век буду благодарен! Только выручите!

— Выручим, ну, пойдем сейчас, золотое время терять нечего.

Гигант кивнул своей компании. Колесов расплатился, и все гурьбой вышли из трактира.

Погода была мерзкая. Сырой снег, разносимый холодным резким ветром, слепил глаза. Фонарики издавали бледно-желтый свет, который еле освещал на небольшое пространство сырую туманную мглу.

— Ну-с, господин почтенный, выручить мы вас выручим, и ваша пропажа найдется, и не дальше как сегодня же, только для этого нужно первым делом десять

рублей денег, — обратился гигант к Колесову, когда они вышли на улицу.

— Денег у меня только полтора рубля! — ответил тот.

— Нужно десять, и ни гроша менее. Да не беспокойтесь, мы вас не обманем, ваших

денег в руки не возымею, сами расплачиваться будете.

— Нету у меня.

— А без денег ничего не поделаешь, и, значит, не видать вам пропажи, как ушей своих.

— Да ведь денег-то нет! Где же взять? Я бы рад.

— А вот что, заложим до утра ваше пальто, а деньги достанем, завтра и выкупим, — предложили ему.

— Умно изволите говорить, только до утра, а завтра выкупим! — подтвердил гигант, шагая по Грачевке.

— Помилуйте... Как это пальто?! А я в чем же останусь?

— Только до утра как-нибудь перебьетесь, ночуем у меня, живу близко. Да не подумайте чего-нибудь дурного: ведь мы только выручить вас хотим, благо счастливый случай представился, мы люди порядочные, известные. Я приказчик купца Полякова, вот этот — мой товарищ, а они, — говорил гигант, показывая на поддевку, — на железной дороге в артельщиках состоят.

— Да, я артельщик, артельщик на Николаевской дороге, из Кунцева, — подтвердила поддевка.

— Господа, я согласен, я верю вам; где же заложить?

— Найдем такое место, пойдем.

— К Воробью пойдемте! — предложила поддевка.

— Вот сюда! — сказал гигант и указал на высокий дом.

Вошли все в ворота, кроме субъекта, который остался на улице.

— Ну-с, господа, вы погодите тут, а мы наверх пойдем, — сказал гигант, взяв за руку Колесова.

— Держитесь за меня, а то темно.

Начали подниматься по склизкой лестнице, вошли на площадку, темную совершенно.

— Снимайте пальто и дайте мне, а то двоим входить неловко, а я тем временем постучу.

Колесов повиновался как-то безотчетно, и через минуту пальто уже было у гиганта. Тот продолжал потихоньку стучаться, все далее и далее отодвигаясь от Колесова. Наконец, стук прекратился, раздался скрип половиц.

— Господин, где вы! — шепнул Колесов.

Ответа не было. Он сказал громче, еще громче. Ничего! Наконец, отыскал в кармане жилета спичечницу, зажег огня.

— Что ты тут делаешь, а? Поджигать или воровать пришел? — раздался громовый голос сзади, затем Колесов почувствовал удар, толчок и полетел с лестницы, сброшенный сильной рукой.

Очнулся он на дворе, в луже, чувствуя боль во всем теле. Что с ним случилось? Что было? Он не мог отдать себе отчета. Лихорадочная дрожь, боль во всем теле, страшный холод; он понемногу начинал приходить в чувство, соображать, но ум отказывался ему повиноваться. Наконец, спустя несколько минут он начал приходить в себя.

Весь мокрый, встал он на ноги и вышел на улицу. Темно было. Фонари были загашены, улицы совершенно опустели. Не отдавая себе хорошенько отчета, Колесов пустился идти скорым шагом. Прошел одну улицу, другую... Прохожие и дворники смотрели с удивлением и сторонились от него, мокрого, грязного... Он шел быстро, а куда — сам не знал... Колесил без разбору по Москве... Наконец, дошел до какой-то церкви, где служили заутреню... Он машинально вошел туда и, встав в самый темный угол церкви, упал на колени и зарыдал.

— Господи!.. Господи!.. Погиб я, погиб... — молился

он вслух, заливаясь слезами.

Церковь была почти пуста. Священник, молодой человек, монотонно, нехотя исполнял службу. Дьячок козлиным голосом вторил ему. С десятков старух и нищих как-то по привычке молились. Никто не обращал внимания на рыдающего Колесова.

Прошедший мимо него солдат-сторож только пробормотал про себя: «Ишь, проклятые,

греться сюда повадились, оборванцы, пьянчуги».

Долго и усердно молился Колесов, наконец немного успокоился. Кончилась заутреня, он вместе со всеми вышел. Начало светать. На паперти встретился ему старый нищий в рубище.

— Что это, почтенный, ты будто сам не свой, али обидели тебя? — обратился он к Колесову.

— Обидели, дедушка... вот как обидели!.. — ответил ему Колесов.

Они вышли оба вместе с паперти и пошли по улице. Дорогой он выплакал свое горе старику. Тот с участием выслушал его и сказал:

— Не помочь твоему горю. Пропал значит, мошенники тебя обработали начисто. Не один ты погиб так, а многие.

— Что же теперь делать, дедушка?

— И сам не знаю что! А вот пойдем-ка в трактир, я тебя чайком напою, а там и подумаем.

Нищий привел его в свою квартиру, в дом Бунина, на Хитров рынок, и заботливые соседи успели вдосталь обобрать Колесова и сделать из него одного из тех многочисленных оборванцев, которыми наполнены трущобы Хитрова рынка и других ночлежных домов, разбросанных по Москве. И сидит теперь Колесов день-деньской где-нибудь в кабаке, голодный, дожидаясь, что какой-нибудь загулявший бродяга поднесет ему стаканчик водки. Пьется этот стакан водки лишь для того, чтобы после него иметь возможность съесть кусок закуски и хоть этим утолить томящий голод. Вечером, когда стемнеет, выходит он выпросить у кого-нибудь из прохожих пятак на ночлег и отправляется на «квартиру».

И потекли для Колесова тяжелые дни... Что-то с ним будет?!

В глухую

«При очистке Неглинного канала находили кости, похожие на человеческие».

Газетная заметка.

Полночь — ужасный час.

В это время все любящие теплый свет яркого солнца мирно спят.

Поклонники ночи и обитатели глухих дебрей проснулись.

Последние живут на счет первых.

Из мокрой слизистой норы выползла противная, бородавчатая, цвета мрака, жаба... Заныряла в воздухе летучая мышь, заухал на весь лес филин, только что сожравший маленькую птичку, дремавшую около гнезда в ожидании рассвета; филину вторит сова, рыдающая больным ребенком. Тихо и жалобно завыл голодный волк, ему откликнулись его товарищи, и начался дикий, лесной концерт — ария полуночников.

Страшное время — полночь в дебрях леса.

Несравненно ужаснее и отвратительнее полночь в трущобах большого города, в трущобах блестящей, многолюдной столицы. И чем богаче, обширнее столица, тем ужаснее трущобы...

И здесь, как в дебрях леса, есть свои хищники, свои совы, свои волки, свои филины и летучие мыши...

И здесь они, как их лесные собратья, подстерегают добычу и подло, потихоньку, наверняка пользуются ночным мраком и беззащитностью жертв.

Все обитатели трущобы могли бы быть честными, хорошими людьми, если бы сотни обстоятельств, начиная с неумелого воспитания и кончая случайностями

и некоторыми условиями общественной жизни, не вогнали их в трущобу.

Часто одни и те же причины ведут к трущобной жизни и к самоубийству. Человек загоняется в трущобы, потому что он не уживается с условиями жизни. Прелести трущобы, увлекающие широкую необузданную натуру, — это воля, независимость, равноправность. Там — то преступление, то нужда и голод связывают между собой сильного со слабым и

взаимно уравнивают их. А все-таки трущоба — место не излюбленное, но неизбежное.

Притон трущобного люда, потерявшего обличье человеческое, — в заброшенных подвалах, в развалинах, подземельях.

Здесь крайняя степень падения, падения безвозвратного.

Люди эти, как и лесные хищники, боятся света, не показываются днем, а выползают ночью из нор своих. Полночь — их время. В полночь они заботятся о будущей ночи, в полночь они устраивают свои ужасные оргии и топят в них воспоминания о своей прежней, лучшей жизни.

Одна такая оргия была в самом разгаре.

Из-под сводов глубокого подвала доносились на свежий воздух неясные звуки дикого концерта.

Окна, поднявшиеся на сажень от земляного пола, были завешаны мокрыми, полинявшими тряпками, прилипшими к глубокой амбразуре сырой стены. Свет от окон почти не проникал на глухую улицу, куда заносило по ночам только загулявших мастеровых, пропивающих последнее платье...

Это одна из тех трущоб, которые открываются на имя женщин, переставших быть женщинами, и служат лишь притонами для воров, которым не позволили бы иметь свою квартиру. Сюда заманиваются под разными предложениями пьяные и обираются дочиста.

Около входа в подвал стояла в тени темная фигура и зазывала прохожих.

В эту ночь по трущобам глухой Безыменки ходил весь вечер щегольски одетый искатель приключений, всюду пил пиво, беседовал с обитателями и, выходя на улицу, что-то заносил в книжку при свете, падавшем из окон, или около фонарей.

Он уже обошел все трущобы и остановился около входа в подземелье. Его окликнул хриплый голос на чистом французском языке:

— Monsieur, venez chez nous pour un moment.¹²

— Что такое? — удивился прохожий.

— Зайдите, monsieur, к нам, у нас весело.

— Зачем я зайду?

— Теперь, monsieur, трактиры заперты, а у нас пиво и водка есть, у нас интересно для вас, зайдите!

От стены отделилась высокая фигура и за рукав потащила его вниз.

Тот не сопротивлялся и шел, опустив руку в карман короткого пальто и крепко стиснув стальной, с острыми шипами, кастет.

— Entrez!¹³ — раздалось у него над самым ухом.

Дверь отворилась. Перед вошедшим блеснул красноватый свет густого пара, и его оглушил хаос звуков. Еще шаг, и глазам гостя представилась яркая картина истинной трущобы. В громадном подвале, с мокрыми, почерневшими, сажеными сводами стояли три стола, окруженные неясными силуэтами. На стене, близ входа, на жестяной полочке дымился ночник, над которым черным столбиком тянулся дым, и столбик этот, воронкой расходясь под сводом, сливался незаметно с черным закоптевшим потолком. На двух столах стояли лампочки, водочная посуда, остатки закусок. На одном из них шла ожесточенная игра в банк. Метал плотный русак, С окладистой, степенной рыжей бородой, в поддевке. Засученные рукава открывали громадные кулаки, в которых почти скрывалась засаленная колода. Кругом стояли оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры.

— Транспа-арт с кушем! — слышалось между играющими.

— Семитка око...

— Имею... На-пере-пе...

¹² Господин, зайдите к нам на минутку (фр.)

¹³ Войдите! (фр.)

— Угол от гривны!

За столом, где не было лампы, а стояла пустая бутылка и валялась обсосанная голова селедки, сидел небритый субъект в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой, которая выводила фальцетом:

И чай пи-ла, я, бб-буллки-и ела, Паз-за-была и с кем си-идела.

За столом средним шел оживленный спор. Мальчик лет тринадцати, в лаковых сапогах и «спинчжаке», в новом картузе на затылке, колотил дном водочного стакана по столу и доказывал что-то оборванному еврею:

— Слушай, а ты...

— И што слушай? Что слушай? Работали вместе, и халтура¹⁴ пополам.

— Оно и пополам; ты затыривал — я по ширмохе, тебе двадцать плиток, а мне соловей.

— Соловей-то полета ходить небось.

— Провалиться, за четвертную ушел...

— Заливаешь!

— Пра слово... Чтоб сгореть!

— Где ж они?

— Прожил; коньки вот купил, чепчик. Ни финажки в кармане...¹⁵ Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз!

Оська оглянулся на вошедшего.

— Не лягаш ли?

— Не-е... просто стрюк шатаный...¹⁶ Да вот узнаем... Па-алковница, что кредитного,¹⁷ что ли, привела?

Стоявшая рядом с вошедшим женщина обернула к говорившему свое густо наштукатуренное лицо, подмигнула большими, черными, ввалившимися глазами и крикнула:

— Барин пива хочет! Monsieur, садитесь!

Тот, не вынимая правой руки и не снимая низкой, студенческой шляпы, подошел к столу и сел рядом с Иоськой.

Игравшие в карты на минуту остановились, осмотрели молча — с ног до головы — вошедшего и снова стали продолжать игру.

— Что ж, барин, ставь пива, угости полковницу, — заговорил мальчишка.

— А почему пиво?

— Да уж расшибись на рупь-целковый, всех угощай... Вон и барон опохмелиться хочет, — указал Иоська на субъекта в форменной фуражке.

Тот вскочил, лихо подлетел к гостю, сделал под козырек и скороговоркой выпалил:

— Барон Дорфгаузен, Оттон Карлович... Прошу любить и жаловать, рад познакомиться!..

— Вы барон?

— Ma parole...¹⁸ Барон и коллежский регистратор... В Лифляндии родился, за границей обучался, в Москве с кругу спился и вдребезги проигрался...

— Проигрались?

¹⁴ Халтура — барыш

¹⁵ Затыривать — помогать карманнику, ширмошнику, Плитка — рубль. Соловей — золотые часы. Часы вообще — собака. Коньки — сапоги. Финажки — кредитки

¹⁶ Стрюк шатаный — загулявший барин

¹⁷ Кредитный — возлюбленный

¹⁸ Честное слово (фр.)

— Вчистую! От жилетки рукава проиграл! — сострил Иоська.

Барон окинул его презрительным взглядом.

— Ma parole! Вот этому рыжему последнее пальто спустил... Одолжите, mon cher,¹⁹ двугривенный на реванш... Ma parole, до первой встречи...

— Извольте...

Барон схватил двугривенный, и через минуту уже слышался около банкомета его звучный голос:

— Куш под картой... Имею-с... Имею... Полкуша на-пе, очки вперед...

— Верно, сударь, настоящий барон... А теперь свидетельства на бедность — викторки строчит... Как печати делает! — пояснял Иоська гостю... — И такция недорого. Счас, ежели плакат — полтора рубля, вечность — три.

— Вечность?

— Да, дворянский паспорт или указ об отставке... С орденами — четыре... У него на все такция...

— Удивительно... Барон... Полковница...

— И настоящая полковница... В паспорте так. Да вот она сама расскажет...

И полковница начала рассказывать, как ее выдали прямо с институтской скамьи за какого-то гарнизонного полковника, как она убежала за границу с молодым помещиком, как тот ее бросил, как она запыла с горя и, спускаясь все ниже и ниже, дошла до трущобы...

— И что же, ведь здесь очень гадко? — спросил участливо гость.

— Гадко!.. Здесь я вольная, здесь я сама себе хозяйка... Никто меня не смеет стеснять... да-с!

— Ну, ты, будет растабарывать, неси пива! — крикнул на нее Иоська.

— Несу, оголтелый, что орешь! — И полковница исчезла.

— Malheur!²⁰ Не везет... А? Каково... Нет, вы послушайте. Ставлю на шестерку куш — дана. На-пе — имею. Полкуша на-пё, очки вперед — пятерку — взял... Отгибаюсь — уменьшаю куш — бита. Иду тем же кушем, бита. Ставлю насмарку — бита... Три — и подряд! Вот не везет!..

— Проиграли, значит?

— Вдребезги... Только бы последнюю дали — и я Крез. Талию изучил, и вдруг бита... Одолжите... до первой встречи еще тот же куш...

— С удовольствием, желаю отыгаться.

— All right!²¹ Это по-барски... Mille merci.²² До первой встречи.

А полковница налила три стакана пива и один, фарфоровый, поднесла гостю.

— Votre sante, monsieur!²³

Другой стакан взял барон, оторвавшийся на минуту от карт, и, подняв его над головой, молодецки провозгласил:

— За здоровье всех присутствующих... Уррра!.. Разбуженная баба за пустым столом широко раскрыла глаза, прислонилась к стене и затынула:

И чай пила я с сухарями, Воротилась с фонарями...

Полковница вновь налила стакан из свежей бутылки. Около банкомета завязался спор.

¹⁹ Мой дорогой (фр.)

²⁰ Несчастье! (фр.)

²¹ Превосходно! (англ.)

²² Тысяча благодарностей (фр.)

²³ Ваше здоровье, господин! (фр.)

— Нет, вы па-азвольте... сочтите абцуги... девятка налево, — горячился барон.

— Ну, ну, не шабарши с гривенником... говорят, бита...

— Сочтите абцуги... Вот видите, налево... Гривенник имею... Иду углом... Сколько в банке?

— В банке? Два рубли еще в банке... Рви... Бита... Гони сюда.

А с гостем случилось нечто. Он все смотрел на игру, а потом опустил голову, пробормотал несколько несвязных слов и грохнулся со стула.

— Семка, будет канителиться-то, готов! — крикнул банкомету мальчишка.

— Вижу!..

Банкомет сгреб деньги в широкий карман поддевки и, заявив, что банк закрыт, порастолкал игроков и подошел к лежавшему.

Полковница светила.

Мальчишка и банкомет в один момент обшарили карманы, и на столе появилась записная книжка с пачкой кредиток, часы, кошелек с мелочью и кастет.

— Эге, барин-то с припасом, — указал Иоська на кастет.

Барон взял книжку и начал ее рассматривать.

— Ну что там написано? — спросил банкомет.

— Фамилии какие-то... Счет в редакцию «Современных известий»... постой и... Вот насчет какой-то трущобы... Так, чушь!..

— Снимайте с него коньки-то!

— Да оставьте, господа, простудится человек, будет, нажили ведь! — вдруг заговорила полковница.

— Черт с ним, еще из пустяков сгоришь... Бери на вынос! — скомандовал банкомет.

Иоська взял лежавшего за голову и вдруг в испуге отскочил. Потом он быстро подошел и пощупал его за руку, за шею и за лоб.

— А ведь не ладно... Кажись, вглухую!²⁴

— Полно врать-то!

— Верно, Сема, гляди.

Банкомет засучил рукав и потрогал гостя...

— И вправду... Вот беда!

— Неловко...

— Ты что ему, целый порошок всыпала? — спросил русак полковницу.

— Не нашла порошков. Я в стакан от коробки из розовой отсыпала половину...

— Половину... Эх, проклятая! Да ведь с этого слон сдохнет!.. Убью!

Он замахнулся кулаком на отскочившую полковницу.

Ул-лажила яво спать
На тесовую кровать! -

еле слышно, уткнувшись носом в стол, тянула баба. К банкомету подошел мальчик и что-то прошептал ему на ухо.

— Дело... беги! — ответил тот. — Иоська, берись-ка за голову, вынесем на улицу, отлежится к утру! — проговорил Семка и поднял лежавшего за ноги. Они оба понесли его на улицу.

— Не смей никто выходить до меня! — скомандовал банкомет.

Все притихли.

На улице лил ливня дождь. Семка и Иоська ухватили гостя под руки и потащили его к Цветному бульвару. Никому не было до этого дела.

А там, около черного отверстия, куда водопадом стремилась уличная вода, стоял мальчишка-карманник и поддерживал железную решетку, закрывающую отверстие.

На край отверстия поставили принесенного и опустили его. Раздался плеск, затем

²⁴ Вглухую — убит насмерть

громыхнула железная решетка, и все стихло.

— И концы в воду! — заметил Иоська.

— Сгниет — не найдут, илом занесет али в реку унесет, — добавил карманник.

«Каторга»

Не всякий поверит, что в центре столицы, рядом с блестящей роскошью миллионных домов, есть такие трущобы, от одного воздуха и обстановки которых люди, посещавшие их, падали в обморок.

Одну из подобных трущоб Москвы я часто посещал в продолжение последних шести лет.

Это — трактир на Хитровом рынке, известный под названием «Каторга».

Трущобный люд, населяющий Хитров рынок, метко окрестил трактиры на рынке. Один из них назван «Пересыльный», как намек на пересыльную тюрьму, другой «Сибирь», третий «Каторга», «Пересыльный» почище, и публика в нем поприличнее, «Сибирь» грязнее и посещается нищими и мелкими воришками, а «Каторга» нечто еще более ужасное.

Самый Хитров рынок с его ночлежными домами служит притоном всевозможных воров, зачастую бежавших из Сибири.

Полицейские протоколы за много лет могут подтвердить, что большинство беглых из Сибири в Москве арестовываются именно на Хитровом рынке.

Арестант бежит из Сибири с одной целью — чтобы увидеть родину. Но родины у него нет. Он отверженец общества. Все отступились от него, кроме таких же, как он, обитателей трущоб, которые посмотрят на него, «варнака Сибирского, генерала Забугрянского», как на героя.

Они, отверженцы, — его родные, Хитров рынок для него родина.

При прощаньях арестантов в пересыльной тюрьме, отправляющихся в Сибирь в каторжные работы без срока, оставшиеся здесь говорят:

— Прощай, бог даст увидимся в «Каторге».

— Постараемся! — отвечают сибиряки, и перед глазами их рисуется Хитров рынок и трактир «Каторга».

И в Сибири при встрече с беглыми арестанты-москвичи повторяют то же заветное слово...

Был сырой, осенний вечер, когда я в последний раз отворил низкую грязную дверь «Каторги»; мне навстречу пахнул столб белого пара, смеси махорки, сивухи и прелой тряпки.

Гомон стоял невообразимый. Неясные фигуры, брань, лихие песни, звуки гармоники и кларнета, бурление пьяных, стук стеклянной посуды, крики о помощи... Все это смешивалось в общий хаос, каждый звук раздавался сам по себе, и ни на одном из них нельзя было остановить своего внимания...

С чем бы сравнить эту картину?!

Нет! Видимое мной не похоже на жилище людей, шумно празднующих какое-нибудь торжество... Нет, это не то... Не похоже оно и на берлогу диких зверей, отчаянно дерущихся между собой за кровавую добычу... Опять не то...

Может быть, читатели, вы слышали от старых нянек сказку о Лысой горе, куда слетаются ведьмы, оборотни, нетопыри, совы, упыри, черти всех возрастов и состояний справлять адский карнавал? Что-то напоминающее этот сказочный карнавал я и увидел здесь.

На полу лежал босой старик с раскровавленным лицом. Он лежал на спине и судорожно подергивался... Изо рта шла кровавая пена...

А как раз над его головой, откинувшись на спинку самодельного стула, под звуки кларнета и гармоники отставной солдат в опорках ревет дикую песню;

Ка-да я был слабодна-ай мальчик...

Половой с бутылкой водки и двумя стаканами перешагнул через лежавшего и побежал дальше...

Я прошел в середину залы и сел у единственного пустого столика.

Все те же типы, те же лица, что и прежде...

Те же бутылки водки с единственной закуской — огурцом и черным хлебом, те же лица, пьяные, зверские, забитые, молодые и старые, те же хриплые голоса, тот же визг избиваемых баб (по-здешнему «теток»), сидящих частью в одиночку, частью гурьбой в заднем углу «залы», с своими «кота́ми».

Эти «бабы» — завсегдатаи, единственные посетители трактира, платящие за право входа буфетчику.

Судьба их всех одинакова, и будущее каждой из них не разнится: или смерть в больнице и под забором, или при счастливом исходе — торговля гнилыми яблоками и селедками здесь же на рынке... Прошлое почти одинаковое: пришла на Хитров рынок наниматься; у нее нарочно, чтобы закабалить ее, «кот» украл паспорт, затем, разыгрывая из себя благодетеля, выручил ее, водворив на ночлег в ночлежный дом — место, где можно переночевать, не имея паспорта. (Это, конечно, не устраивается без предварительного соглашения с хозяином ночлежного дома.) «Кот», наконец, сделался ее любовником и пустил в «оборот», то есть ввел в «Каторгу» и начал продавать ее пьяным посетителям... Прошло три — шесть месяцев, и свеженькая, совсем юная девушка превратилась в потерявшую облик человеческий «каторжную тетку».

Лет пять тому назад я встретился в «Каторге» с настоящей княжной, известной Москве по скандальному процессу и умершей в 1885 году в больнице... Покойная некоторое время была завсегдатаем «Каторги»...

«Коты» здесь составляют, если можно так выразиться, отдельную касту, пользуются благоволением половых и буфетчиков, живут на вырученные их любовницами деньги и кражей кошельков и платья у пьяных посетителей, давая долю из краденого половым...

Вот, посреди комнаты, за столом, в объятиях пожилого плечистого bruneta с коротко стриженными волосами лежит пьяная девчонка, лет тринадцати, с детским лицом, с опухшими красными глазами, и что-то старается выговорить, но не может... Из маленького, хорошенького ротика вылетают бессвязные звуки. Рядом с ними сидит щеголь в русской поддевке — «кот», продающий свою «кредитную» плечистому brunetu...

— Говорят тебе, зеленые ноги,²⁵ у нас много слободней, потому свои...

— Зеленые... зеленые... будет звонить-то, черт-шалава!..

— Нечто не знают тебя... звонить!.. Ты бы лучше...

Здравствуй, милая, хорошая моя,

Чирнобровая, порря-дач-ная...-

грянули песенники и покрыли разговор.

Передо мной явился новый субъект, в опорках, одетый в черную от грязи, подпоясанную веревкой женскую рубаху с короткими рукавами, из-под которых высывались страшно мускулистые, тяжелые руки; одну, без пальцев, отрубленных или отмороженных, он протянул мне.

— *Salve, amice!*²⁶ — прогремел надо мной густой бас.

— Здравствуй, Лавров, — ответил я.

— С похмелья я, барин; сделай милость, опохмели, многую лету спою.

И не успел я ответить, как Лавров гаркнул так, что зазвенели окна: «Многая лета, многая!..», и своим хриплым, но необычайно сильным басом покрыл весь гомон «Каторги». До сих пор меня не замечали, но теперь я сделался предметом всеобщего внимания. Мой

²⁵ Зеленые ноги — беглый с каторги

²⁶ Здорово, приятель! (ит.)

кожаный пиджак, с надетой навывпуск золотой цепью, незаметный при общем гомоне и суете, теперь обратил внимание всех. Плечистый брюнет как-то вздрогнул, пошептался с «котом» и бросил на стол рубль; оба вышли, ведя под руки пьяную девушку...

— Лета многая, лета, водки ставь! — кончил Лавров, не обращая ни на что внимания.

Я спросил полбутылки... Не успели еще нам подать водки, как бородатый мужик, песенник, отвел от меня Лаврова и, пошептавшись с ним, отошел к песенникам...

Снова загремела песня, завизжала гармоника и завыл кларнет... Замешательство, вызванное восклицанием Лаврова, обратившим внимание на меня, скоро исчезло.

— Спрашивал меня, не сыщик ли ты, испугались, вишь!.. — объяснил мне Лавров, проглатывая стакан водки...

Лаврова я знаю давно. Он сын священника, семинарист, совершенно спившийся с кругу и ставший безвозвратным завсегдатаем «Каторги» и ночлежных притонов. За все посещения мною в продолжение многих лет «Каторги» я никогда не видал Лаврова трезвым... Это — здоровенный двадцатипятилетний малый, с громадной, всклокоченной головой, вечно босой, с совершенно одичавшим, животным лицом. Кроме водки, он ничего не признает, и только страшно сильная натура выносит такую беспросыпную, голодную жизнь...

К нашему столу подошла одна из «теток», баба лет тридцати, и, назвав меня «кавалером», попросила угостить «папиросочкой». Вскоре за ней подсел и мужик, справлявшийся у Лаврова обо мне и успокоившийся окончательно, когда после Лаврова один из половых, знавших меня, объяснил ему, что я не сыщик.

— Уж извините, очень приятно быть знакомыми-с, а мы было в вас ошиблись, думали, «легаш», — протянул он мне руку, без приглашения садясь за стол.

— Водочки дозвоьте, а мы вам песенку сыграем. Вы у нас и так гостя спугнули, — указывая на место, где сидел плечистый брюнет, сказал песенник.

Я дал два двугривенных, и песенники грянули «Капказскую».

В дверях главной залы появился новый субъект, красивый, щегольски одетый мужчина средних лет, с ловко расчесанной на обе стороны бородкой. На руках его горели дорогие бриллиантовые перстни, а из-под темной визитки сбегала по жилету толстая, изящная золотая цепь, увешанная брелоками.

То был хозяин заведения, теперь почетный гражданин и кавалер, казначей одного благотворительного общества, а ранее — буфетчик в трактире на том же Хитровом рынке теперь умершего Марка Афанасьева.

Хозяин самодовольно взглянул на плоды рук своих, на гудевшую пьяную ватагу, мановением руки приказал убрать все еще лежавшего и хрипевшего старика и сел за «хозяйский» стол у буфета за чай...

«Каторга» не обратила никакого внимания на хозяина и гудела по-прежнему...

В углу барышник снимал сапоги с загулявшего мастерового, окруженного «тетками», и торговался, тщательно осматривая голенища и стараясь отодрать подошву.

— Три рубля, хошь умри! — топая босой ногой по грязному полу, упирался мастеровой.

— Шесть гривен хошь, — получай! — в десятый раз повторяли оба, и каждый раз барышник тыкал в лицо сапогами мастеровому, показывая, будто «подметки-то отопрели, оголтелый черт! Три рубли, пра, черт!»

— Отперли! Сам ты, рыжая швабра, отопрел! Нет, ты кажи, где отопрели? Это дом, а не сапоги, дом...

— Карраул, убили! — заглушили слова торгующихся дикие крики во весь пласт рухнувшей на грязный пол «тетки», которую кулаком хватил по лицу за какое-то слово не попад ее возлюбленный.

— Это за любовь-то мою, окаянный... за любовь-то мо...

— Караул, убили! — еще громче завопила она, получив новый удар сапогом по лицу, на этот раз от мальчишки-полового.

— Знай наших, не умирай скорча! — кто-то с хохотом сострил по поводу плюхи...

Я расплатился и пошел к выходу.

Несколько лет тому назад здесь при мне так же поступили с княжной. Я вступился за нее, но, выручая ее, сам едва остался цел только благодаря тому, что княжну били у самого выхода да со мной был кастет и силач товарищ, с которым мы отделались от дравшихся на площади, где завсегдатаи «Каторги» боялись очень шуметь, не желая привлекать постороннюю публику, а пожалуй, и городского.

Я вышел на площадь. Красными точками сквозь туман мерцали фонари двух-трех запоздавших торговков съестными припасами. В нескольких шагах от двери валялся в грязи человек, тот самый, которого «убрали» по мановению хозяйской руки с пола трактира... Тихо было на площади, только сквозь кой-где разбитые окна «Каторги» глухо слышался гомон, покрывавшийся то октавой Лаврова, оравшего «многую лету», то визгом пьяных «теток»:

Пьем и водку, пьем и ром, Завтра по миру пойдем...

Последний удар

(Очерк из жизни бильярдных)

Он вошел в бильярдную. При его появлении начался шепот, взгляды всех обратились к нему.

— Василий Яковлевич, Василий Яковлевич... капитан пришел! — слышалось в разных углах.

А он стоял у дверей, прямой и стройный, высоко подняв свою, с седой львиной гривой, голову, и смотрел на играющих. На его болезненно-бледном лице появлялась порою улыбка. Глаза его из глубоких орбит смотрели бесстрастно, и изменялась лишь линия мертвенно-бледных губ, покрытых длинными седыми усами.

Капитан — своего рода знаменитость в мире бильярдных игроков.

Игра его была поистине изумительна. Он играл не по-маркерски, не по-шулерски, а блестящим вольным ударом.

Много лет существовал он одною игрой, но с каждым годом ему труднее и труднее приходилось добывать рубли концом кия, потому что его игру узнали всюду и брали с него так много вперед, что только нужда заставляла его менять свой блестящий «капитанский» удар на иезуитские шутики.

В бильярдных посетителям даются разные прозвища, которые настолько входят в употребление, что собственные имена забываются. Так, одного прозвали «Енотовые штаны» за то, что он когда-то явился в мохнатых брюках. Брюк этих он и не носил уж после того много лет, но прозвание так и осталось за ним; другого почему-то окрестили «Утопленником», третьего — «Подрядчиком», пятого — «Кузнецом» и т. п.

Василия же Яковлевича звали капитаном, потому что он на самом деле был капитан в отставке — Василий Яковлевич Казаков.

В юности, не кончив курса гимназии, он поступил в пехотный полк, в юнкера. Началась разгульная казарменная жизнь, с ее ленью, с ее монотонным шаганием «справа по одному», с ее «нап-пле-чо!» и «шай, нак-кра-ул!» и пьянством при каждом удобном случае. А на пьянство его отец, почтовый чиновник какого-то уездного городка, присылал рублей по десяти в месяц, а в праздники, получивши мзду с обывателей, и по четвертному билету.

«Юнкерация» жила в казармах, на отдельных нарах, в ящиках которых, предназначенных для белья и солдатских вещей, можно было найти пустые полуштофы, да и то при благосостоянии юнкерских карманов, а в минуту безденежья «посуда» пропивалась, равно как и трехфунтовый хлебный паек за месяц вперед, и юнкера хлебали щи с «ушком» вместо хлеба. Батальонный остряк, унтер-офицер Орлякин, обедая со своим взводом, бывало, откладывал свой хлеб, левой рукой брался за ухо, а правой держал ложку и, хлебая щи,

говорил: «По-юнкерски, с ушком».

У юнкеров была одна заветная вещь, никогда не пропивавшаяся: это гитара Казакова, великого виртуоза по этой части.

Под звуки ее юнкера пели хором песни и плясали в минуту разгула. Гитара сделала Казакова первым бильярдным игроком.

Переход от первого инструмента ко второму совершился случайно. Казаков прославился игрой на гитаре по всему городу, а любители, купцы и чиновники, таскали его на вечеринки и угощали в трактирах.

Казаков стал бывать в бильярдных, шутя сыграл партию с кем-то из приятелей, а через год уже обыгрывал всех маркеров в городе.

Дорого, однако, Казакову стоило выучиться. Много раз приходилось обедать с «ушком» вместо хлеба, еще больше сидеть в темном корпусе под арестом за опоздание на ученье...

Его произвели в офицеры, дали роту, но он не оставлял игры.

Слава о нем, как о первом игроке, достигла столиц, а вскоре он и сам сделался профессиональным игроком.

Опоздав на какой-то важный смотр, где присутствие его было необходимо, Казаков, по предложению высшего начальства, до которого стали доходить слухи о нем как о бильярдном шулере, должен был выйти в отставку.

Ему некуда было больше идти, как в бильярдную. И пошла жизнь игрока.

То в кармане сотни рублей, то на другой день капитан пьет чай у маркеров и раздобывается «трешницей».

Когда своих денег не было подолгу, находились антрепренеры, водившие Казакова по бильярдным. Они давали денег на крупную, верную игру, брали из выигрыша себе львиную долю и давали капитану гроши «на харчи».

Он играл в клубах, был принят в порядочном обществе, одевался у лучших портных, жил в хорошем отеле и... вел тесную дружбу с маркерами и шулерами. Они сводили ему игру.

Шли годы. Слава его, как игрока, росла, известность его, как порядочного человека, падала.

Из клубных бильярдных он перебрался в лучшие трактиры; потом стал завсегдатаем трактиров средней руки.

И здесь узнали его. Приходилось сводить игру непосильную, себе в убыток.

Капитан после случайного крупного выигрыша бежал из столицы на юг и начал гастролировать по бильярдным. Лет в семь он объездил всю Россию и, наконец, снова появился в столице.

Но уж не тот, что прежде: состарился.

От прежнего джентльмена-капитана остались гордая, военная осанка, седая роскошная шевелюра и сильно поношенный, но прекрасно сидевший черный сюртук.

Вот каким он явился в бильярдную бульварного трактира.

Играли на деньги два известных столичных игрока: старик, подслеповатый, лысый, и молодой маркер из соседнего трактира.

Маркер проигрывал и горячился, старик хладнокровно выигрывал партию за партией и с каждым ударом жаловался на свою старость и немощь.

— Ничего, голубушки мои, господа почтенные, не вижу, ста-арость пришла! — вздыхает старик и с треском «делает» трудный шар.

— Старый черт, кроме лузы ничего не видит! — сердится партнер.

— Подрезаю красненького.

— Тридцать пять, и очень досадно! — считает маркер.

— В угол.

— Не было. Никого играют, тридцать пять дожидаются!

— Батюшки мои светлы! Кого это я вижу, сколько лет, сколько зим, голубушка Василий

Яковлевич! Какими судьбами-с?

— На твою игру, Прохорыч, посмотреть приехал; из Нижнего теперь...

Прохорыч, живо кончив партию, бросил кий, и два старика, «собратья по оружию», жарко обнялись, а потом уселись за чай.

— Где побывал, Василий Яковлевич?

— Дурно кончил. Теперь из Нижнего, в больнице лежал месяца три, правая рука сломана, сам развинтился... Все болит, Прохорыч!

Прохорыч вздохнул и погладил бороду.

— Руку-то где повредил? — спросил он, помолчавши.

— В Нижнем, с татаринном играл. Прикинулся, подлец, неумелым. Деньжат у меня а-ни-ни. Думал — наверное выиграю, как и всегда, а тут вышло иначе. Три красных стало за мной, да за партии четыре с полтиной. Татарин положил кий: дошлите, говорит, деньги! Так и так, говорю, повремените: я, мол, такой-то. Назвал себя. А татарин-то себя назвал: а я, говорит, Садык... И руки у меня опустились...

— Садык, Садычка? — Ну, на черта, Василий Яковлевич, налетел.

— Да, Садык. Деньги, кричит, мне подавай. Маркер за партии требует. Я было и наутек, да нет...

— Ну, что дальше, что?

— Избили, Прохорыч, да в окно выкинули... Со второго этажа в окно, на мощный двор... Руку сломали... И надо же было!.. Н-да. Полежал я в больнице, вышел — вот один этот сюртучок на мне да узелочек с бельем. Собрали кое-что маркеры в Нижнем, отправили по железной дороге, билет купили. Дорогой же — другая беда, указ об отставке потерял — и теперь на бродяжном положении.

Капитан, за несколько минут перед тем гордо державший по военной привычке свою голову и стан, как-то осунулся.

— Ну, а игра, Василь Яковлевич, все та же? Капитан вострепнулся.

— Не знаю; из больницы вышел, еще не пробовал. Недели две только руку с перевязки снял.

— Поди, похуже стала.

— А может, отстоялась. Когда я долго не играю — лучше игра. Думаю свести.

— Своди, что же — на красненькую... — Прохорыч незаметно сунул под блюдечко десятирублевку.

— Спасибо, старый друг, спасибо, — выручаешь в тяжкую минуту.

— Мы старую хлеб-соль не забываем! Капитан взял кий в руки.

— За капитана держанье, держу за капитана красный билет! — послышалось во всех углах. Посыпались на столы кредитки...

Капитан гордо выпрямился.

Его партнер, известный игрок Свистун, молодой мальчик, начал партию. Ловко, «тонким зефиром», его шар скользнул по боку пирамидки и вернулся назад.

Капитан оперся на борт, красиво согнул свой тонкий, стройный стан, долго целился и необычайно сильным ударом «в лоб» первого шара пирамиды разбил все шары, а своего красного вернул на прежнее место. Удар был поразительный.

— Браво, капитан, браво! — аплодировала, восхищаясь, бильярдная.

Но капитану было не до того. Он схватился левой рукой за правую и бледный, как мертвец, со стоном опустился на стул.

Свистун сделал удар — и не отыгрался. Его шар встал посередине бильярда, как раз под всей партией. Стоило положить одного шара и выиграть все.

А капитан, удививший минуту тому назад бильярдную своим былым знаменитым «капитанским» ударом, продолжал стонать, сидя на стуле.

Вся бильярдная столпилась около него.

— Рука моя... рука... Умираю... Она сломана! — стонал капитан.

Ему дали воды. Он немного оправился и помутившимися глазами смотрел на

окружающих.

— Играйте, играйте, ваш удар! — требовал Свистун и державшие за него.

— Пусть другой играет, он не может, видите, болен! — говорили противники.

— А болен, не берись! Мы тоже деньги ставили.

— Послушай, Свистун, я стою подо всей партией, разойдемся! — посмотрев на бильярд, промолвил капитан.

— Играйте-с!

Капитан, бледный, с туманным взором, закусив от боли губу, положил правую руку за борт сюртука, встал, взял в левую руку кий и промахнулся.

Свистун с удара сделал партию и получил деньги.

Капитан без чувств лежал на стуле и стонал.

Кто-то, уплачивая проигрыш, обругал его «старым вором, бродягой».

Его выгнали, больного, измученного, из бильярдной и отобрали у него последние деньги. На улице бедняка подняли дворники и отправили в приемный покой. Прошло несколько месяцев; о капитане никто ничего не слышал, и его почти забыли. Прошло еще около года. До бильярдной стали достигать слухи о капитане, будто он живет где-то в ночлежном доме и питается милостыней.

Это было верно: капитан действительно жил в ночлежном приюте, а по утрам становился на паперть вместе с нищими, между которыми он известен за «безрукого барина». По вечерам его видали сидящим в бильярдных грязных трактиров.

Он поседел, осунулся, стан его согнулся, а жалкие лохмотья и ампутированная рука сделали его совсем непохожим на бывшего щеголя-капитана.

Неудачник

— Вы, батенька мой, зачем пожаловали? — Этими словами в прихожей классической гимназии остановил инспектор Тыква входившего гимназиста Корпелкина.

— Как, куда? В классы, Евдоким Леонидович!

— Зачем это?

— Как зачем? На переэкзаменовку!

— Поздно-с! Вчера совет вас исключил, переэкзаменовка вам не разрешена, можете завтра прийти за получением бумаг...

— Как? Почему не разрешена переэкзаменовка? Ведь у меня только одна двойка и то из латинского... Отчего же Куропаткина и Субботина вчера переэкзаменовали? У них по две двойки...

— Не знаю-с, завтра получите бумаги, а сегодня можете идти.

Корпелкин вышел. Слезы и злость душили его.

— Господи, да что же я за несчастный такой? Из-за пустой двойки... И почему это других допустили до переэкзаменовки, а меня нет? А я имел больше права, у меня одна двойка... да за что же, за что!

На другой день ему были выданы из гимназии бумаги.

* * *

Прошло около пяти лет после этого случая. Корпелкин, сын бедных родителей, жил дома, перебиваясь кой-как дешевыми уроками, которые давали ему рублей около восьми в месяц. Первые два года, впрочем, он горячо принялся готовиться в университет, хотел держать экзамен, причем сильно рассчитывал на обещанный урок у одного купца, чтобы добыть необходимых на поездку денег, но урок этот перебил его бывший товарищ по гимназии Субботин.

Прошло еще три года после этого. Университет забылся, о продолжении ученья и помину нет — жить стало нечем, пришлось искать места. Эти поиски продолжались около

года, во время которого предлагал дальний родственник, исправник, поступить в урядники, но молодой человек, претендовавший поступить в университет, отказался, за что, впрочем, от родителей получил нагоняй.

Наконец, по хлопотам одного знакомого секретаря управления железной дороги, приятеля его отца, ему было обещано место помощника счетовода при управлении.

В назначенный день в передней управления сидели двое: маленький невзрачный молодой человек, с птичьей запуганной физиономией, и рослый, бородатый мужчина, с апломбом говоривший, с апломбом двигавшийся.

— Господа, пожалуйста к управляющему! — заявил им чиновник, и через пять минут оба стояли перед управляющим дороною.

— Господин Ловитвин, — обратился он к бородатому, — я вас назначаю помощником счетовода, а вас, господин Корпелкин, в статистику, на тридцать пять рублей в месяц. Прошу служить аккуратно, быть исправным!

— Господин управляющий, мне обещали...

Но управляющий взглянул в лицо Корпелкина, как-то презрительно улыбнулся вместо ответа, повернулся спиной и вышел...

* * *

Богато и весело справлял свои именины секретарь управления Станислав Францевич Пулькевский. Его просторная чистенькая квартирка была переполнена горстями. Две комнаты были заняты карточными столами, на которых «винтили» и «стучали» чиновники посолднее, а молодежь отплясывала в зале. Два железнодорожных сторожа обносили барышень фруктами и чаем.

Станислав Францевич не жалел угощенья... Да и жалеть-то нельзя было: на вечерах этих он лицом показывал свой товар, трех дочерей: Клементину, Марию и Цецилию. Старшей было двадцать два года, младшей — восемнадцать лет.

Веселились все, танцевали... Только в углу, как "мрачный демон, дух изгнания", сидел Корпелкин, не отрывая глаз от Клементины, в которую был влюблен и уже считался женихом ее...

А смущал его армейский подпоручик, не отходивший от Климочки, как мысленно называл ее Корпелкин, и танцевавший с ней все танцы. Она тоже умильно нежничала с военным и только раз, да и то как-то презрительно, как показалось Корпелкину, взглянула в тот угол, где сидел страдалец.

— Клементина Станиславовна! Позвольте вас просить на тур вальса! — как-то робко заявил ей, наконец, Корпелкин, улучив минуту, когда она, усталая после кадрили, сидела в углу и обмахивалась батистовым платком.

— Видите, я... — начала было она, но подлетевший подпоручик выручил ее.

— Клементина Станиславовна, позвольте...

— Да, с удовольствием, — не дала договорить Климочка, и новая пара закружилась по зале.

Ни слова более не сказал Корпелкин; пробравшись потихоньку в переднюю, он оделся и ушел домой.

* * *

— Вася, слышал? Станислав Францевич дочь вчера просватал! — на другой день в конторе заявил ему товарищ Колушкин.

— Вчера?!

— Да, и шампанское пили! Клементину Станиславовну, за офицера, что с ней танцевал.

— Как? Что? За этого офицера?.. Ты не шутишь? Нет?..

— Да вот хоть самого спроси. Что за шутки, и свадьба в ноябре назначена...

— Свадьба?.. Нет, этого не может быть... что ты... нет!..

— Честное слово! Мы приглашены на свадьбу, уж невеста меня и в шафера выбрала...

Прошедший мимо управляющий прекратил дальнейший разговор.

— Боже мой, боже мой!.. Что же это такое? Что я за несчастный такой?.. Ничего-то, ничего в жизни не удастся мне!.. Наконец она!.. Она, по-видимому, интересовавшаяся мною, променяла меня на какого-то офицера... А ведь вместе росли... Еще в гимназии мечтали о нашем будущем счастье... И отец, определяя меня на службу к себе, намекал на это... И вдруг офицер этот... А чем я, спрашивается, хуже его? А вот нет, не везет... И наградой обошли... Когда директор назначал награды, призвал нас, посмотрел сначала на Ловитвина, потом на меня — и назначил ему сто рублей, а мне тридцать... Отчего это? Так вот, не понравился что-то, а отчего — сам не придумаю... Отчего же в самом деле? И всегда ведь так... Разве я меньше стою, чем другие? Работаю меньше? — вслух рассуждал Корпелкин, шлепая по грязи... Он то и дело оступался и попадал в лужи, но не замечал ничего и рассуждал сам с собою до тех пор, пока не наткнулся на церковную ограду. Церковь была освещена ярко. У подъезда стояли богатые кареты... Сквозь раскрытые форточки окон несло «Исайя ликуй».

— Пойти хоть на чужое счастье посмотреть, если свое не удастся.

В церкви была толпа, давка.

— Куда лезешь, — остановил его околоточный,

— В церковь! — ответил он.

— Говорят, нельзя... — И его кто-то вытолкнул из церкви...

«Приидите все несчастные и обрящите здесь покой души», — написал какой-то местный юморист-завсегдатай на почерневших дверях погребка красным карандашом. Надпись эта существует, полустершаяся, неразборчивая, давно, ее все обитатели погребка знают наизусть.

Погребок этот замечательный. Он стоит в укромном уголке бойкой, оживленной ночью и днем разгульной улицы, и в него не заглядывает всевидящее око полиции.

В погребке особая жизнь, гармонирующая с обстановкой.

Прямо от входа, в первой комнате, стоит буфет, сзади которого на полках красуется коллекция вин и водок. На буфете горой поднялся бочонок и стоят на подносе стаканчики, так как погребок, вопреки существующим законам, по неисповедимой воле судеб, доказывающей, что нет правил без исключений, торгует круглые сутки распивочно и на вынос... Снаружи все прилично, сравнительно чисто. За буфетом стоит солидный, со степенной бородой буфетчик, бесстрастно, никогда не изменяя своей холодной физиономии, смотрящий на окружающее.

Двери то и дело отворяются. Вбежит извозчик, распояшется, достанет пятак и, не говоря ни слова, хлопнет его об стойку. Буфетчик ловким движением руки сгребет этот пятак в ящик, нальет стакан и наклонится за прилавок. В руках его появляется полупудовая, черная, как сапог, печенка, кусочек которой он стукнет о прилавок и пододвинет его к извозчику. За извозчиком вбежит весь согнувшийся сапожник с колодками подмышкой.

— Опохмелите, Афанасий Афанасьевич! — попросит он и загремит колодками по прилавку.

Опять безмолвно наливается стакан водки, режется кусок печенки, и сапожные колодки исчезают за буфет...

И так с утра до утра...

Неизменным завсегдатаем погребка сделался и Корпелкин. С утра он сидел в задней темной комнате, известной под именем «клоповника», вместе с десятком оборванцев, голодных, опухших от пьянства, грязных...

Было утро. Один за другим оборванцы наполняли «клоповник».

Они проходили поодиночке мимо буфетчика, униженно кланялись, глядя в его бесстрастное, холодное лицо, и садились в «клоповник». Затем шли разговоры, где бы добыть на еду, на водку.

— Петька, давай перекажем твою поддевку, может, бумажку дадут! — предлагал босой, в одной рубашке, оборванец своему соседу в кафтане.

— Отчепись; по тваму, што ли, дойти?.. Вылицевали уж меня, нечего сказать... — протестует Петька.

— Сейчас водочки бы, Петя... Стюденю потом на пятак... А студень хороший, свежий... С хрящом, знаешь...

— Ну тебя!..

— И хренку дадут... Хорошо...

— Убирайся... Ни за что... К крестной в воскресенье пойду... Она жалованье получит...

— Да мы найдем надеть-то... А сейчас, понимаешь, студню. По баночке, и студню...

— Петька, а ты не ломайся, это не по-товарицки... — вмешался третий оборванец.

— Студень-то све-жай...

А Корпелкин сидел в углу и связывал веревкой развалившийся опорок, подобрав под себя босую ногу...

Он был погружен в свое занятие и не обращал внимания на окружающее.

— Ишь ты, проклятый, как его угораздило лопнуть-то... Н-да!..

Он связал опорок и посмотрел на него.

— Ладно, потерпит, — решил он.

«А у Климовки тогда были розовые ботинки... Каблучок с выемкой... Тоже розовый...» — вдруг пришло на ум Корпелкину. Он зажмурил глаза...

«В каких же она ботинках венчалась? Должно быть, в белых... Всегда в белых венчаются. Должно быть...»

Вспомнил он, как его не пустили в церковь, как он пошел в трактир, напился пьян, неделю без просыпу пил, как его выгнали со службы за пьянство и как он, спустив с себя приличное платье, стал завсегдатаем погребка... Вот уж с лишком год, как он день сидит в нем, а на ночь выходит на угол улицы и протягивает руку за пятаком на ночлег, если не получает его от загулявшего в погребке гостя или если товарищи по «клоповнику» не раздобудутся деньгами.

Старые товарищи раза три одевали его с ног до головы, но он возвращался в погребок, пропивал все и оставался, по местному выражению, «в сменке до седьмого колена», то есть в опорках и рваной рубашке... Раз ему дали занятие в конторе у инженера. Он проработал месяц, получил десять рублей. Его неудержимо влекло в погребок похвастаться перед товарищами по «клоповнику», что он на месте, хорошо одет и получает жалованье.

— А, барин, ишь ты! Поздравляем! — встретили его оборванцы, даже сам буфетчик руку подал и взглянул как-то странно на его костюм, будто оценивая его. Потом Корпелкин угостил всех на радостях водкой, а сам долго не хотел пить больше одной рюмки, но не вытерпел. К полуночи все его платье очутилось за буфетом, а он сам, размахивая руками, кричал, сидя в углу:

— Н-ну их, подлецов... Кланяться за свой труд... Не хочу, подлецы! Эксплуататоры! Десять рублей в месяц...

— Ну, в трущобе я... В трущобе... А вы, франты, не в трущобе, а? Да черти вас возьми... Холуи... Я здесь зато сам по себе... Я никого не боюсь... Я голоден — меня накормят... Опохмелят... У меня есть — я накормлю... Вот это по-товарищески... А вы... Тьфу! Вы только едите друг друга... Ради прибавки жалованья, ради заслуг каких-то продаете других, топите их... как меня утопили... За что меня? А? За что?! — кричал Корпелкин, ваяясь на пол...

Пьяный он всегда ругался и кричал в том же духе, а трезвый ни с кем не говорил ни слова, а только и думал, как бы добыть водки, чтоб напиться и ругаться.

— Вчера бы гривенник дали, на стаканчик бы, а теперь и пятака не дадут! — посмотрел он опять на опорки.

Потом опять мелькнули в его воображении стройные ножки в розовых ботинках. Он

посмотрел на единственный в «клоповнике» стол. Петька сидел в одной рубахе и наливал в стакан из штофа водку. Перед ним стоял студень с хреном.

— Эй, барин, подходи, твой черед, мы уж опохмелились! — крикнул он пьяным голосом Корпелкину.

Корпелкин подошел и взял стакан.

— И студень хороша-ай! — причмокивал оборванец, тыча грязной рукой в жидкую, бурую массу...

Потерявший почву

Подпоручик Иванов вышел в отставку и с Кавказа, где квартировал его полк, приехал в один из городов средней России. Еще будучи юнкером, он получал от своей единственной родственницы, старушки тетки, жившей в этом городе, небольшие суммы денег и теперь, бросив службу «по служебным недоразумениям», приехал к тетке, чтобы пока, до новой должности, пережить трудное время.

Дорогой Иванов скромно мечтал о какой-нибудь должности на железной дороге или в конторе, о чистенькой комнатке, о женитьбе.

Но предположения его не сбылись. Тетка умерла несколько лет тому назад, и он, совершенно одинокий, очутился в чужом городе без средств, без знания жизни.

За короткое время розысков Иванов потратил несколько рублей, бывших при нем, и распродал остатки гардероба; у него осталось одно военное, сильно поношенное пальто, и то без погон, которые он не имел права носить в отставке и продал барышнику «на выжигу». Дошло до того, что хозяин гостиницы, где остановился Иванов, без церемонии выгнал его за неплатеж нескольких рублей, и он вышел на улицу полуголодный, оскорбленный... За неделю, даже накануне, он и не мечтал о таком положении, в каком очутился.

Он пошел по улице и начал заходить из магазина в магазин, из конторы в контору, просил занятий, рассказывал обстоятельства, заставившие его искать работы, и всюду получал отказ то в притворно вежливой, то в грубой форме.

Так, один купец, повертев в руках его чистенький указ об отставке, предложил поступить в швейцары к подъезду.

— Двери будешь отворять, калоши, платье снимать... жалованья пять, да чайных с красненькую набейт, а к празднику и с четвертную наподают, только услужить смоги!

Иванов счел это предложение за глумление и ушел, сопровождаемый насмешками.

Заходил он под вечер на железную дорогу, в кондуктора просился, но здесь ему прямо сказали, что без особой протекции высшего начальства мест не дают никому.

Последняя надежда лопнула, и он бесцельно бродил по улицам, шлепая по лужам, образовавшимся за два дня оттепели...

— Куда же идти? — поминутно задавал он себе вопрос и не находил ответа.

Мысли, одна нелепее другой, несбыточные надежды мелькали в его голове:

«Что бы я нашел сейчас на улице тысячу рублей?... Одежда бы щеголем, квартиру бы нанял... Кабинет, чтобы выходил окнами на полдень... Шторы сделаю, как у командира полка, суровые, с синей отделкой... Непременно с синей...» Потом мысли его вдруг перескакивают: он в бою, бросается со взводом на дымящийся редут, захватывает неприятельское знамя...

Его поздравляет отрядный командир; целует, навешивает ему с себя на грудь беленький крестик... Он уже ощущает крестик у себя на груди...

— Эй, берегись! — раздается голос извозчика и разрушает сладкие мечты.

Иванов вдруг огляделся и почему-то устыдился своего военного, форменного пальто, — того самого пальто, надев которое два года тому назад в первый раз, при производстве, он воображал себя на вершине счастья и с презрением оглядывал всех «штафинок».

А теперь ему самому казалось, что все на него смотрят, как на не годного никуда

человека, потерявшего почву бездомника.

Он при каждом случайно остановившемся на нем взгляде прохожего как-то терялся и отворачивался в сторону...

Оборванный рабочий, несший мешок щепок, своим взглядом также сконфузил Иванова.

«Отчего этот оборванец идет гордо, не стыдится, а мне стыдно своего пальто, еще очень приличного?» — задавал себе вопрос Иванов.

«Оттого, что у меня нет почвы, оттого, что рабочий, если его спросят, чем он занимается, ответит: «Работаю», а если его спросят, где он живет, он назовет свой угол... Вот отчего...» — думал Иванов и шел вперед без цели...

Он еще больше ослаб, утратил последнюю энергию. Зимняя оттепель способствовала этому, а голодный желудок усиливал нравственное страдание. Он в сотый раз ощупывал свои пустые карманы, лазил за подкладку пальто, мечтая разыскать завалившуюся, может быть, монету. Наконец, снял ремень, которым был подпоясан, и продал его за семь копеек в съестной лавке.

Он вспомнил, что при въезде в город видел ряд постоянных дворов. Пятак он оставил в кармане для уплаты за ночлег, а за две копейки купил мерзлого хлеба и, спрятав в карман, ломал по кусочкам и ел из горсти. Это подкрепило силы. Проходя мимо часового магазина, он взглянул в окно. Большие стенные часы показывали семь. Было еще рано идти на постоянный двор, и Иванов зашел в бильярдную. Комната была полна народом. Шла крупная интересная игра. Публика внимательно следила за каждым ударом двух знаменитых игроков.

Иванов, игравший когда-то сам, увлекся, и, сидя около печки, пригрелся и забыл обо всем...

Однако игра кончилась. Кукушка выскочила из часов и прохрипела одиннадцать раз.

Боясь опоздать на ночлег, Иванов с трудом расстался с теплым углом светлой, веселой комнаты и вышел на улицу.

Подмерзло. Крупными хлопьями, напоминавшими куски ваты, валил снег, густым пологом спускаясь на улицу и ослепляя глаза.

Иванов долго шел, спрашивал прохожих и, наконец, добрался, окоченев от холода, до окраины. Ворота одного из постоянных дворов были не заперты. Он вошел в кухню.

— Переночевать бы у вас, — обратился он к дворнику, аппетитно евшему жирные щи с крошеной солониной.

— С лошадьё? — спросил дворник.

— У меня лошади нет... я один...

— Один? Без лошадей не пускаем... Мы уж учены... обкрадывали...

— Рядом ступай, там и жуликов пускают! — послышался голос с полатей... И еще новый голос энергично прибавил:

— Гони его к лешему, Федот, по шее его!.. — Иванов вышел.

Из теплой избы, с запахом горячих щей, он опять очутился на улице.

Он постоял на улице, посмотрел, цел ли пятак в кармане, подошел к соседним воротам и долго прислушивался. Было тихо, только слышалось фыркание лошадей и изредка удар копыт о полозья саней.

Он начал стучаться и стучал долго.

— Кто тут? — отозвались наконец со двора.

— Пустите переночевать!

— Двор полон, лошади негде поставить! Дверь отворилась. На пороге стоял дворник.

— Я заплачу... Вот пять копеек...

— Уходи, пока ребра целы, жулье... Ишь, ворище, барабанит, будто домой пришел!

Дверь с треском захлопнулась.

Измученный, голодный, оскорбленный, Иванов скорее упал, чем сел на занесенную снегом лавочку у ворот. В голове шумело, ноги коченели, руки не попадали в рукава... Он сидел. Глаза невольно начали слипаться... Иванов сознавал, что ему надо идти, но не в силах

был подняться... Он понемногу замирал...

Удар часового колокола вывел его на момент из забытья... Бьют часы... Он считает: один... два... три... четыре... пять.

Звуки все учащаются. Он считает: двенадцать, тринадцать... четырнадцать... двадцать... Все чаще и чаще бьют удары колокола... Пожарный набат... Зарево перед ним... Вот он около пожара... Пылает трехэтажный дом... Пламя длинными языками вырывается из окон третьего этажа...

Вдруг в одном окне показывается стройная женская фигура в голубом платье... Она умоляет о помощи... ломает в отчаянии руки... К окну подставлена лестница, но никто из пожарных не осмеливается лезть в огонь.

А фигура в окне продолжает умолять о помощи... Ее роскошную пепельную косу уже охватывает пламенем... Тогда он, Иванов, бросается в огонь и спасает. Он чувствует приятную тяжесть на своем плече, слышит аплодисменты, одобрения толпы... Руки его обожжены, концы пальцев ноют, но он чувствует себя в блаженном состоянии... Вот он вместе со спасенной красавицей уже в комнате. Самовар стоит на столе. Сквозь голубой полусвет он видит ее, роскошную блондинку; признательно, с любовью, смотрит она ему в глаза... Ему бесконечно хорошо, только ноют обожженные пальцы рук...

Он засыпает на мягком голубом диване...

Вдруг странную, непонятную боль ощущает он в голове, во всем теле... Он пробует открыть глаза, встать, но не может пошевелиться... Он чувствует только, что кто-то обхватил железными ладонями его голову и безжалостно вертит уши... Боль невыносимая...

Иванов старается спросить, что с ним делают, но с языка срывается стон. В ответ слышны слова: «Жив еще, три шибче!»

И опять началась та же ужасная пытка...

Наконец, он открыл глаза. Перед ним стояли люди в шубах и солдатских шинелях. Один тер ему обеими руками уши, а двое других оттирали снегом руки, и еще кто-то держал перед лицом фонарь...

— Вали на извозчика да вези пьянчугу в больницу, вишь, весь обморозился!.. — проговорил оттиравший уши, и Иванова взвалили в извозничьи сани...

В городе в том же году появился молодой нищий на костылях, без пальцев на обеих руках. Он не просил у прохожих, а только на несколько минут останавливался на темных перекрестках и, получив несколько копеек, уходил в свой угол.

Трущоба приобрела себе еще одну жертву...

В царстве гномов²⁷

(Из записок репортера)

I

В туннеле артезианского колодца

Мой проводник зажег свечу.

Перед нами зияло черное отверстие подземной штольни, обложенное досками. Над ним спускался канат с крючком. Кругом весь пол был усыпан влажными осколками и грязью, вытащенной из земли. У самого края ямы стоял на рельсах пустой вагончик, облепленный той же грязью. Слева ямы спускалась деревянная, коленчатая лестница с перилами и мало-помалу уходила в мрак подземелья. С каждым шагом вниз пламя свечи становилось все ярче и ярче и вырисовывало на бревенчатой стене силуэты. Дневной свет не без борьбы

²⁷ К характеристике трущоб считаю не лишним дать читателям два очерка московских подземелий

уступал свое место слабому пламени свечи. Через минуту кругом стало темно, как в заколоченном гробу.

С каждым шагом, с каждой ступенькой вниз меня обдавало все более и более холодной, до кости пронизывающей сыростью. А тихо было, как в могиле. Только ручей под ногами шумел, да вторили ему десятки ручейков, выбивавшихся из каменной стены. Передо мною был низкий и, казалось, бесконечный темный коридор. Я взглянул вверх. Над головой виднелось узенькое окошечко синеватого дневного света — это было отверстие шахты, через которое мы спустились. Узкая лестница уходила вверх какими-то странно освещенными зигзагами и серебрилась на самом верхнем колене.

Через секунду открылось четырехугольное отверстие горизонтального прохода, проложенного динамитом. Это — штольня. Вход напоминал мрачное отверстие египетской пирамиды с резко очерченными прямолинейными контурами: впереди был мрак, подземный мрак, свойственный пещерам. Самое черное сукно все-таки носит на себе следы дневного света. А здесь было в полном смысле отсутствие луча, полнейший ноль солнечного света.

Мерцавшая и почти ежеминутно тухнувшая в руках у меня свечка слабо озаряла сырые, каменные с деревянными рамами стены, с которых капала мелкими струйками вода. Вдруг что-то загремело впереди, и в темной дали обрисовалась черная масса, двигавшаяся навстречу. Это был вагончик. Он с грохотом прокатился мимо нас и замолк. Опять та же мертвая тишь. Стало жутко.

Бревенчатые стены штольни и потолок стали теряться, контуры стусевались, и мы оказались снова в темноте. Мне показалось, что свеча моего проводника потухла, — но я ошибался. Он обернулся ко мне, и я увидел крохотное пламя, лениво обвивавшее фитиль. Справа и слева на пространстве немного более двух протянутых рук частым палисадом стояли бревна, подпиравшие верхние балки потолка. Между ними сквозили острые камни стенки туннеля. Они были покрыты какой-то липкой слизью.

Под ногами журчала вода.

— Вот градусник. Показывает всегда семь градусов, зимой и летом. Еще зимой теплее бывает... Босяки раза два приходили, ночевать просились, зимою-то... А ведь нынче у нас июль...

Вдруг свечка погасла.

Впереди, верстах как будто в двух, горела какая-то тусклая, красно-желтая звезда, но горела без лучей, резко очерченным овалом. Через десять шагов мы уже были около нее; двухверстное расстояние оказалось оптическим обманом. Это была масляная лампочка.

Мы миновали лампу. Вдали передо мной опять такой же точкой заалелся огонек. Это была другая лампа. Начали слышаться впереди нас глухие удары, которые вдруг сменились страшным, раздавшимся над головой грохотом, будто каменный свод готов был рухнуть: это над нами по мостовой проехала пролетка.

Дышать было нечем. Воздуха было мало. Я знал, что его качают особенным аппаратом (Рутта) на мостовой Николо-Воробинского переулка, но не ведал, много ли еще идти вперед для того, чтобы дойти до устья благодетельной трубы.

Вдали, откуда-то из преисподней, слышались неясные глухие голоса. Они звучали так, как будто люди говорили, плотно зажавши рот руками. Среди нас отдавалось эхо этих голосов. На душе стало как-то веселее. Почувствовалось, что мы не одни в этом подземелье, что есть еще живые существа, еще люди. Раздавались мерные, глухие удары.

Блеснули еще две звездочки, но еще тусклее. Значит, впереди еще меньше кислорода, дышать будет еще труднее. Наконец, как в тумане, показалась желтая стена, около которой стояли и копошились темные человеческие фигуры.

Это были рабочие.

Почва под ногами менялась, то выступала из воды, то снова погружалась в нее. Местами бревна расступались и открывали зиявшее отверстие — лагунку, в которую прятались рабочие при взрыве динамитом твердой породы. Это западня.

Не успел я заглянуть в нее, как до меня донеслось:

— Ставь патроны. Эй, кто там, ступай в западню, сейчас подпалим...²⁸

— Вот сюда, — торопливо толкнул меня в западню мой проводник.

Рабочие зажгли фитили и побежали к западне, тяжело хлопая по воде. Мы все плотно прижались к стене, а один стал закрывать отверстие деревянной ставней. До нас доносился сухой треск горящих фитилей.

Я из любопытства немного отодвинул ставню и просунул голову, но рабочий быстро отодвинул меня назад.

— Куда суешься — убьет! Во какие сахара полетят.

Не успел он вымолвить, как раздался страшный треск, за ним другой, потом третий, затем оглушительный грохот каких-то сталкивавшихся масс, — и мимо нас пролетела целая груда осколков и глыб.

Динамит сделал свое дело.

Сильным ударом камня вышибло нашу ставню и отбросило ее на середину туннеля.

Мы вышли из западни. И без того душный воздух был теперь наполнен густыми клубами динамитных паров и пылью. Лампы погасли. Мы очутились в полном мраке. Выйдя из западни, мы ощутили только одно — глубокую, густую темь. Эта темь была так густа, что осенняя ночь в сравнении с ней казалась сумерками. Дышалось тяжело. Ощупью, по колену в воде, стараясь не сбиться с деревянной настилки, мы пошли к камере. Я попробовал зажечь спичку, но она погасла. Пришлось ожидать, пока вентилятор очистит воздух.

Мина была взорвана.

Человеческий гений и труд завоевали еще один шаг...

Таково было дело в июле.

Теперь, в декабре, подземная галерея представляет совсем иной вид. Работы окончены, и из-под земли широким столбом из железной трубы льется чистая, прозрачная, как кристалл, вода и по желобам стекает в Язу. Количество воды не только оправдало, но даже превзошло ожидания: из недр земли ежедневно вытекает на божий свет двести шестьдесят тысяч ведер.

Темная галерея утратила свой прежний мрачный вид. Запах динамита и копоти едва заметен. Стены стали менее скользкими и слизистыми, рельсы сняты и заменены ровным, гладким полом, занимающим большую половину штольни. Другая половина занята желобами. Нижний желоб, высеченный в камне, отводит артезианскую и грунтовую воду в реку, а верхний, меньший, с избытком снабжает чистой водою резервуар, помещенный у начала штольни. В резервуар опущен насос, выходящий на поверхность земли и предоставленный в распоряжение публики.

Самое место выхода воды из труб при известном освещении представляет прелестную картину: вода поднимается прозрачным столбом и концентрическим водопадом падает в ящик, выложенный свинцом. Вторая труба артезианского колодца, идущая вверх, служит вентилятором.

Тридцатимесячная работа гномов кончилась и увенчалась полным успехом.

Неведомо для мира копались они под землей на тринадцатисаженной глубине, редко видя солнечный свет, редко дыша чистым воздухом. Удары их молотков и грохот взрывов не были слышны на земле, и очень немногие знали об их работе.

Пройдут года, вода будет течь обильной струей, но вряд ли кому придет в голову желание узнать, каких трудов и усилий стоило добыть ее из камня...

Ничтожные гномы сделали, однако, свое дело.

1884 г. Москва

II

²⁸ Это командовал производитель взрывов Пав. Львович Николаенко, все взрывы производились только им одним, не отлучавшимся из шахты, когда там были работы. Это был подземный житель

Полчаса в катакомбах

Неглинка — это арестованная в подземной темнице река, когда-то катившая свои светлые струи среди густых дремучих лесов, а потом среди возникающей столицы в такую же чистую, но более широкую Москву-реку.

Но века шли, столица развивалась все более и более, и вместе с тем все более и более зеленели струи чистой Неглинки, сделавшейся мало-помалу такою же клоакой, какою теперь мы видим сестру Неглинки — Язу.

Наконец, Неглинка из ключевой речки сделалась местом отброса всех нечистот столицы и уже заражала окружающий воздух.

За то ее лишили этого воздуха и заключили в темницу. По руслу ее, на протяжении трех верст, от так называемой Самотеки до впадения в Москву-реку, настлали в два ряда деревянный пол, утвержденных на глубоко вбитых в дно сваях, и покрыли речку толстым каменным сводом.

С тех пор побежали почерневшие струи Неглинки, смешавшиеся с нечистотами, не видя света божьего, до самой реки.

И она стала мстить столице за свое заточение. Она, когда полили дожди, перестала принимать в себя воду, и обширные озера образовались на улицах, затопляя жилье бедняков — подвалы.

Пришлось принять против упорства Неглинки серьезные меры, и нашлись инженеры, взявшиеся за это дело.

В 1886 году, осенью, было приступлено к работам.

В это время мне вздумалось осмотреть эту реку-заточницу, эти ужасные подземные катакомбы.

Тогда только что приступили к работам по постройке канала.

Двое рабочих подняли на улице железную решетку колодца, в который стекают вода и нечистоты с улиц. Образовалось глубокое, четырехугольное, с каменными, покрытыми грязью стенами отверстие, настолько узкое, что с трудом в него можно было опуститься. Туда спустили длинную лестницу. Один из рабочих зажег бензиновую лампочку и, держа ее в одной руке, а другой придерживаясь за лестницу, начал спускаться.

Из отверстия валил зловонный пар. Рабочий спустился. Послышалось внизу глухое падение тяжелого тела в воду и затем голос, как из склепа:

— Что же, лезь, что ли!

Это относилось ко мне. Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал опускаться.

Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоящей качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, сверху рабочим, оставшимся наверху.

С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко.

Наконец, послышался подо мной шум воды и хлюпанье.

Я посмотрел вверх. Мне виден был только четырехугольник голубого, яркого неба и улыбающееся лицо рабочего, державшего лестницу.

Холодная, до кости пронизывающая сырость охватила меня. Наконец, я спустился на последнюю ступень и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды...

— Опускайся смелей; становись, неглубоко тутотка! — глухо, гробовым голосом сказал мне рабочий.

Я встал на дно, и холодная сырость воды, бившейся о мои колени, проникла сквозь сапоги.

— Лампочка погасла, нет ли спички, я подмочил свои, — опять из глубины тьмы заговорил невидимый голос.

Спичек у меня не оказалось, рабочий вновь полез наверх за ними. Я остался совершенно один в этом дальнем склепе и прошел, по колено в бурлящей воде, шагов десять.

Остановился. Кругом меня был страшный подземный мрак, свойственный могилам. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие солнечного света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал. Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод — и нервно отдернул руку... Даже страшно стало.

Тихо было, только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы.

Это оказался сток нечистот и воды с улицы.

За шумом водопада я не слышал, как ко мне подошел рабочий и ткнул меня в спину.

Я обернулся.

В руках его была лампочка в пять рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками, без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого непроницаемого мрака, мрака могилы.

Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц, гудевшие под ногами.

Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть.

— Что это такое? Обрушилось что? — испуганным голосом спросил я.

— Это мы из-под бульвара под мостовую вышли, по площади телега проехала, ну и загремело.

Потом все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи, но так гремели и так страшно отдавался этот гром в подземелье, что хотя я и знал безопасность этого грома, но все-таки становилось жутко.

С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью.

Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную, жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо. В одном из таких заносов я наткнулся на что-то мягкое. При свете лампочки мне удалось рассмотреть до половины занесенный илом труп громадного дога. Он лежал сверх стока.

— И люди, полагать надо, здесь упокоены есть, — пояснил мне спутник.

— Люди?! — удивился я.

— Надо полагать; мало ли в Грачевских притонах народа пропадает; поговаривают, что и в Неглинку спускали... Опять воры, ежели полиция ловила, прятались сюда... А долго ли тут и погибнуть... Чуть обрушился, и готов.

Мы продолжали идти, боязливо ощупывая дно ногой, перед тем как сделать шаг.

Впереди нас показалось несколько красноватых, чуть видных звездочек, мерцавших где-то далеко, далеко.

— А далеко еще? С полверсты будет? — спросил я. Да вот и пришли.

Я был поражен. Огонек, казавшийся мне за полверсты, был в пяти шагах от меня. Так непроницаем подземный мрак.

Далее идти было невозможно. Дно канала занесено чуть не на сажень разными обломками, тиной, вязкой грязью, и далее двигаться приходилось ползком. Притом я так устал дышать зловонием реки, что захотелось поскорее выйти из этой могилы на свет божий.

Я остановился у люка наверх и снова увидел четырехугольник голубого неба. Я пробыл в катакомбах полчаса, но эти полчаса показались мне вечностью. Я выбрался наверх и долго не мог надышаться чистым воздухом, долго не мог смотреть на свет...

Недавно я вновь сделал подземную прогулку и не мог узнать Неглинного канала: теперь это громадный трехверстный коридор, с оштукатуренным потолком и стенами и с выстланным тесаным камнем дном. Всюду можно идти во весь рост и, подняв руку, нельзя

достать верхнего свода. От старого остался только тот же непроглядный мрак, зловоние и пронизывающий до костей могильный холод...

В бою

(Рассказ нищего)

Тусклая висячая лампочка, пущенная вполсвета, слабо освещала внутренность коечной квартиры.

Это была большая, высокая комната, с обвалившимися остатками лепной работы на почерневшем потолке, с грязными, оборванными обоями. По стенам стояли самодельные кровати — доски на деревянных козлах.

На кроватях виднелись фигуры спящих. В темном углу из-под груды разноцветного тряпья выставилась Седая борода и лысая голова, блестящая от лампы.

Как раз под лампой, среди комнаты, за большим столом, на котором громоздилась груда суконного тряпья, сидело четверо. Старик портной в больших круглых очках согнулся над шитьем и внимательно слушал рассказ солдата, изредка постукивавшего деревянной ногой по полу. Тут же за столом сидели два молодых парня и делали папиросы на продажу.

Солдат курил папиросы и рассказывал о своем прошлом, о том, как он на службу из конторщиков попал, охотой пошел, как его ранили, как потом отставку получил и как в нищие попал.

— Что делать, — говорил он, — выписали меня из гошпиталя... Родных никого... Пристанища нет... Я к тому, к другому... Так и так, мол, нельзя ли местишко... А он, кому говорил-то, посмотрит на ноги, покачает головой, даст там пятак — гривенник и Шабаш... Рубля два в другой раз нападают... Плюнул это я места искать...

В приют было раз зашел, прошусь, значит, раненый, говорю.

— А ты, солдатик, от кого? От генерала прислан? — спрашивает меня швейцар.

— Нет, — говорю, — сам по себе, я заслуженный... Швейцар махнул рукой и говорит:

— Зря, брат, просишься! Ступай лучше, здесь без рекомендации не примут.

— Как, — говорю, — не примут? Обязаны, я раненый, ноги нет...

Смеется швейцар. А сам толстый такой, щеки лоснятся.

— Чего смеешься? — спрашиваю я.

— Раненый? Эх, брат ты мой, много раненых тут ходит, да берут-то мало... Лучше брось и хлопотать, коли знакомства нет...

Тут какой-то генерал прошел, швейцар бросился раздевать его, и я ушел... Еще кой-куда совался — везде отход... Ну, братцы вы мои, и начал я милостинку собирать и перебиваюсь благодаря бога... Куда я больше годен без ноги-то?.. Пособираешь, придешь на койку... Сыт, тепло... Старое времечко вспомнишь, и жив тем... Ведь и я, голубчики мои, удалой был в свое время... Эх, да и времечко же было, вспомнить любо! Охотой, братцы вы мои, на войну-то я пошел. На Кавказ нас погнали. Шли мы горами да ущельями, недели две шли, Казбек-гору видели с вековыми снегами и в духанах водку фруктовую, вонючую пили... С песнями больше шли.

Жара стояла смертельная, горы, пыль, кремнем раскаленным пахнет, люди измучились, растянулись, а чуть команда: «Песенники, вперед», и ожило все, подтянулось. Загремит по горам раскатистая, лихая песня, хошь и не особенно складная, а себя другим видишь. Вот здесь, в России, на ученьях солдатских песни все про бой да про походы поются, а там, в бою-то, в чужой стороне, в горах диких, про наши поля да луга, да про березку кудрявую, да про милых сердцу поются:

Ой, не ласково приняла, Ой, огорчила ты меня!

Хватит, бывало, запевала, весь в поту и в пыли, заломив шапку на затылок, и сердце захолонет, и слеза по пыльной щеке сбежит и грязной каплей скатится на насквозь

пропотевший ремень ранца... Да забывчивость-то ненадолго... Запевала уж другую выводит:

Гремит слава трубой,
Мы дралися за Лабой;
По горам твоим, Кавказ,
Уж гремит слава об нас!

Подхватишь — и печаль-тоска вон из сердца.

Пришли наконец в отряд. И места же! Направо — море, налево и впереди — горы и леса по тем горам дремучие. Не такие леса, как у нас, не сосны, не ели, а все граб, пальма, грецкие орехи, инжир, на котором винные ягоды растут, и все это виноградником да колючкой переплетено. Проклятая эта колючка, сколько народу в ней погибло! Запутался раз, и шабаш, не выйдешь, как когтями зацепит; и чем больше ты вертишься, тем больше цепляет она тебя... Фруктов там разных — чего хочешь, того просишь. Цветы опять: магнолий-цветок в лесу растет, и всякой другой. Хорошо! Только насчет лихорадки да змей страшно... Опять скорпионы с тарантулом, вроде как не то пауки, не то раки, народ насмерть жалят... Ночь придет — чекалки (шакалы, по-нашему) песню свою затянут... Таково жалобно, будто хоронят кого...

Стоим это ночью в цепи... Темь — зги не видно... Тихо... Только справа где-то, внизу, море рокошет... И чем шибче бьются валы, тем спокойнее на душе. Знаешь, когда бурный прибой, то и неприятель на берег с судов не высадится, значит — со стороны моря не бойся, только вперед гляди-поглядывай.

А впереди темь...

Такая темь, будто у тебя глаза закрыты... На слух больше неприятеля ловишь...

Жутко первое время было в цепи стоять... Чего-чего не придумаешь... И убьют-то тебя, и в плен возьмут, и Шкуру с живого драть будут, и на кол посадят... А потом в привычку вошло, и думушки нет: стоишь да послушиваешь, да житье-бытье российское вспоминаешь...

Привык я малость в цепи стоять, а там в охотники выбрали, стали посылать в секреты да на разведку.

Умирать буду, не забуду, как нас в охотники выбирали,

Выстроили весь отряд четырехугольником, а в отряде-то тысяч десять народу. Стали, ждем — стоим. Отрядный генерал на середину выехал, поздоровался: «Здорово, братцы!» — «Здравия желаем, ваше превосходительство!» — гаркнули. Объехал нас и выслал адъютанта. Красавец офицер, на вороном коне, с «егорьем» на груди.

Выехал адъютант и скомандовал «смирно!». Потом такую речь повел, — каждое слово по гроб не забуду!

— Братцы-товарищи! Все мы пришли сюда на смертный бой с неприятелем и за веру, царя и отечество готовы пожертвовать жизнью своей. Здесь десять тысяч храбрецов, готовых в бой. Нам надо выбрать шестьсот охотников. Помните, братцы-товарищи, что охотники идут на верную смерть, и мало того, на смерть, на муку, на пытки. Если охотника пошлют в турецкий лагерь, где с него с живого сдерут кожу, где его посадят на кол, — он должен идти. Если охотнику прикажут стать под выстрел — он должен стать и умереть. Никто из охотников не увидит своих родных, своей родной России: он должен умереть здесь, под пулей и кинжалом неумолимого врага. У охотника нет надежды на спасение: еще раз повторяю — никто из них не увидит России, не увидит семьи... Итак, друзья, нам нужны шестьсот человек, обрекающих себя на смерть, шестьсот охотников.

Адъютант смолк.

Оглянулся я: у солдат лица как-то разгорелись, глаза заблистали. Направо от меня, рядом, стояли пешие казаки в длинных черкесках и высоких черных папахах, заломленных на затылок... Как вкопанные, будто не им говорят, стояли они.

Адъютант еще раз скомандовал «смирно» и громким голосом крикнул:

— Желающие в охотники — шаг вперед...

Я взглянул на казаков. Как один человек, все они сделали шаг вперед и остановились так же спокойно, как и были.

И наши зашевелились, многие вышли вперед...

Не помню, как и что, но я тоже очутился впереди,

Много лишних в охотники вышло. Вместо шестисот-то тысячи впереди очутились. По жеребью выбрали шестьсот, а остальных в запас записали, на случай, ежели тех перебьют.

Стали мы жить отдельно, по-охотнички.

Сняли сапоги, поршни — вроде как башмаки — из буйволово́й кожи надели, кошки на пояс повесили: когти будто железные сделаны, — если в дождик в гору идти, так под подошвы подвязывали, ну, и не склизко: идем по мокрой глине, как по лестнице.

Жара началась особенная: чуть вечер, весь отряд спать располагается, а мы вперед до утра, за турецким лагерем следить, своих беречь, да если что у неприятеля плохо лежит — скот ли распушен, лошади ли в недосмотре, часовые ли зазевались — все нам, охотничкам, годилось. И якши и яман — все кладь в карман! И скоту, и домашним вещам, и оружию, и часовому — всем настоящее место нахаживали.

Каждую-то ночь таким манером...

Больших дел все не было. Ждали мы ждали да и дождались же! Часов так около четырех утра...

Дежурным я при балаганах в эту ночь оставался. Вдруг слышу, тревогу вызывают, а со стороны турецкого лагеря мелкой дробью ружейные выстрелы: та-даа-та-та, та-та, та-та, та-та, тррр...

Наша команда уже выстроилась и бегом помчалась вниз, к цепи...

Сзади нас, в лагерях, суматоха: войска выбегали из балаганов... С гор — неприятель... Вот первая пуля просвистала над головою... Потом другая, третья — как шмели. Одна из черных полосок впереди вдруг остановилась на полугоре. Что-то задвигалось, ярко блеснуло на солнце, и четыре больших белых клуба поднялись к облакам... Бау... бу... бу... бау... — загроыхали орудия, зашуршали и завывли гранаты над головою. Одна около нас хлопнулась, бац! Как молонька сверкнула из нее, а потом завизжали осколки, дым нас окутал... Юнкер со мной шел, — гляжу, вскрикнул и упал... Лежит на спине, разбросал руки... Я было наклонился поднять, да уж поздно: грудь вся изуродована, кровь, клочки мяса да сукна...

— Носилки... носилки, — слышно кругом, а там — команда: «Бегом марш», и снова мы помчались... Около раненых оставили четверых...

Еще пуще завывли, зашипели над нами гранаты и засвистали пули... А мы все бежали, все бежали...

Вот и цепь...

Нас рассыпали: залегли мы в кусты — и началась лихая перестрелка.

Неприятель стрелял через нас, и наши сзади стреляли, тоже через нас. Сущий ад кругом! Солнышка от дыму не видать... Ружейные выстрелы кругом — как хлопушки... та-та-та-та-та. Пули визжат да посвистывают на все голоса, — как на пчельнике! Орудия и с той и другой стороны: бо-у, бу-бу-боу-бу-бу, боу!.. Гранаты рвутся одна за другой: тах-тах, только осколки от них воют...

Еще из команды двоих убили...

А бой все сильнее разгорался, — то и дело подносили к нам патронные ящики... Ствол моей берданки совсем горячим стал...

Долго продолжалась перестрелка и, наконец, перешла в наступление.

Сначала один горнист, где-то далеко, затрубил чуть слышно, меж гулом выстрелов: та-та-та-та, та-ти, та-та, та-ти, та-та, та-ти-тата, та, та, та, а потом все ближе и ближе, на разные голоса и другие горнисты заиграли наступление... Выстрелы сделались еще чаще... Среди нас гроыхала артиллерия, и, как на ученье, в ногу, шли колонны... Когда они поравнялись с нами, раздалась команда: «Пальба батальонами»... Присоединились мы кучками к надвинувшимся войскам...

Дым как-то реже стал, ветерок с моря потянул, и перед нами открылась неприятельская твердыня, — замелькали красные фески, заблестали ружья...

«Батальон, пли!» — раздалась команда, и грянул залп... Вместе с тем грянули и наши орудия. Опять залп, опять орудия, опять залп... Неприятельские выстрелы стихли, наши горнисты заиграли атаку... Раздалась команда: «Шагом марш!» Та-да, та-да-та-да, та-да, та-та-а, та-ди-та-ди, та-ди-та-да та-та-а, все чаще, и чаще, и чаще гремела музыка, все быстрее и быстрее шли мы, и все чаще и чаще падали в наших рядах люди.

А мы шли. Что со мной было — не знаю... Но сердце трепетало, каждая жилка дрожала, — я ничего, ровно ничего не боялся... Вот уж несколько десятков сажен до неприятельской батареи, исчезающей в дыму, сквозь который только и мелькают красные молнии огня, а нас все меньше и меньше... Вот музыка замолкла — только один уцелевший горнист, неистово покрывая выстрелы, как перед смертью, наябривал отчаянное та-да-та-да-та-да-та-да-а. А вот и команда: «Ура!»... Мы ждали «ура!».

— Урра! — загремели мы в ответ и бросились на молнию выстрелов, на гребне высокого вала...

Я перепрыгнул ров, не помня себя... Перед самыми глазами ослепил и оглушил меня выстрел, блеснул ятаган над головой и — фигура в красной феске... Я всадил штык в эту фигуру; сзади, вместе с ней, нас толкнули наступавшие, и мы оба полетели в ров... Урра!.. Алла! Стоны раненых, выстрелы ружей, хрип умирающих слышались мне, а я лежал, придавленный окровавленной фигурой в красной феске... Вдали гремело: бау-бу, бу-бау!..

* * *

В квартире уже никто не спал... Все ночлежники поднялись на своих койках и слушали солдата...

Лишь из-под груды разноцветного тряпья блестела седая борода и лысая голова старого нищего...

Грезы

Ей снился сон...

Вот она надевает коротенькое коричневое платье и черный фартук. Она торопится и никак не может застегнуть сзади фартук.

— Соня, Соня! — кричит она и топает своей маленькой ножкой.

Но Соня не слышит...

— Соня!

В соседней комнате раздаются частые легкие шаги, и вбегает полненькая, розовая, с большими черными глазами девочка лет десяти.

— Соня, да застегни же мне фартук...

Соня застегивает и бежит. Она тоже торопится...

Снился ей затем публичный акт, ряды гимназисток, чопорные классные дамы, стоящие перед своими классами, покрытый красным сукном стол, а за ним генералы в звездах, а посередине их сама начальница, также сухая, как щепка, седая, со сдвинутыми бровями и гордо щурящимися глазами.

— Екатерина Казанова! — провозгласил кривой секретарь педагогического совета, которого звали «Камбала».

Она выходит.

Начальница и седой генерал поздравляют ее и подают ей большой атласный лист и коробочку с тяжелым желтым кружком...

— Счастливица Казанова, золотую медаль получила... Вот счастье... Поздравляем... Желаем всего лучшего — слышится всюду...

Она сама кланяется гимназисткам, но вдруг коричневые платья их и беленькие личики

исчезают... Контуры их еще обрисовываются в тумане, а из-за контуров выплывает что-то зеленое...

Это зеленое все более и более заливают пространство. Уж можно рассмотреть листья и стволы деревьев.

У корней деревьев еще видны коричневые платица и много, много ножек...

Но и они сливаются с зеленью...

Перед глазами выступает старый липовый сад. Клумбы цветов, скамейка...

На скамейке сидит девушка в розовом платье, рядом молодой брюнет... Глаза у него большие, черные, как ночь, томные... Только как-то странно напущены верхние веки, отчего глаза кажутся будто двухэтажными... В них играет луч солнца, освещающий толстые, пухлые ярко-красные губы, с черными, как стрелки, закрученными блестящими усиками.

Девушка в розовом платье так и впивается глазами в брюнета... Тот говорит о вечной любви, о бесполезных и вышедших из моды обрядностях, без которых хорошо люди живут, о взаимном труде, о...

Этот сон сменяется новым...

Шумная улица многолюдной столицы, голубой свет электрических фонарей. Она стоит у роскошного отеля и смотрит в окна. А там, сквозь зеркальные стекла, видны кружащиеся в вальсе пары и между ними знакомые двухэтажные глаза и выхоленные усики над ярко-красными губами. У него та же улыбка, то же заискивающее выражение глаз, как было тогда в саду.

Она вспоминает выражение его глаз совершенно другое...

Глаза его начали меняться уже в вагоне, по дороге в столицу, куда они вдвоем, в отдельном купе, ехали искать, как он говорил там, в саду, «света знаний, истины и труда».

Все чаще и чаще с того времени стал являться этот взгляд вместо прежнего ласкающего, затем тон голоса перешел сначала в небрежный, а потом в грубый...

Только раз по прибытии в столицу она видела его прежнюю улыбку, прежний взгляд.

В этот день ее золотую медаль, этот желтый кружочек в коробочке, которому так все завидовали в актовом зале, он унес куда-то и явился вечером в щегольской черной паре, а затем начал исчезать из номера с утра и приходил ночью...

Из заискивающего прежде он сделался окончательно гордым, недоступным, злым.

Он получил место секретаря при каком-то благотворительном обществе.

А она сидела в номере целый день одна, в черном поношенном платье...

Ей нездоровилось... Выходить она уже давно не могла...

Все хуже и хуже он относился к ней...

Она плакала целыми днями...

Из дома ей пришло только одно письмо от сестренки Сони, которая писала, что отец проклял ее.

Вскоре за получением письма брюнет ее бросил...

Перед этим он долго говорил о столичной жизни и ее требованиях, об увлечениях юности, о карьере общественного деятеля и наконец сказал:

— Мы не созданы друг для друга, наши дороги разные... Ты поезжай домой к отцу, а я...

И с тех пор они не видались.

Как сквозь туман, видит она седую старушку, ухаживающую за ней, за больной, помнит она страшную боль, когда будто рвут ее на части, затем спокойное, блаженное забытие, сквозь которое, как райская музыка, слышится ей нежный крик ребенка...

А затем холодная осенняя ночь, она одна, совершенно одна на улице, — потом толпа, электрический свет, блестящий бал, кружащиеся под звуки вальса пары и знакомая улыбка.

— Жених, жених! — слышится в толпе, когда он появился у окна...

Ей ужасно хочется увидеть невесту... У ней озябли ноги, она дрожит сама от холода, а все стоит и не отводит от окна глаз.

Вот, наконец, он подходит к окну и знакомыми томными глазами нежно смотрит на

свою даму...

Потом ей снился высокий мост с железной решеткой, свист ветра, непроглядный мрак, черная пропасть реки, плескавшейся о каменные устои.

Она несколько раз становилась на эту решетку, вновь слезала с нее на деревянную настилку моста и прислушивалась к плеску волн...

Потом промелькнули перед ней незнакомые лица, тройки, мчавшиеся за город, попойки и тяжелое пробуждение от них.

Вот она видит эстраду гостиницы; на эстраде хор в парчовых сарафанах, на ней — такой же сарафан...

Развеселившаяся публика слушает залихватскую песню:

А бумажечки все новенькие,
Двадцатипятирублевенькие...

Но опять мрак закутывает блестящую эстраду, веселая песня постепенно переходит в звуки хриплых, пьяных голосов, слившихся с звуками ревущей скрипки и кларнета, стук стаканов и бутылок...

Вместо блестящей эстрады ей видится низкая комната, освещенная двумя висячими лампами, пьяные мастеровые, нарумяненные женщины...

Одну из них бьют и выталкивают на улицу...

Снится ей отдельное купе вагона... Поезд мчится... вагон мерно покачивается, он смотрит на нее прежним, ласковым взором, говорит ей о вечной любви, о взаимном труде... Ей холодно... Она просит его поскорей закрыть окно, откуда дует холодный ветер.

А вагон все покачивается и усыпляет ее крепче, крепче...

* * *

В «холодную» при полицейском доме вошел толстый смотритель.

— Кого еще привезли? — спросил он городского...

— Девку какую-то... Вон и билет ее, за чулком нашли... Подняли у трактира в Безымянке... Насилу довели, сани маленькие, сугробы, лошадь не везет...

На мокром полу «холодной», разметав руки и закрыв глаза, лежала женщина в вылинявшем зеленом шерстяном платье... Набеленное, испитое лицо ее было избито. Смотритель взглянул на желтую бумажку, которую ему подал городской.

— А, опять старая знакомая, Катька Казанова... Эх, повадилась! Ну, запри ее...

Смотритель вышел. Вслед ему заскрипел тяжелый засов двери...

Рассказы, очерки

Прокормиться бы

(Из жизни актеров)

Случилось мне летом 1883 года быть в городе Орле. Я остановился в гостинице, а так как день был свободный, пошел прогуляться по городу. На самой главной улице у подъезда гостиницы толкался народ, окружив какой-то громадный вагон, стоявший на улице.

— Что это там делается? — спросил я одного из лавочников.

— Актеров провожают, ну и глядят, — пояснил он мне.

Я подошел ближе, в самую толпу. Перед нами стоял громадный, старый, вылинявший рыдван, напоминавший не то «Ноев ковчег», не то самый скверный вагон железной дороги.

Рыдван был запряжен четверкой заморенных лошадей самого жалкого вида. На широких оборванных козлах сидел не менее оборванный ямщик.

В толпе шли примерно такие разговоры.

— Актеров-то, гляди, как возят, в чем... — обращается мещанин к женщине.

— А рази в другом можно? Сейчас их на две половины: женское сословие в одну, мужчин в другую...

— С ними вместе и зверье посадят? — любопытствует маленький мальчик.

— Это без зверья, это другие актеры, со зверьем — зверинцы, а это киатральные, сами зверье приставляют... Сейчас удивиль есть: «Медведь и паша», так мой постоялец медведя сам в овечьем тулупе приставлял на киатре.

— Как это им охота? Тоже люди, а такими делами занимаются! Лучше бы работали...

Я невольно задумался над последней фразой.

— Вы какими судьбами здесь? — вдруг услышал я сзади.

Оглянулся — мой старый знакомый, актер Л.

— По делу приехал, — сказал я.

— А вот и мы по делу едем, — сказал Л., указывая на рыдван.

— Куда же?

— В Симбирск, верст полтора отсюда. Здесь наше дело расстроилось, сборов не было, вот и едем. Бог даст, прокормимся... Вот и наши идут. Знаком?

Из гостиницы вышли пять актеров и две актрисы. Из актеров трое были знакомы. С другими и с актрисами меня познакомил актер К.

— Ну что, все уложено? — спросил Л., одетый в русскую поддевку, подпоясанную кавказским поясом.

Из рыдвана высунулся высокий, худой, как голодный заяц, помощник режиссера:

— Все-с! Только водочки бы на дорожку!

— Да, надо, возьми бутылку, — сказал Л.

— Две бы взять... дорога дальняя, — несмело заговорил актер маленького роста.

— Пожалуй, две, вот восемьдесят копеек, — подал Л. деньги.

— Помилуйте, господин Л., какой расчет, а? Добавить полтинник — четверть целую и возьмем.

— Куда четверть! Две бутылки довольно. Помощник исчез и через минуту вернулся с водкой,

— Теперь, господа, с богом, садитесь. Вы и вы, mesdames, поезжайте до заставы на извозчиках, а мы в колеснице. Проводишь нас, Владимир Алексеевич? — обратился он ко мне.

Я согласился, и мы вшестером поместились в рыдване.

— Трогай!

Ямщик затопал, зачмокал, засвистал, и рыдван зака, — чался по скверной мостовой, гремя и звеня; каждый винтик в нем ходуном ходил.

Мы сидели шестеро, а место еще оставалось в этом ковчеге, хотя целый угол был завален узелками и картонками.

— А что, господа, в каком мы классе едем? — сострил кто-то.

Все промолчали.

Сидели мы по трое в ряд, причем помощник поместился как-то в всячем положении. Сзади на главном месте сидели Л. и С. Последний стал актером недавно-это был отставной гусар, щеголь, когда-то богатый человек. Несмотря на его поношенный костюм, старый шик еще не покинул его. На руках были шведские сиреневые перчатки, а в глазу монокль. Третий сидел Р. Его бледное лицо, шляпа a la brigand, из-под которой светлыми прядями спускались жидкие прямые волосы, выгоревшее и поношенное пальто и сапоги в заплатках как нельзя более подходили к окружающей обстановке.

— Что будет в Симбирске? — заговорил он.

— Я думаю, что будут дела! Все-таки состав для такого города весьма недурен. Ты как

думаешь?

— Я думаю, что выпить надо, — в ответ сказал С-ов.

— Что дело, то дело-с! — заезжил помощник и вынул бутылку.

— Погодите, господа, за заставой выпьем, — уговаривал Л.

— Да вот и застава!

Наш рыдван выкатился за два заставных столба и мягко заколыхался по пыльной дороге.

Влево в тени берез, которыми усажена была дорога, нас уже дожидались актрисы.

Мы сели на траву. Помощник режиссера откупорил обе бутылки.

— Зачем это вы обе?

— Пить-с! Да еще я думаю бутылочку бы взять... Вот и они выпьют, — указал на меня помощник.

Л. достал серебряный стакан, рыбу-воблу и связку кренделей.

— И тут без кренделей не могут. Ну, актерики-с, — сострил С-ов.

— Ну-ка, отвальную, — начал Л. и налил мне водки. Выпили, и через пять минут водки не было...

— Ну, господа, теперь в путь! — вставая, сказал Л. Попрощались. Перецеловались...

— В Москве увидимся! — крикнул из рыдвана Л.

— Увидимся постом! Желаю сотни заработать!

— Куда сотни! Дай бог прокормиться, с голоду не умереть или без платья не вернуться, — как-то печально промышчал С-ов.

— До свидания!

— До свидания!

Через несколько минут рыдван скрылся за поворотом, и только долго еще треск и звон винтов и винтиков древней повозки доносились до меня по вечерней заре.

Дай им бог прокормиться!

Гуслицы и гуслики

Лесом густым, сосновым шла песчаная дорога. Кое-где подле самой дороги, на воткнутой в землю палке, раздвоенной сверху, висела высохшая змея, убитая прохожими. Змей в гуслицких лесах очень много. Далее они часто переползали нам дорогу, и мой возница, уже немолодой, словоохотливый, шустрый гуслик, вскакивал с телеги, старался догнать змею и убить ее, после чего срезывал палку, расщепливал ее, втыкал в землю и вешал змею.

— Для чего это ты делаешь, Василий Степанович? — спрашивал я его.

— За кажинную змею, кую убьешь, сорок грехов прощается, — отвечал он, крестясь.

— Хорошо. А вешаешь ее зачем?

— Никак нельзя без этого, ее оживят свои, заслуга пропадет.

— Кто это свои?

— Царь ихний, змейный.

— Какой царь? — удивился я.

— Змейный царь: он большой змий, белый, будто высеребрен, глаза словно яхонт, красные, и на голове золотая корона, а живет этот змий в земле, и все знает: где, к примеру, змея убита, он в минуту там — зашипит, зашипит, и змеи разные к нему со всех сторон сбегутся. А у царя на голове, под короной есть живая и мертвая вода. С правой стороны живая, с левой — мертвая. Змеи этой воды на жигалище (жало) из-под короны достанут и помажут убитую — сначала мертвой, от которой раны зарастут, а потом живой глаза помажут, и змея оживет. Вот для этого ее и вешают, чтобы достать нельзя.

— А кто это тебе говорил?

— Все знают; в книгах так писано.

— Да ведь в книгах и врут частенько.

— Нет, барин, в книгах не врут, которые настоящие книги, а вот в газетных книгах врут.

— В каких газетных?

— Которые примерно из газетов печатают.

— Не понимаю, объясни!

— Сейчас. Об Чуркине: сперва в газетах писали, потом из этого в книгу напечатали, и все вранье: там пишут убийства да убийства, а Вася Чуркин отродясь никого не убивал, потому он был человек не такой, чтобы убить... Это они зря пишут. Вот другой его брат, Степка, по прозвищу Михалкин, который теперь в Московском остроге сидит, — тот хуже! А Вася что!.. Вася добрый, царство ему небесное!

— Разве он умер? А пишут жив.

— Два, а то и три года как умер в бегах; да вот жена в Запокорье, спросите — она там живет, теперь одна; или в Барскую заедешь, там отец Васи, Василий Ефимович, живет, они скажут.

Сзади нас послышался ямской колокольчик...

— Надо так полагать становой или Балашев катит... — обратился ко мне ямщик.

— Кто это Балашев?

— Фабрикант здешний, богатеющий фабрикант... У него и Чуркин рабочим был... Все Гуслицы у Балашева работают, ничего, хозяин хороший, жить можно... — Колокольчик загремел ближе, и, наконец, из-за деревьев показалась пара, запряженная в маленький тарантасик, в котором сидели два мужика, одетые в новые черные чуйки и такие же картузы. Оба седока и ямщик были сильно навеселе и быстро, галопом, промчались мимо нас.

— Ишь, мошенники, и не кланяются, знать, много награбили, — крикнул им вслед извозчик.

— Кто же это такие? — спросил я.

— Давыдовские, с «викторками» ездили.

Впоследствии от гусликов и частью от этого моего возницы удалось подробно узнать, что такое «викторки», и этими собранными мною, крайне интересными и еще неизвестными в печати сведениями я поделюсь с читателями.

Жители многих гуслицких деревень, привыкшие жить без работы, — мастера пускаться на всевозможные аферу — от делания фальшивых денег до воровства включительно. После первого незаконного, но сильно развитого промысла второе место занимает хождение с «викторками» и «малашками».

«Викторкой» называется фальшивое свидетельство, выданное будто бы от волостного правления, на сбор подаяния по городам и селам, в пользу погоревших или пострадавших от голода и неурожая.

«Викторки» пишутся крайне безграмотно: уезды часто выставляются наудачу, также наудачу приписываются волостные правления и села, откуда выдано это фальшивое свидетельство. Под ними ставятся копченые печати, сделанные большей частью весьма искусно. У меня и в настоящее время находится отобранная полицией «викторка», безграмотно написанная. Вот ее содержание:

«СВИДЕТЕЛЬСТВО»

Выдано сие свидетельство хесьянам деревни Ивановки Власьевской волости Танбовской губерния и уезда Ивану Никитену и Хведору Васильеву из Власьевского воласнаго Правления, в том, что 11 сего Мая года 1882 означенная Ивановка деревня сплош вся выгорела и хресьяне встрашном бедствие находятца, пачиму попрозбе им властное Власьевскае Правление и выдало для ради сбора на погарелое место павсемесным местам Рассеи сие свидетельство присавакуплением воласной казенной печати.

Внизу следуют, сделанные тем же почерком, неразборчивые подписи старшины и волостного писаря, а еще ниже печать Власьевского волостного правления, прекрасно

сделанная, что подтверждает славу граверного искусства гусяков.

С подобными «викторками», взятыми в нескольких экземплярах, отправляются гусяки в различные места России, выправив паспорт из волостного правления на полгода, или менее, и зарыв близ станции железной дороги приготовленные «викторки», так как при отправке их на промысел сельские власти часто обыскивают этих путешественников, и если находят при них «викторки», то аферистов не отпускают на промысел. Сумевшие же добраться до станции, отправляются кто куда, более всего в столицы, где и предлагают, в особенности купечеству, «викторку» с просьбой о пожертвовании, прося записывать под написанными ранее фальшивыми фамилиями, сколько кто пожертвует. При этом главными жертвователями бывают богатые раскольники.

Во время хождения с «викторками» мнимые погорельцы не брезгают плохо лежащими вещами и воруют их у своих благодетелей. Проезжая в жаркие летние дни по некоторым гуслицким деревням, перед бедными избами можно нередко увидеть повешенное на веревках для просушки различное платье, как мужское, так и женское, вроде шубок, сюртуков, пальто, фраков и других городских костюмов, не употребляемых в деревнях. Все эти вещи или были пожертвованы в городах на погорелое место, или краденые.

«Малашками» называются написанные на настоящих бланках фальшивые паспорта на чужие имена, но с приметами лица, которому даются. Аферисты запасаются каждый пятью-шестью «малашками», являются в город, нанимаются в услужение и при удобном случае жестоко обкрадывают хозяина, оставив один из своих фальшивых паспортов в руках у него, с другим поступают на новое место и так продолжают до последнего экземпляра «малашки».

Как «малашки», так и «викторки», делаются в Гуслицах в большом количестве, и все сборщики известны поименно каждому крестьянину. Часто эти сборщики возвращаются домой на парах и тройках хороших коней, везя с собой узлы платья и полные кошельки денег, после чего «мир» угощается на их счет, а бывает, что этих обманщиков, как бродяг, неудачников, присылают по этапу. Но последнее бывает реже.

Во многих деревнях можно встретить старые, заколоченные избы наглухо — это значит, что обитатели целыми семействами уехали с «викторками» на Дон или отправились в Сибирь для сбыта фальшивых бумажек, которые частенько перевозились в иконах, середины коих были выдолблены. Кроме этих промыслов, в некоторых деревнях занимаются конокрадством, и даже «Елизаровские лошаводы», т. е. крестьяне деревни Елизарова, Запоторской волости, вошли в пословицу. Лошади приводились из соседних уездов, и елизаровцам конокрады за каждую лошадь ставили по два ведра водки, а потом писали приговор, что лошадь деревенская доморощенная...

Беглый

Стояла весна. Кое-где в глубоких оврагах вековой тайги белелся снег, осыпанный пожелтелыми хвоями, а на скатах оврагов, меж зеленевшей травы кое-где выскакивали из-под серого хвороста голубоватые подснежники. Верхушки мелких сосенок пустили новые ростки, светло-зеленые, с серыми шишечками на концах, заблестали бриллиантовые слезки на стволах ели, сосны и кедра. Молодая березка зазеленила концы своих коричневых почек, а на окраинах и вся покрылась изумрудным убором, рельефно отделяясь от темной стены старых елей и сосен и еще черневшихся лиственниц.

По утрам окраины тайги оживали: тысячи птиц кричали без умолку на разные голоса. Самый воздух, согретый яркими лучами солнца, был полон весеннего аромата сосны и березовой почки, полон расцветающей жизни, полон могучей силы.

Никогда не бывает так прекрасна тайга, как весной! И чем дальше человеческое жилье, чем тайга глуше, тем она прекраснее, величественнее и тише.

В самой глуши никто не нарушит ее тихой жизни, никто не мешает ее концерту, ее гармонии.

Каждая птичка поет сама по себе, дятел сердито стучит в дерево, ловя червячков, проделавших удивительные ходы в древесине, плачет кукушка, ветер гудит, стонут от него косматые головы седых великанов.

Всякий звук сам по себе, а дирижер — сама тайга — все эти отдельные звуки сливает в одно, и выходит концерт поразительный.

Человек заслушается этого весеннего, дикого и очаровательного таежного концерта, так заслушается, что всю жизнь тайга будет ему мерещиться и живо будет вставать в памяти.

И тем живее встает она, чем безотраднее ему. И скажет тот человек, если он болен лежит или заброшен в душный каземат, скажет одно:

— Послушать бы тайгу денек, как кукушка кукует, как дятел долбит, как ветер гудит по вершинам, послушать бы еще раз, а там хоть и умереть!

И манит тайга человека бывалого, неудержимо манит из душной тюрьмы на вольный простор.

Рискует старый бродяга попасть под плети, под меткую пулю часового, а все-таки рвется хоть денек послушать кукушку в тайге, поплакать с ней, как и он, бездомной, и умереть, отошав с голоду, или опять вернуться в тюрьму, обновленным таежной волей, до следующей весны, до следующих надежд на побег.

Бывалого бродягу зовет кукушка, а молодого удальца тянет родина далекая, дойти до которой редким приходится.

Раза два удалец попробует побороть неизмеримое расстояние тайги, раза два опять неволей вернется в каземат, а на третий он и родину, пожалуй, готов забыть, а все-таки неудержимо бежит поплакать с кукушкой о далекой родине.

И вытягивает весна удалых добрых молодцев из-за решеток железных, из-за каменных стен, из-за острых штыков. И не страшны им в ту пору стены, ни грозна смерть — они сами не помнят себя, очарованные притягательной силой благоухающей вольной тайги.

— Воля! Вот она, воля-то, где! А-ох!.. Не надышишься просто! И сосной, и березкой пахнет... А там...

Он вздохнул и задумался.

Это был плотный тридцатилетний человек, в арестантском халате и шапке без козырька.

— А-ах! Хорошо! — вздохнул он еще раз. — А чего стоило добратся сюда. Да! Даже страшно. Впрочем, чего страшного — пуля, смерть, и только.

Страшно там, в этих подземельях, где, того и гляди, тебя задавят землей, как червя в норе, в темноте. Сгинешь и свету божьего не увидишь! Пуля что! Чик и шаш! А там всю жизнь под землей, без надежды на солнышко взглянуть! Всю жизнь...

Он задумался.

— А солнышко-то, солнышко!

Бродяга прикрыл глаза сверху, как козырьком, рукой и посмотрел на запад.

А оттуда сквозь чащу деревьев прорывались режущие, ярко-красные лучи заходящего солнца. Они играли и бегали на стволах деревьев, соскакивали с них и блестящими «зайками» прыгали дальше на следующих стволах, на чуть зазеленевшейся траве, на сети сучьев.

Лучи все ярче и ярче горели, и наконец меж стволами начал скользить самый диск солнца, переливавшийся, как расплавленный металл, брызгавший сиянием ослепительных лучей.

Бродяга, стоявший на берегу лесного оврага, жмурился, а все продолжал смотреть на солнце, опускавшееся за вершины леса.

Чем ниже опускалось солнце, тем темнее и темнее становилась пропасть оврага.

Все выше и выше бежали золотые «зайки» по старым великанам, блеснули на их шапках, прошли розовой полоской по беловатым облакам и исчезли.

Как-то сразу почернели овраг и лес, будто задернулись от света черной занавесью. Сразу холодно стало.

Бродяга вздрогнул, нащупал спички в кармане и стал опускаться на дно оврага, захватывая по пути сухой валежник.

Снизу тянуло холодом. Там еще белелся снег. Бродяга взглянул на дно и переменял свое намерение. Он опять поднялся наверх, выбрал чистую полянку, натаскал хворосту, вынул спичку, погрел ее сначала за ухом и зажег.

Чуть заметными, беловатыми полосками побежал огонь по сухому валежнику, зачернелся дым, а потом полосы огня, по мере того как темнело небо, краснели; клубы дыма исчезали в темноте, сверкая по временам мчавшимися кверху звездочками искр, или прорезывались кровавыми языками пламени, когда бродяга шевелил костер или бросал свежий валежник.

Он вынул из мешка хлеб, воткнул кусок на палочку и стал жарить над угольями. Хлеб дымился, трещал и слегка обгорел.

Бродяга аппетитно понюхал, снял шапку, положил ее на колена, перекрестился и стал есть.

Свежий ветерок подул из-за оврага и гулко зашумел вершинами.

— Наш, расейский ветерок, с заката. Ишь, теплый какой!

Он подкинул еще валежнику в костер, нахлобучил шапку до ушей, устроил постель из еловых ветвей и хворосту и лег, плотно закутавшись в широкий арестантский халат.

— Дом, а не халат... Спасибо смотрителю, будто знал, что понадобится, — новый дал! — улыбнулся он.

И представилось ему, как перетрусил носастый смотритель, придиравшийся за каждую мелочь к арестантам и дрожавший, как осиновый лист, перед начальством. Вспомнился ему и последний побег из деревянной полусгнившей тюрьмы.

Ночь была такая же темная; окно его секретной камеры с заржавленной решеткой выходило в поле, за которым синела бесконечная тайга. Под окном торчали острые концы бревенчатого частокола, заменявшего тюремную стену, и за частоколом постоянно двигалась взад и вперед полоска штыка, — днем синяя и ночью светлая, от красноватого отблеска закоптелого, грязного фонаря.

Он долгое время смотрел на тайгу, на частокол, на штык, мелькавший то вправо, то влево от окна.

По этому штыку можно было знать, где часовой, близко или далеко.

Тогда ночь была темная, туманная, фонарь мигал красноватой точкой среди густого весеннего тумана, как тлеет керосиновая лампа в бане.

Он выставил полугнилую раму, скрутил из белья веревку, связал этой веревкой два прута решетки, всунул в веревку полено, принесенное из коридора под халатом еще накануне, и начал его повертывать. Веревка скручивалась. Вольный, свежий ветер прорывался в тесную, душную камеру и освежал, ободрял его, уставшего до пота. Веревка скручивалась, связанные ею прутья сжимались.

С другой стороны он также связал два прута и скрутил веревку.

Образовалось отверстие, голова в него проходила свободно.

Вспомнил он, как хлопали по грязи кенги часового, удалялся влево отблеск штыка, вспомнил он смелый прыжок, крики, выстрелы, шум сзади, свист пули около уха.

Но вспомнилось все это как-то неясно, будто давно это случилось, а не три дня назад.

А ветер все гудел вершинами...

Бродяга сквозь полусон прислушивался к этому шуму, напоминавшему ему ночи — далеко, далеко отсюда...

Яркий огонь близкого костра грел ему лоб, и сквозь закрытые веки бродяга видел, или, лучше сказать, чувствовал, сначала красное, а потом фиолетовое зарево, глазам было больно, но он напрасно напрягал усилия открыть их. При каждой тщетной попытке поднять веки зарево только принимало более яркую окраску и еще крепче сковывало глаза и усталые члены.

Он был как бы в забытии, голова горела, мозг сжимался, грудь давило, и всевозможные

картины, одна другой фантастичнее, мелькали в его воображении...

Он забыл в этот миг все, все...

На плотях

Лед прошел. Вода на Москве-реке стала сбывать, а площади низин все еще были залиты на далекое пространство. По более высоким берегам синелись на черном иле надвинутые одна на другую и забытые водопольем льдины; по оврагам в виде громадных спящих чудовищ лежал снег, а на обрывах на коричневом фоне старой травы просвечивали зеленоватые пятнышки и оживляли мертвые обрывы. Река ожила. Серые чайки парили над водой, с трудом рассматривая в желтой ряби стальную полоску, камнем бросались за добычей, хлопали по воде крыльями, и трепещущая стальная полоска, извиваясь, блестела в их изогнутых клювах.

Время от времени из-за дальнего мыса выдвигалась темная масса, широкая, длинная, извивающаяся по зеркалу воды, как исполинская змея. На концах ее мерно покачивались взад и вперед высокие фигуры, и когда масса подвигалась ближе, то фигуры росли, росли и, как на волшебной декорации, обращались в мужиков и баб, усиленно поднимавших неуклюжие длинные весла на концах дровяного плота.

Один из таких плотов подходил к Москве.

На середине плота, на куче соломы, с багром в руках стоял мужик, одетый в синюю пестрядинную рубаху, расстегнутый жилет, лапти и овчинную шапку, заломленную на затылок. Вся фигура мужика с грудью колесом, поднятой головой и рукой на багре, которым он направлял оголовок плота, напоминала в общем лихого лоцмана на картинах крушений судов. Его лицо с чуть заметной растительностью, двумя клочками приткнувшейся к углам подбородка, так и горело беззаветной удалью и сознанием своей силы. Рамка волос, выбившихся из-под шапки и прилипших к изрытому морщинами лбу, была уже седовата и показывала, что сгонщику немало лет.

Плот мчался... Навстречу ему издали бежали главы церквей, красные фабрики, высокие трубы с закопченными верхушками и круглыми черными шарами. Вот белой полосой на темной перспективе замелькал ажурный Бородинский мост, полоса становилась все шире, длиннее и вдруг, освещенная мелькнувшим из-за облака солнышком, представилась плотовщикам гигантским серебряным кружевом, растянутым в воздухе между берегами реки.

— Никита Семенов, мост-от, мост-от, серебряный вроде!.. — сорвалось у кого-то из гребцов, уставившихся на панораму Москвы и лениво поднимавших весла.

А Никита весь погрузился в развернувшуюся перед ним давно знакомую картину и ничего не слышал.

Он смотрел и на кружево моста, и на дымящиеся фабрики, и на золотые главы далекого Новодевичьего монастыря, и на щетину лесистых Воробьевых гор, и на низменный Дорогомиловский берег. Каждое местечко было знакомо Никите.

Невольно всплыла в памяти Никиты первая путина на плотях из-под Можая в Москву, когда за десять рублей ассигнациями он стоял в веслах на дровяном плоту, а потом и каждую весну стал ходить на плотях, как сделали его, удалого да ловкого, сперва канатчиком, а потом сгонщиком. И хозяин сам, бывало, на плоту стоит, а правит все Никита. Сорок одну весну на плотях ходит. А сколько горя насмотрелся он за это время! Сколько народу на его глазах потонуло, померло, без вести пропало, а уж сколько пропилось да в острогах из-за этих сплавов сгнило — и не перечесть... И вчера один канатчик потонул под Троицей. Стали на ночь канатиться, му-жик-от соскочил в воду, думал, мелко, ан в глубь попал да под плот — только и видели... Может, зацепился за дерево, так до Москвы дойдет да при выгрузке всплывет синий, опухлый. А баба-то его как вчера убивалась, все в воду рвалась, так к плоту самое-то от греха привязали...

С берега неслась звонкая, заунывная песня.

— И отчего это, — взбрело Никите, — сорок годов на погонах хожу, а песен на нашей работе не слыхивал? Сапожник поет, портняга колченогий поет, столяр поет и бурлак, и тот, на что уж каторжный, тоже временем поет, а нам вот песня и на ум нейдет.

И стал Никита добиваться, отчего на плотах песня не спорится. Сообразил он, что как сел на плот, так и гребни до поздней ночи, — значит, не до песни; потом на ночь к берегу приставать, канатчик должен первый с приколом в воду соскочить, плотовщики окромя баб тоже канатиться в воду лезут. Приканатились. Холод, мокреть, обсушиться негде, спать некогда — того и гляди, плот водой сорвет. Какая тут песня? А потом опять с пустой кашицы да с черствого хлеба петь-то мало радости. И решил Никита, что в их работе петь нельзя.

Солнышко опять спряталось за тучу, и мост, вместо ласкавшего взгляд серебряного кружева, казался серой громадной массой, утвержденной на серых, мрачных скалах, несшихся навстречу плоту и грозивших разбить его вдребезги. Плотовщикам ясно виделось, что мост несется на их плот, и они боязливо косились на него, усиленное работая веслами.

— Наляг, братеники, наляг! — зычно покрикивал Никита, и гребцы, ободренные ровным, спокойным голосом первого на реке сгонщика, энергичнее налегали на весла и отводили плот на фарватер.

А мост все надвигался ближе и ближе, грознее и грознее вставал из воды каменный устой.

Плотовщики вскидывали головы время от времени, при передышке между ударами весла, различали живую стену у решетки моста и городского, бессильно старавшегося отогнать публику.

С моста доносились возгласы:

— На бык, ей-богу, на бык! Во налетит... Вдребезги...

— Куда правишь-то, черт, пра-а черт!.. — Последний эпитет относился к Никите.

А опасность была близка. Плот несло прямо на каменный устой, и публика, охотница до ужасных зрелищ, приготовилась видеть крушение.

— Наляг, братеники, наляг! — громче прежнего донеслось до зрителей, и они видели, как еще крепче мужики налегли на весла, как Никита багром отделил с од-

ной стороны на аршин оголовок плота от длинного туловища, как это туловище дрогнуло, изогнулось змейкой в дугу, как оголовок с шестью низко нагибавшимися в веслах мужиками и двумя бабами исчез под мостом и весь плот, минуя устой, помчался туда же.

— Мама, мы поехали, а плот остановился, — услышали сверху гребцы детский голос, вскоре заглушённый под мостом отголоском ударов весел, плеском воды о каменные устои и грохотом от перебегавшей на другую сторону моста публики.

Плот вынырнул на другой стороне и прямо как стрела продолжал нестись. Гребцы бросили весла и смотрели назад, на народ.

Никита, весь сияющий, без шапки обернулся лицом к мосту и раскланивался.

— Молодец, счастливо, с прибытием! — кричали ему.

— Наляг, братеники, наляг! — опять загудело по реке и раскатилось под мостом.

Опять закланялись гребцы на концах плота, зрителям плот казался все короче и короче, солома на середине плота представлялась желтым, неясным пятном, а мужики и бабы потеряли человеческие формы и казались нагибавшимися очепами деревенского колодца.

Никита надел шапку и плотнее уперся багром в оголовок. Около плота мелькнули две-три небольших лодочки с гребцом и рулевым. Из лодок торчали багры, поленья дров, доски.

— Никита Семенов, мартышки-то мыряют! — крикнул молодой парень с оголовка плота Никите.

— У нас, Ваня, не разживутся полешком... Вороны проклятые, только и ждут, как бы плот разбило где... Чужим горем кормятся!..

— Дома по Дорогомилову-то понастроили!..

— Наляг, наляг, ребятки, канатиться скоро!

Направо перед плотовщиками раскрылась необозримая равнина Красного луга, на которой, как разбросанные кусочки зеркала, блестели оставшиеся от разлива лужи, и ряд таких же зеркал, прямых и длинных, словно обрезанных по мерке, в бороздах залитых огородов. За огородами тянулся ровный ряд куполообразных ветел, а еще дальше бурый кряж голой Поклонной горы. Вдоль берега стояли вереницы плотов с желтыми пятнами соломы и дымками костров, у которых грелись бабы в желтых, как соломенные кучи, армяках.

По берегу то к городу, то обратно к плотам сновали плотовщики, другие кучками стояли по лугу.

Некоторые кучки, круглые, делали странные движения: то поднимали вверх головы, то опускали их, то все вдруг, как по команде, наклонялись и садились на корточки, а затем опять вставали и опять смотрели в небо. «Избалован, ах избалован плотами народ, — думал Никита, глядя на берег. — А все из-за чего?.. Деньги, кажись, трудные, а вот не жаль... Вон они в орлянку-то играют. Ишь, головы-те задрали к небу, дождя просят. Круг-то человек тридцать. Кровные денежки проигрывают, проживают. И сам пропьешь... А все хозяева... Сейчас пригнали плот, не успеешь приканатиться хорошенько, ан хозяин с водкой, да нарочно стаканище-то норовит такой, чтобы руками не обхватить... Как не выпьешь? С мокрети да с устатку ихватишь... А как хватил — в глазах круги-круги пойдут, зеленые, желтые, красные, синие... Голова закружится — ну и пошло! Вот этот первый-то стакан отравы все наше горе и есть. А там и пошла и пошла! При расчете пьяного обочтут, в трактире тот хорош, другой лучше того, все тебя угощают, ты всех угощаешь, и деньги все! Мало того, по пьяному делу разуют-разденут люди-то добрые, да еще этапом домой ушлют: не путайся, безобразник, по городам, паши, скажут, свою полосу! А все отравы... И кажинный раз думаешь: ну ее к лысому, отраву-то — а как не выпить с устатку-то... обидится...»

Никита стоял, облокотившись на багор, смотрел на луг и бормотал.

— Дядя Никита, канатиться где будешь? — крикнули ему с оголовка.

Никита вздрогнул и огляделся.

— Вон пониже ветлы-то... Наляг, ребятки, наляг... Плот извивался и скрипел.

Иван отделился от гребцов и перешел на середину плота. Это был молодой, могучего сложения парень в одной рубахе, с расстегнутым, несмотря на свежую погоду, воротом, без шапки и босой. Он поднял толстую, с заостренным концом жердь, намотал на нее бечеву, остатки которой собрал кольцами на левую руку, и встал на край плота.

Гребцы усердно работали. Никита старательно то отводил багром, то притягивал к себе оголовки.

Плот приближался к берегу.

Еще несколько ударов весел, и он искривился. Его толкнуло снизу с такой силой, что все стоявшие на нем покачнулись.

Плотовщики бросили весла, схватили шесты и отталкивались ими от берега. Канатчик Иван с приколом в руках прыгнул в воду и окунулся до шеи. Двое других прыгнули за ним, и все трое быстро очутились на берегу.

Иван, распуская кольца бечевы по мере того, как от него удалялся плот, уносимый быстрым течением, старался всадить острый конец прикола в землю, но прикол вырывало из рук и тащило вместе с Иваном и мужиками, помогавшими ему.

Наконец удалось-таки всадить прикол и забить его чекмарем.²⁹ Плот остановился и стал извиваться, как змея, которой наступили на голову.

— Третью бечеву! Подтягивай третью...

— О-от так! Крепи ее! Крайнюю, проворней! — командовал Никита.

Веревки закреплены. Плот еще треснул раза три, заскрипели его канаты из березовых

²⁹ Чекмарь — деревянный молот

прутьев, и он остановился.

* * *

Плотовщики сошли на берег.

Их встретил толстый, как слон, хозяин и, не разгибая жирных, раздутых, как в водянке, пальцев, подал Никите руку.

— С прибытием! Блаапалушна?

— Слава богу... Без задоринки...

— Спасибо, Никитушка, спасибо... Сейчас с прибытием поздравим, а потом в трактир за расчетом.

— С прибытием-то и опосля, прежде бы рассчитаться, — нерешительно заговорил Никита, поглядывая на четвертную водки, стоявшую на земле.

— Опосля! Нешто это водится, что ты, Никита Семеныч, тебе хорошо, а...

— А другим-то плохо нешто? Перво-наперво расчет, а там всяк за свои выпьет...

— Ты сухой, а вон Ивану-то каково... — указал хозяин на дрожащего Ивана, с которого ручьями лила мутная вода.

— Ваня, намок!

— Бог намочил, бог и высушит! — щелкал зубами канатчик.

— А ведь изнутри-то лучше погреться... Мишутка, наливай!

Мишутка, пятнадцатилетний сын дровяника, взял четвертную и налил чайный стакан.

— Кушай, Никита Семеныч...

— Пусть вон Ванька пьет, — аппетитно сплевывая, ответил Никита.

— Пей ты, порядок требует того...

— Пей, не морозь человека-то, — слышалось между плотовщиками.

— Пушай пьет... Нешто я причина... Пей, отравись...

— Какая отравка... Што ты... Сам выпью... — Хозяин взял стакан и отпил половину.

— Кушай ты теперь! — подал он Никите, закусывая густо насоленным хлебом.

— Пей поскорей, дядя Никита... Холодно ведь! — нетерпеливо крикнул Иван.

— Посудина уж больно велика... захмелею, — отнекивался Никита.

— Ничего, с устатку-то!..

— Со свиданием!

Никита залпом проглотил стакан, отломил хлеба и отошел в сторону.

Угощение продолжалось. Сначала выпил канатчик Иван, а за ним и остальные, кроме баб. Их хозяин и упросить не мог.

— Да ты пригубь, сколько можешь, Маланья.

— Не неволь: и рот поганить не буду. О празднике, живы-здоровы будем, выпьем уж.

Никита стоял поодаль и смотрел.

— Отравка проклятая, тьфу, как с голодухи-то забирючило... Вон он, народ-от, от нее, как тараканы, сонные по лугу путаются, а все отравка...

Он опять посмотрел на хозяина.

— Брюхо-то отрастил... вот бы в канатчики его на путинку, на другую, небось, стряс бы жир-то, ежели бы по-Ванькиному побегал! — добродушно улыбнулся Никита.

Ему представилось, что хозяин бежит босой за плотом, как вчера Ванька под Старой Рузой бежал: стали канатиться, а прикол-то у него вырвало, и Ванька версты четыре босой по снегу да по заливам плот догонял. И сам Никита так же, как молод был, бегивал. Ловкий был, сильный. Канатчику надо быть сильным, а сгонщику умным, чтобы течение понимать и берег, где приканатиться, разуместь.

Картины прошлого одна за другой воскресали перед Никитой.

Посреди деревни стоит большая светлая изба с огородом, а за ним зеленые луга, желтые полосы ржи, березовая роща. От рощи двигается воз сена, двое ребятишек копошатся на возу, а лошадь ведет под уздцы рослый, краснощекий Васька, сын Никиты, а рядом с ним,

в красном сарафане, с граблями на плечах, идет такая же рослая и красивая мать Васьки.

Неделю назад, когда Никита сел на плоты, он видел только одну мать Васькину, старую, сердитую. Березовой рощицы давно уж нет, изба почернела, соломенная крыша до половины за зиму скормлена хромому бурке и комолой буренке.

Скучно теперь в избе! На лавке сидит старуха, прядет и думает: загулял мой запивоха!.. А допрежь весело в избе было. Особенно весной. Малыши на проталинке в бабки играют, Васька из города, из извоза приедет на праздник. А теперь одна старуха в избе. Ребятки нет. Маленьких съела деревня, большого — город. Махонькие померли: от горла один, потом другой от живота летом. А на что уж знахарка Марковна старалась отходить, и кирпичиком толченым с наговором поила, и маслицем от чудотворцев мазала — ничего не помогло.

Васька — этот в городе пропал. Сперва почетливый был, покорный. В легковых извозчиках ездил, домой рублей пятнадцать, а то и двадцать на праздники-то подавал, а потом запил, в острог угодил, а там и помер. Долго тогда Никита о Ваське плакал. О том плакал, что город Ваську съел. Жил бы в деревне себе, при земле, оженился бы, а захотел погулять-попить — на то праздник есть... Плоты опять... нешто дело плоты? Ими сыт не будешь, плоты только хозяевам хлеб, а мужику разоренье одно... Мало кто домой привезет заработок с путины, — все деньги в московских трактирах остаются, разве бабы только да какой уж каменный мужик супротив соблазна устоит... А прежде все лучше было, народ построже был, да и хозяева не спаивали. Зачем на плоты мужик идет, коли они разоренье одно? — спрашивал себя Никита. — Зачем он сам, знает, что плоты разоренье, а сорок лет ходит? А затем, что издавна заведено было отцами да дедами на плотях ходить, так и тянет. Чуть весна — вся деревня на плоты, как праздника ждет, натосковавшись за зиму-то. А тут хлеба нет, корму скотине не хватило, а хозяин-дровяник уже объезжает деревню и задатки раздает... Картины, одна за другой, пестрой панорамой проходили перед Никитой.

А по реке шли плоты один за другим и канатились у берега.

У одного плота порвалась бечева и стащила в воду бабу, другой пристал к чужому плоту, порвал канаты, и хозяин испорченного плота с рабочими избил до полусмерти неосторожного канатчика, а плот унесло дальше и посадило на мель. Около разбитого плота, как из воды, вынырнули десятки мальчишек на своих легких душегубках и переловили унесенные течением дрова...

Толпа золоторотцев из «Аржановской крепости» прошла мимо Никиты наниматься выгружать дрова.

Эта толпа резко отделялась от толпы плотовщиков. При взгляде на серые, похожие одна на другую мужицкие фигуры в рваных полушубках и понитках, в шапках с торчавшими ключьями кудели и глубокими, добродушными, слезящимися глазами на серых лицах Никите вспоминались такие же серые, однообразные, с клочками соломы на крышах, с глубокими слезящимися в прорезах соломенных завалинок окнами деревенские избы... Видно было что-то родственное между теми и другими, будто одни родили других.

Толпа оборванных, грязных, зловещих золоторотцев в остатках пальто, пиджаков, опорках напомнила Никите трущобы города, куда он как-то ходил разыскивать запутавшегося в них Ваську. Их мрачные земляные лица, их грязные облезлые фигуры напомнили Никите виденные им дома с разбитыми стеклами, с почерневшей, отвалившейся сырой штукатуркой, зловонные, шумные...

Толпа золоторотцев шла быстро... Впереди шагал с темно-бурым, лоснящимся лицом здоровяк в жилете из когда-то дорогого бархатного ковра, в форменной фуражке и опорках, привязанных веревками к оголенным по колено икрам. Остальная толпа с шумом шла за ним. За толпой, стараясь не отстать, торопился оборванец, высокий, худой, беловолосый, напоминавший всей фигурой тонконогий гриб, растущий в подвалах, и как раз сходство с этим грибом усиливала широкополая серая рваная шляпа.

Галденье толпы вывело Никиту из забытья, он осмотрелся кругом, встал и пошел в Дорогомиловский трактир за расчетом.

Дорогомилово гудело. По всей набережной, по лужам и грязи шлепали лаптями толпы

сплавщиков, с котомками за плечами, пьяные. Двое стариков, обнявшись, возились в луже и, не обращая внимания на это видимое неудобство положения, обнимали друг друга за шею мокрыми грязными руками и целовались. Над самой водой, на откосе берега, раскинув крестом руки, лежал навзничь пожилой рыжий мужик в одной рубахе и в лаптях; пьяный плотовщик продавал еврею полушубок, против чего сильно восставала баба, со слезами на глазах умолявшая мужа не продавать шубы, и вместо ответа получала на каждое слово толчок наотмашь локтем в грудь и ответ: «Не встревай, дура! Ты кто?! А?» Мимо Никиты продребезжала пролетка с поднятым верхом, из-под которого виднелись лишь четыре ноги в лаптях и синих онучах, и одна из этих ног упиралась в спину извозчика.

Около трактира толпы народа становились гуще, плотовщики перемешивались с золоторотцами. Корявый, с топорным лицом городской разговаривал с барином в шляпе и, указывая на толпу, презрительно говорил:

— Нешто люди? Необразованность, деревня...

Никита шел и то и дело встречал знакомых, с каждым останавливался, говорил. При входе в трактир ему встретился едва державшийся на ногах канатчик Иван,

— Ваня, жив? — окликнул его Никита.

— Ванька нигде не пропадет! — ответил тот и со всего размаха распластался на мостовой.

В трактире с низкими закопченными сводами пахло прелым полушубком и сивухой. Все столы, стулья, скамьи были заняты всклоченными мужиками в рубахах, пол завален сумками, столы заставлены чайной посудой, бутылками; стоял такой гомон от сотен голосов, стуканья посуды и звона медяков, что отдельных голосов нельзя было разобрать. Направо от входа за столом толстый хозяин раскладывал бумажные рубли, покрытые медяками, на кучки и отодвигал каждую кучку к окружающим стол плотовщикам.

Никита получил свою долю, и на столе появился чай» баранки и четверть вина...

Вечерело. Над рекой опустилась беловатая дымка тумана, заморосил мелкий, как из сита, скорее похожий на осенний, дождь. Половые в белых рубахах, бесцеремонно расталкивая охмелевшие, кудлатые головы, опущенные бессильно на стол посреди зала, становились между этими головами на колена, чиркали серные спички о широкие спины плотовщиков и зажигали лампы. Спичка, случайно, а может быть, из шалости брошенная половым, попала в рыжую курчавую голову, вспыхнуло несколько волосков, но обладатель головы провел по волосам заскорюзлой рукой, потушил пожар и, как не его дело, продолжал спать.

Никита, согнувшийся, обрюзглый, с затуманенными глазами, колотил кулаком по столу и ораторствовал:

— И ругается... Пуцай ругается... Бить нас мало... Бить мало.

— А ежели порядок такой? — возражает ему его толстый хозяин.

— Бить... За порядок и бить... Сорок годов хожу на плотах, ты еще мальчонком эконьким бегал, а теперь и пузо отрастил и...

— Благодать господня...

— Нет, ты ногу покажи...

Хозяин выставил чищенный сапог в высокой калоше.

— А это что? А? Оттого ты и пузо отрастил, от жадности... С того пятак, с того пятак — вот и пузо и нога... Нешто это нога хрестьянина... От жадности полтора сапога надето... — сказал Никита, указывая на сапоги с калошами.

— Кешка, брось! А ты выпей лучше... Хозяин налил стакан.

— Отравы-то?.. Вот кабы не эта отравы-то, так где бы ты полтора сапога взял? Сорок годов на плотах хожу, чугунки не было, по Можайке мы хаживали еще, ассигнациями получали и домой носили... А потому отравы не было и полтора сапога не видали...

Никита выпил залпом стакан и понюхал кусок кренделя.

— Бить нас надо за отравы-то... Вот бабы — во у кого учиться... Сердешная калачика

не купит, все домой несет, а отчего? Потому отравы не знает... Верно я говорю? — говорил Никита коснеющим языком.

— Верно.

Хозяин встал и пошел к буфету.

Никита выбросил на стол четыре рублевые бумажки и немного меди и крикнул:

— Вишь денег колько? Еще полуштоф — живо!

На стул, с которого встал хозяин, сел золоторотец.

— Друг, верно я говорю — бить надо.

— Верно, — соглашается тот, косясь на деньги.

— А коли верно, значит, выпьем...

— Угостите, коли милость будет...

— И угощу... Ежели я недели мокнул, ежели я свое дело справил, значит... Покажи ногу!

Золоторотец конфузливо выдвинул из-под стола рваный, грязный лапоть.

— Где полтора сапога... А? — Никита потянулся к ноге золоторотца, стараясь схватить ее руками, и упал под стол. Золоторотец бросил свою рваную шапку на стол, прикрыл ею рублевки, огляделся, взял шапку вместе с деньгами и исчез в дверь...

Воля покойного

Федот Ильич не был человеком с характером, как это казалось его окружающим, — он просто обладал упорством несокрушимым.

— Что заладил, тому и быть!

А заладил он после смерти своей жены, что духовного завещания никогда составлять не будет и что все его состояние должно перейти только законному наследнику.

— Воля моя непреклонна! — любил он повторять в беседах с друзьями.

С единственным сыном у него были не то лады, а не то нелады. Сын, многосемейный работник, ушел после женитьбы от отца и вел свое небольшое дело.

Между отцом и сыном стояли капиталы первого, но все-таки они взаимно любили друг друга. Как-то, последние дни, отец даже был у сына в гостях на даче и говорил:

— Вот рай истинный! — И ласкал внучат.

Одиноким жил он, видаясь изредка с двумя-тремя стариками, приятелями далекой юности, да окруженный разными бедными родственницами, а иногда проходимцами разных полетов, охотившимися за его капиталами, нажитыми упорным, честным трудом ремесленника и приумноженными старческой скупостью.

Но кремень был старик, деньги держал в бумагах, нисколько не интересовался последним падением курса, а видел только одну наличность: резал купоны и приобретал на них новые и новые бумаги, да еще радовался, что рента стала дешевле, а купоны все то же стоят. О будущем не думал, наличность ощущал, по привычке экономил до скарденности и не понимал, что у человека могут быть иные потребности.

— Квартирка тепленькая, одежда-обуша есть, на рюмочку хватает — чего еще?! Не биться, не колотиться и на поклон к людям не ходить!

Был у него в давние времена приятель — поп старый, его прихода, — да умер. Бессребреник поп!

А на его место поставили молодого, новой формации, обделистого, из ходовых, отца Евсея. Этот и попечительство, и церковные школы, обо всем старается и всеми способами. Так и мечется по приходу, особенно по богатеньким да по вдовам-старушкам.

Вечером ко вдове, утром ко владыке.

— Ваше преосвященство! Еще жертвовательницу боголюбивую нашел на благоустройство приюта вашего имени, дозволейте вам представить.

— Отрадно, отрадно. Что же, веди!

А от владыки ко вдове едет, и под широкополой шляпой волосы встают в ожидании, что на них скоро камилавка залиловает...

Долго он и за Федотом Ильичом неотступно ухаживал. Чувствует старик это приставание, а возразить не в силах, будто загипнотизирован.

— Владыка вас, любезнейший Федот Ильич, самолично желает видеть, наслышан, что искра божья теплится у вас в груди, и заглушать ее не следует... Года-то ваши, года-то...

Потом вскидывал руки к небу и начинал описывать прелести рая.

— Сколь прекрасен рай-то, сколь он великолепен! Благорастворение воздушных, блаженство праведных, плоды...

— А рябина растет там, в раю-то? — совершенно серьезно спросил его Федот Ильич как-то, и надолго прекратились разговоры о рае.

Засосал его поп! Чувствует старик, что сил нет избавиться от него, и даже уже не тем голосом начал повторять свое любимое:

— Моя воля непреклонна!..

А поп все пути в царство божье указывает, говорит о верблюде, который скорее пройдет в игольное ушко, чем богатый в царство небесное.

Федот Ильич даже нарочно ходил в зоологический сад посмотреть верблюда и попу об этом рассказал, а тот опять свое, и медаль на шею золотую примеривал, и о меню обеда у владыки рассказывал. Замучил старика.

Стал он пропадать из дома с утра, а вечером, если встретит его поп в переулке, прямо в трактир спасался, зная, что духовной особе туда идти не подобает.

Наконец извелся до того, что свой дом, насиженное гнездышко, наскоро продал и на другой конец города из своего прихода переехал.

А поп на другой день поздравить с новосельем препожаловал, пирог принес.

— Матушка испекла!

И рябиновки посудину из-под рясы вынул и на стол:

— Матушка настояла... два года для вас выдерживала! А там еще в запасе в чулане есть!..

Не устоял старик против любимой рябиновки! Сидят за графинчиком и беседуют.

— Семьдесят-то годков есть?

— Восемьдесят, батюшка, восемьдесят сегодня минуло!

— С днем рождения! Вот не знал, вот в какой счастливый день привел господь... Ну, помолимся...

И опять за рябиновку.

— Да, года большие... Все под богом ходим... А завещаньице-то есть?

— Зачем? У меня законный наследник есть... Сын...

— Так оно... Только нынешние, знаете, люди-то... О душе пещись надо... Рай-то, рай-то какой! Блаженство, плоды всякие, рябина-то во-о какая...

Старик сидел, клевал носом и шептал:

— Моя воля непреклонна... Рябина моя... я...

Каждый день то с пирожком, то с рыжичками...

Еще четверть принес...

Пришлось послать за доктором. Прописали лекарство, диету, ежедневную прогулку. В это время, отрезвившись, старик к сыну на дачу съездил денька на два. Приезжает домой, а письмо от попа на столе. Все о том же, да еще с прибавлением, что владыка хочет с ним познакомиться.

Не велел старик попа принимать, а он к нему с просвиркой пришел врасплох и черновичок духовного завещания набело переписанный принес.

Соловьем залетным пел ему священник; всю элоквенцию семинарскую в ход пустил, чокаясь стаканчиками до позднего вечера, и уговорил, наконец, на другой день к нотариусу...

А сам уж и домик подыскал для школы, и процент изрядный за продажу с

домовладельца выговорил.

Проснулся старик рано, с головной болью, одышка, глаза не смотрят. Приказал подать парадный сюртук, часы надел золотые, что делал только в самые торжественные дни, и сел за чай.

Налил из стакана в блюдечко, долго дул, сделал глоток, да и встал из-за стола. Вынул из кармана черновик завещания, развернул его, опять положил в карман и крикнул кухарку:

— Дай-ка пальто! Ежели кто спрашивать будет, скажи, к нотариусу пошел.

— Ладно, батюшка Федот Ильич, стелоть, к... как его?

— К нотари-у-су! — протянул старик.

— К мат... мат...

— Ну да, к мат... мат... молчи уж, скажи, что по делам ушел... Давай-ка новое пальто!

Оделся, стал застегиваться, да и закашлялся. Потом оправился, ощупал карман, посмотрел, тут ли бумага с завещанием, и начал надевать калоши.

Сапоги были новые, и калоши лезли плохо. Старался, кряхтел, топал, — наконец пришлось нагнуться, поправить калошу рукой. Нагнулся. Голова закружилась. В глазах потемнело.

У владельца дома для поминовений был обычай никогда не топить свои громадные палаты.

— Народом нагреется, ко второму блюду еще жарко будет! — говаривал он гостям.

— Да ведь ноги замерзли!

— А вы валеночки, валеночки надевайте... Эй, свицар, принеси-ка ихные калошки!..

И кто послушался хозяина, чувствовал себя прекрасно.

Еще за молчаливыми блинами со свежей икрой, вместе с постукиванием ножей о тарелки, слышался непрерывный топот, напоминавший, если закрыть глаза, не то бочарное заведение, не то конюшню с деревянным полом.

И наследник, поместившийся на почетном месте, против духовенства, усердно подливавший вино, изредка тоже притопывал.

— Во благовремени и при такой низкой температуре оно на пользу организму послужить должно! — басил, прикрывая, протодиакон, отправляя чайный стакан водки в свой губастый, огромный рот. Он заметно раскраснелся и весело развязал язык.

— А то давеча за закуской хозяин рюмочку с наперсток так наливает и говорит: «Отец протодиакон, пожалуйста с морозцу...» Это мне-то да наперсток!..

— Это верно-с, отец протодиакон, маловата для вас посудина одноногая.

— Конечно. Я и говорю ему: не протодиаконская эта посудина и не протодиакону из нее пить, а воробья причащать!.. Ну, и, конечно, стаканчик... Пожалуйста-ка сюда вон эту мадерцу.

— А вот покойный рябиновочку обожал... Помянем душу усопшего рябиновочкой... Отец Евсей, пожалуйста по единой! — предложил церковный староста, друг покойного.

— Нет, уж я вот кагорцу... Я не любитель этой настойки. Виноградное — оно легче... — И чокнулся с наследником. А потом потянулся через стол к нему, сделал руки рупором и зашептал:

— Воля покойного была насчет постройки церковноприходской школы и приюта для церковнослужителей... Завещаньице уж было готово, и я избран душеприказчиком. Вы изволили ознакомиться с завещаньицем?

— Да, читал... Не угодно ли рябиновочки? Позвольте налить?

— Я кагорцу.

— А я вот рябиновочки. Она лучше, натуральнее, и притом наша русская, отец Евсей.

— Не любитель я... Виноградное больше... У владыки всегда виноградное за трапезой, я и приобык...

— А ведь рябиновочку тоже вы, Маланья кухарка мне сказывала, любили с отцом пить...

— Конечно, попивал, но так, для компании... а я виноградное.

— Вот лисабончику пожалуйте.

Когда обносили кисель, топот прекратился, резкое чоканье стаканов прорезало глухой шум трехсот голосов, изредка покрываемых раскатистым хохотом протодиакона, а отец Евсей под шумок старался овладеть вниманием наследника и сладко пел ему о пользе церковноприходских школ и святой обязанности неукоснительного исполнения воли покойного.

Прислушивался незаметно к этим речам церковный староста, и умный старик посматривал на наследника, которого еще ребенком на руках носил и с которым дружил и до последнего времени.

— Так как же-с, что изволите сказать на мои слова, Иван Федотович: благожелательно вам будет исполнить волю вашего батюшки?.. Конечно, можно за это через владыку удостоиться и почетного звания, и даже ордена...

«Тут не пообедаешь!» — улыбнулся про себя церковный староста.

— А вы бы рябиновочки, отец Евсей... Давайте-ка по рюмочке... Помянем отца!..

— Я бы хереску...

— Нет, уж сделайте одолжение, рябиновочки со мной выпьем.

— Ежели уж такова ваша воля, — наливайте!

Выпили.

И опять ладони рупором, и опять разговор. Отец Евсей раскраснелся от выпитого, глаза его горели, голос звучал требовательно.

Наследник молчал и крутил ус.

— Ну-с, так позвольте узнать решительный ответ: угодно вам исполнить волю...

Но он не договорил.

Задвигались стулья. Протодиакон провозглашал вечную память.

— Ве-е-ечная па-а-мьть... Ве-е-еч-на-я па-а...

— Еще раз и последний беспокою вас, благоволите ответить, — нагнулся через стол отец Евсей.

— Извольте... Мы с моим покойным отцом относительно церковноприходских школ совершенно разных воззрений, и полученное мною по закону наследство я употреблю по своему усмотрению.

— Позвольте, — а воля покойного? Ведь ваш батюшка имел уже в кармане черновик духовного завещания и скончался, как вам известно, скоропостижно, надевая уже калоши, от разрыва сердца...

— Да... да... К сожалению, я знаю...

— И конечно, исполните волю вашего батюшки для успокоения его души?

— Я вам говорил уже, что на этот предмет я совершенно другого взгляда и на церковноприходские школы не дам ни копейки.

— То есть, как же это?..

— Да так, ни ко-пей-ки! Считаю наш разговор оконченным. А теперь помолимся.

— Ве-ечная память... ве-ечная память... — гремело по зале.

Отец Евсей сверкнул глазами и, сделав молитвенное лицо, начал подтягивать протодиакону.

— Однако! — сорвалось у него на половине недопетой им ноты.

И еще раз повторил он:

— Однако!

Железная горячка

Иностранцы лезут в Россию с громадными капиталами!

— Бельгийцы уже главные хозяева на юге России!

Только и разговора слышно в последнее время. Особенно напирают на бельгийцев, указывая, что все лучшие рудники и железоделательные заводы у них в руках по всему

Приднепровью. Я как-то ехал на юг, где хотел ближе познакомиться с этим интересным вопросом. До Харькова не слыхал ни слова, зато от Харькова в поезде только и слышно: руда, каменный уголь, шурфовка, разведки, бельгийцы.

Рядом со мной занимают купе четыре француза, болтающие всю дорогу. Купе по другую сторону занято двумя англичанами, которые все время молча курят сигары и читают гид. Ко мне в Харькове подсели три дельца, совершившие только что крупное дело по покупке руды. Разговор высокой пробы: ниже сотни тысяч цифра не упоминается. Это наши южане. Весьма развитые, ловкие люди.

Один из них раза три упоминает имя Дрейфуса.

— Ну, думаю, наконец-то, из всего мира хоть Дрейфус заинтересовал.

Но и тут разочарование: речь шла у них о крупной местной, хлебной фирме этого имени. Дальше местных интересов они не шли. Здесь все так!

Наконец, проехали Синельникове: 7 часов вечера. Поезд отвратительный, вагон *mixte* набивается битком.

Бельгийцы слезают в Нижне-Днепровске. Их встречает с поцелуями партия бельгийцев: объятия, неумолкаемое сорочье стрекотанье. Франты-иностранцы стремглав влетают в вагон, вырывают у сторожей чемоданы приехавших и выносят. Приехали, должно быть, тузы.

А Нижне-Днепровск, несколько лет тому назад пустырь — теперь громадная станция, окруженная на несколько верст всевозможными заводами. Здесь заводы вагоностроительный, эстампный, трубопрокатный, механический и другие. Громадные здания, электричество. И все до одного завода, весь этот громадный и драгоценный город, выросший, как в волшебной сказке, — все принадлежит иностранцам, и все создано только ими.

— Да это что! Вот вы посмотрите Кривой Рог! Вот где дела! — шепнул мне спутник-южанин, а два другие утвердительно моргнули.

В Екатеринославе я пробыл сутки. Это прекрасный город на Днепре, растущий не по дням, а по часам за последние 10–12 лет. Главный проспект, тянувшийся прямой линией, может поспорить с лучшими улицами мировых столиц. Широкий, прорезанный вдоль двумя лентами бульваров и двумя линиями рельсов электрического трамвая, охватившего и весь город, и часть окрестностей, проспект оканчивается на горе, громадным Потемкинским садом, висящим на берегу Днепра. В саду — дворец Потемкина, в котором а *propos*, светлейший никогда и не бывал.

Близ сада, на площади, памятник Екатерине II.

Но зато, если свернуть с главного проспекта, — улицы в большинстве грязные, целые кварталы, кишашие людьми, от которых уже по причинам историческим чистоты ждать нельзя.

Чтобы избежать этого, — нужно вести двор в чистоте. А это обязанность домовладельца и дворника. За грязные кварталы нельзя обвинять живущих в них: грязь — это их привычка, приобретенная столетиями. Только какой-нибудь форс-мажор, в смысле внешних санитарных безобразий, заставляет власть принимать меры, которые, впрочем, исполняются недолго.

Это относится не к одному Екатеринославу, городу, который наскоро, на живую нитку, шьется... Здесь живут, и только строятся с лихорадочной поспешностью. Здесь все спешит урвать, нажить или сделать крупное, серьезное дело.

Из русских немногие рискнули: я лично знаю только двоих: д-ра Калачевского и г. Копылова, в короткое время наживших состояния громадные. Остальные — иностранцы: они сеют, не жалея, и жнут сторицею, не стесняясь.

В Кривом Роге ими поставлен памятник, хоть не мудрый, а все-таки памятник: бюст на кварцитной скале Александру Николаевичу Полю.

Esse homo!

Он умер, но если я пишу настоящие строки, ради которых очутился в Екатеринославе,

так только потому, что он жил.

Поэтому же растет Екатеринослав, поэтому же самому теперь кипит здесь подземная горячка вокруг него, поэтому неудержимо плывут отсюда русские денежки за границу, поэтому — все здесь, что я вижу теперь.

А кто виноват?

А. Н. Поль, местный помещик, в 1872 году первый открыл в Дубовой Балке и Кривом Роге богатые залежи руды. Сунулся он в правительственные сферы, привез образцы, нарисовал ярко и верно подтвердившуюся теперь воочию картину богатств края — но там отбили у него возможность даже говорить.

Обратился Поль к русским капиталистам, лукаво смеются:

— Не объегоришь, брат! Сами травленные, сами, ежели что, объегорить норовим, на этом стоим!

Все деньги, все состояние ухлопал А. Н. Поль в это дело и очутился с миллионом долга. Несмотря на свою фамилию, чисто русский человек, степной помещик-украинец, со слезами на глазах, поехал во Францию, показал образцы руд, привез французских инженеров... Посмотрели французы, рискнули громадными деньгами и сняли у крестьян Кривого Рога в аренду на 99 лет все неудобные земли!

И долго смеялись криворожские мужики, как они иностранцев объегорили, сдав им за 300 рублей в аренду неудобную, никуда не годную землю...

Теперь весело смеются иностранцы, отправляя за границу громадные мешки с русским золотом, благо его и менять теперь не надо...

А Поль, кроме того, разыскал горный лен, аспид.

Гранаты и горный лен забылись. И несмотря на великую заслугу, А. Н. Поль не выдержал этой ужасной жизни, этого вечного кипения, и скончался в один из июньских дней, за чайным столом. Никто не ждал внезапной смерти Александра Николаевича, кроме, может быть, его самого... И все его жалеют, и жалеют также, что не послушались его, упустили миллионы умным и смелым иностранцам! Ругают дети своих экономных родителей-капиталистов за то, что они наверняка, отрезая купоны, не хотели рискнуть частью капитала и не удержали предлагаемые им, Полем, богатства. Грызут локти помещики, променявшие счастье на мелочь, понадобившуюся сгоряча...

А иностранцы богатеют, добывая богатства из недр бывшего Запорожья!..

Но отрадно, что и крестьяне хотя Кривого Рога тоже разбогатели.

Кривой Рог — это Калифорния в первые годы открытия золота. Только здешнее золото — черное золото.

Поехал я из Екатеринослава в эту Калифорнию с поездом, отходящим в 4 часа дня. Третий класс — битком: едет много рабочих — главным образом, орловских — копать руду в Кривом Роге. Второй класс — тоже битком. Едут французы 2-го разбора и маклера. В первом классе тесно: французы 1-го разбора, за теснотой, с билетами 2-го класса, два горных инженера, я и мой спутник.

В третьем классе — радужные надежды на заработок восьми гривен в день. Во втором гудит какой-то рой пчел: 1-й пласт, 5-й пласт, кварцит 70%, кварцит 60%, пять тысяч в разведку, 2 копейки попудно, двадцать миллионов в год, сто тысяч за усадьбы... Термины у всех одни и те же, только меняются цифры. И все это спорит, кричит... Некоторые таинственно шепчутся или рассматривают у тусклого фонаря куски руды — пробы. И все врут друг другу.

В первом классе — все молчат. Долго молчат, будто у каждого хранится великая тайна! Станции через три понемногу начинают перебрасываться словами. У всех говорящих нерусский акцент. Лучше всех говорит по-русски управляющий рудником, красивый француз, шесть лет живущий в России... Разговор понемногу делается общим. Оказывается, что все друг друга отлично знают, каждый знает подробно дела каждого, и каждый знает все, что знают все. Так изучены местные интересы. Но разговор все-таки не клеится: тема исчерпана; о старом все знают, а кой-что новое каждый бережет для себя и боится

проговориться; слышатся только намеки. Я сам уже вошел в колею и слушаю, не упомянут ли о тех местностях, которые интересуют меня, но слава богу, молчат. Может быть, хранят в тайне? — думается мне, и я с замиранием сердца слежу за разговором. Но, как оказалось после, никто действительно не знал ничего, положительно никто... Смелее всех беседовал француз, человек не заинтересованный в добычах новых рудоносных местностей, довольный своим директорским содержанием. Он, не стесняясь, открывает тайны новых залежей, и каждое его слово коробит слушателей. Однако ему не отвечали, его не расспрашивали, из боязни раскрытия тайн, и разговор не клеился. Зато, когда перешла тема на горное управление, — беседа закипела. Особенно распинаялся один инженер. — Здесь Калифорния, в Кривом Роге. Здесь, в этой подземной горячке, надо надзор серьезный, твердая рука. Здесь, во главе нужен Стенька Разин в инженерном мундире, а не божьи коровки и мотыльки!

Далее, между прочим, он чудно охарактеризовал одного горного начальника, на самом деле милого, честного и доброго человека.

— Слишком деликатен-с, не по месту! Настолько боится сделать кому-либо неприятность, что, — поверьте мне, — когда он умрет, его понесут на кладбище, то он, пожалуй, встанет, сконфуженно извинится и скажет: — Я затруднил вас, господа? Пожалуйста, не извольте беспокоиться... Я лучше сам до могилки дойду!

И ранее, и теперь, и после этого разговора в вагоне мне много пришлось беседовать о южном горном управлении, и действительно все существующее далеко не то, чего требуют настоящие условия. Здесь кругом кипит жизнь как в котле, и начальство должно кипеть вместе. Здесь нельзя быть вялым в этом общем вихре. А действующих лиц мало! Даже в самом страшном центре кипения, каков Кривой Рог, — нет отдельного горного начальника с серьезными полномочиями: власть должна быть на месте, и она должна знать все, все делать сразу, без канцелярских переписок и откладываний под сукно. Горное управление Южной России находится в Екатеринославе и делится на 5 округов, в состав которых входит 9 губерний. В Кривом Роге добывается около 200.000.000 пудов и не имеется ни одного постоянно живущего представителя горного надзора: окружной инженер (Кривой Рог, Херсонской губ., Одесского округа), — человек весьма деятельный, но живет в Одессе, и у него масса дела. Не разорваться же ему! А в Кривом Роге надзор необходим. Здесь до 20.000 жителей, прибывающих сюда ежедневно, здесь масса взрывчатых материалов, в том числе ужасного динамита, производящего столько бед и несчастий, здесь масса несчастных случаев, большинство которых умело замалчивается, здесь масса дел, возникающих недоразумений, которые нужно решать здесь же на месте, безотлагательно, а не посредством злополучных бумаг, ничего и нигде особенно в живом деле, кроме несчастий, не приносящих. Южногорное управление должно быть образцом самостоятельной энергии, а не передаточной инстанцией бумаг горного департамента, не канцелярией, куда приходят покурить и поскушать от «энтих до энтих». Здесь сама кипучая жизнь требует кипучей деятельности всюду. Таков Кривой Рог, центр железной горячки.

Преступление

Это было в излюбленной дачной местности близ столицы. Я приехал суток на двое пожить к моим хорошим знакомым, давно уже обитающим в этой прекрасной местности.

Семья состояла из пожилого чиновника, его жены, добродушнейшей Анфисы Ивановны, двух сыновей, служивших на телеграфе, и трех дочерей, из которых старшая, Анна Васильевна, недавно овдовела, а остальные кончили гимназию и мечтали о «совместной работе, рука об руку с любимым человеком».

Все три были хороши собой, а лучше всех вдова, впрочем, довольно скучноватая, достаточно нервная и слишком уж преданная памяти мужа.

Я всех помнил еще детьми и прежде частенько бывал у них, живя в одном городе. Но последние годы моя жизнь сложилась так, что я редко заглядывал в северную столицу и редко видал симпатичную мне семью Раевых. Но я всегда и всюду помнил о них, в силу

многих незабвенных минут, проведенных в дни самой первой юности в этой семье, и знал, что и они все интересуются мной, следя по газетам, где я и что я делаю.

Их дача стояла в густом липовом парке, шагах в тридцати от дороги, так что с террасы можно было видеть проезжающих, а с дороги — всю семью, обыкновенно заседавшую на террасе.

Случай, о котором я говорю, был на второй день моего приезда. Вечер мы провели, катаясь на пруде, и все возвращались веселой гурьбой домой ужинать.

Старики тоже плелись сзади, поотстав от молодежи. Ночь была темная, и с трудом глаза различали белую полосу липовой аллеи, по которой мы шли. Направо, вдали, показался огонек нашей дачи.

Терраса ярко освещена, накрыт стол, освещенный большой висячей лампой.

Вдруг перед террасой мелькнула тень и обрисовалась на белой скатерти стола и стене. Какой-то человек вскочил, схватил что-то со стола и бросился бежать.

Шедшая со мной под руку вдова, единственная из всего общества, увидела это, прижалась ко мне и испуганно шепнула:

— Видели? Кто это?

— Идите и молчите, я узнаю!

И, вырвавшись от ее руки, я бросился в калитку сада, пересек дорогу, белевшую между деревьями, и настиг фигуру. Я рассмотрел человека высокого роста, в пиджаке, картузе и высоких сапогах. В тот момент, когда он, не видя меня, подбежал ко мне, я схватил его за грудь и прижал к забору.

— Стой, что украл?

Он совершенно растерялся, опустив руки.

Я чувствовал, как несчастный весь дрожит под моей рукой. В это время остальные уже подошли и окружили нас.

— Вор! Вор! Вора поймали... — заговорили все.

— Что ты украл? — продолжал я допрос.

— Ради бога, извините, я проездом между поездами... Буфет закрыт. Вижу стол на террасе накрыт... Стоят бутылки... Никого нет, а я с похмелья. Подбегаю, схватил бутылку и больше ничего. Ничего!.. Помилуйте, там серебро лежало. Я ремесленник, имел заработок. Наконец, есть деньги, билет. Вот бутылка. Простите, Христа ради!

Он вынул из бокового кармана бутылку красного вина и передал мне.

Я осмотрел карманы. Ничего больше не оказалось.

— На, возьми бутылку и ступай! — сказал я ему. Он повалился в ноги со слезами на глазах и стал благодарить, бормоча:

— Я — не вор... С похмелья только бутылку... Выпить захотелось.

— Так отпустить?! Покровительствовать вору! В полицию! В стан! Эй, сторож, сторож! — закричали все в один голос.

Несмотря на то, что все эти собравшиеся вокруг «преступника» люди сами по себе были людьми добрыми, способными проникнуться глубоким состраданием к мухе, которую душит паук, — теперь в голосе каждого из них слышалось какое-то озлобление. Все словно ослеплены были животной боязнью за свой покой, за свою собственность и не хотели видеть жалкой фигуры пойманного, его приниженной забитости.

Несчастливого передали подоспевшим сторожам, которые и повели его. Я вышел на террасу. Сели за стол. Разговор не вязался. Дамы были на стороне вдовы. Только одна гимназистка, сестренка, перепуганная происшествием, мило смотрела на меня влажными глазами.

— И вы, Анна Васильевна, спокойно кушаете, отправив человека в полицию, отдав его ни за что под суд? — сорвалось у меня с языка.

— Значит, по-вашему, прощать воров?! Разводить этих разбойников, чтобы нас перерезали!

— Ничего подобного! Я вовсе не говорю о прощении воров и преступников; я говорю,

что в данном случае человека несчастного не следует губить.

— Вы либеральничаете на чужой счет... Я улыбнулся.

— Простите, именно на свой собственный. Едва ли кто-нибудь из вас всех бросился бы в темный парк ловить вора; ведь он мог быть вооружен. Я имел несчастье это сделать. Теперь раскаиваюсь. Вы меня, Анна Васильевна, хотели оскорбить, но я не оскорбился. Я сам раз в жизни в таком положении был. Позвольте рассказать?

Глаза всех обратились на меня.

— Пожалуй, рассказывайте, — лениво сказала Анна Васильевна, но в глазах загорелось любопытство.

— Дело было так. Как вам известно, я был несколько лет рабочим и жил, как все рабочие-зимогоры. — Что такое зимогоры? — Само слово показывает: зимой горюют. И действительно, летом работы для нас вдоволь, а зимой или на белильный завод идти себя отравлять, или сидеть в трактире впроголодь, раздетому, разутому, ждать одиннадцати часов, когда выгонят, иногда в тридцать градусов мороза, в одних опорках и рваном зипуне на голом теле. Хорошо, если есть пятак на ночлег, — заплатишь, ляжешь на грязный пол, вытянешься и уснешь. А утром опять в трактир, ждать, пока вечером выгонят. Иногда работа набегала — дрова выкладывать из вагонов, а великим постом лед на Волге колоть. Я раз провалился сквозь лед и пешню упустил. Насилу вытащили меня, а пешня так и пропала. Три дня отработал за нее. Ну вот и сижу я раз в трактире. Дело было после рождества. На улице больше тридцати градусов, а на мне опорки на босу ногу. Вот и одиннадцать часов. Вытолкали нас. Холод, на ночлег денег нет, должен за неделю, и приходиться съемщик не велел. Товарищи ушли. Стою я один у дверей, дрожу, не знаю, куда идти. Трактир на углу переулка.

Вдруг мимо меня промчался человек с каким-то узлом и исчез во тьме, а вслед за ним городской и еще двое, которые сразу схватили меня с криками и повалили. Я ударился головой о камень и потерял сознание. Очнулся на полу в грязном квартале, рядом с пьяным человеком. Тускло горел ночник. На столе лежал кусок хлеба. Голова болела, совершенно пустой желудок. Решетка не доходила до потолка, я перелез и взял хлеб и, стоя, с жадностью начал есть. Тут только и сообразил, что произошло со мной, как меня поймали, понял, что я, благодаря ошибке, могу пропасть, погибнуть. Я осмотрелся. Городской на скамье и пьяный за решеткой удивительно в тон храпели.

Я притворил дверь на улицу — храп продолжался. Я вышел, тихо затворив за собой дверь, и пошел по пустой улице.

Ударили к заутрене. Я вошел в слабо освещенную церковь и простоял до утра, молясь от всей души. Я был спасен, как оказалось потом, от каторги. В рыночном трактире только и было разговора о побеге арестанта из квартала, что арестант этот был пойман за ограбление женщины, которая на извозчике везла узел с платьем. Впоследствии, дня через два, весь трактир знал грабителя, беглого сибиряка, который пропивал деньги, вырученные от продажи на базаре двух женских шуб. Знали об этом все, кроме полиции.

Вскоре после этого случая я написал отцу, чтобы он мне выслал денег, и, получив сто рублей, оделся и уехал домой, бросив изучать трущобный мир, который чуть меня не погубил.

Едва я успел окончить свой рассказ, как послышались быстрые шаги в саду. Кто-то бежал к нам. Дамы испугались. К террасе подбежал сторож.

— Господин, помогите... выручите. Человек-то, которого вы отправили, убежал от нас и зубы мне разбил.

— Убежал... Не поймали?

— Нет, как есть убежал!

— Ну, слава богу, — вырвалось у Анны Васильевны.

Сторожа дали на чай, пообещали не жаловаться, что он упустил арестанта.

Впоследствии другой сторож сознался, что сторожа отпустили пойманного, не находя его виновным и выпив вместе бутылку лафита.

— Уж и кислятина, чего только пьют господа. И воровать-то не стоило, — оправдывался перед дворником сторож.

Час «на дне»

Посмотрев пьесу Горького, я вздумал вчера подновить впечатление.

Был сырой, туманный вечер.

Особенно ужасны такие туманные, сырые вечера в ночлежных домах, битком набитых бродячим народом, вернувшимся кто с поденщины, кто «с фарта» в мокрой обуви и сыром платье. Все это прееет, дает удушливый пар — дышать нечем!

И вот я в центре Хитровки, в доме Кулакова с его рядом флигелей на обширном дворе, напоминающем двор 3-го акта пьесы Горького.

Спускаюсь вниз, в подвальный коридор-катакомбу среднего флигеля.

Направо и налево крепкие двери с обозначением номеров и количества ночлежников.

Общие камеры.

Отворяю дверь.

Сквозь туман видны разметавшиеся фигуры, нары по обеим сторонам с расположившимися ночлежниками и уходящие вглубь высокие, крутые своды, напоминающие тюрьмы инквизиции.

Точь-в-точь такие же, какие видел я накануне на сцене Художественного театра.

Только здесь они чище: выбелены начисто.

Совсем не то, что я видел здесь лет 20 тому назад, когда этот дом принадлежал Ромейко.

Тогда вот была трущоба!

Освещенные теперь, коридоры тогда были полны непроглядного мрака, изломанные лестницы носили на себе следы крови...

Из того времени мне вспомнился случай в этом доме, пришедший мне на память во время третьего акта «На дне», когда Васька Пепел убил мужа Василисы.

Я был тогда репортером и, собирая материал, часто бывал на Хитровке. Я сидел в трактире «Каторга» в доме Ярошенко.

В «Каторгу» вошел оборванец и громко заявил:

— В Ромейкином доме кого-то... пришили... за приставом побежали.

Тогда несколько человек поторопились рассчитаться с половыми и вышли.

Первый выбежал сидевший ко мне спиной рыжий здоровяк с нахлобученной шапкой, из-под которой все-таки просвечивала кожа, на одной стороне головы не успевшая еще обрасти волосами.

— Беги уж, зеленые ноги, я отдам! — улыбнулась его дама сердца и выбросила на стол трешницу.

Я стремглав бросился в дом Ромейко.

В квартире второго этажа, куда я насилу пробился сквозь толпу в коридоре, окруженный ночлежниками, лежал в луже крови человек в одной рубашке, лицом книзу. Под левой лопаткой торчал нож, всаженный до рукоятки. Никогда и не видел таких ножей: из тела торчала большая, красной меди, ручка причудливой формы.

Убитый был «кот». Скрывшийся убийца — мститель за женщину. Его так и не нашли.

Пока я собирал нужные для газеты сведения, явился пристав с околоточным, осмотрел труп и приступил к составлению протокола.

Когда я во время дознания подошел вместе с приставом к трупу — ножа уже не было.

— Где нож? Нож где? — засуетилась полиция.

— Я сам его видел! Сам! — горячился покойный г. Севенард, вообще хладнокровный, опытный полицейский.

После немалых поисков нож нашелся: его во время суматохи успел вытащить пьянчужка портной и заложил за полбутылки в соседнем кабаке.

Ужасен был дом Ромейко в то время и ужасен был весь Хитров рынок с его трущобами невообразимыми, по сравнению с которыми его современные ночлежки — салоны!

Теперь вокруг громадной Хитровской площади разбросаны чайные лавки с чайной попечительства трезвости во главе — а тогда в домах, окружающих площадь, были три трактира с меткими названиями, придуманными обитателями трущоб.

Сброд и рабочий люд собирались в «Пересыльном»; нищие и мелкие воры — в «Сибири», а беглые, разбойники и «коты» со своими сюжетами — в «Каторге».

Последняя помещалась в доме Ярошенко, в нижнем этаже, где сейчас находятся чайная и закусовая.

— Бог приведи увидиться в «Каторге»! — прощались арестанты в московской пересыльной тюрьме. И это не была шутка — это назначалось свидание в трактире «Каторга», этой бирже беглых арестантов.

В «Каторге» сыщики узнавали о появлении в Москве беглых из Сибири и уже после выслеживали их логово. В «Каторге», за этими столиками, покрытыми тряпками, обсуждались планы краж и разбоев, в «Каторге» «тырбанили слом» и пропивали после дележа добычу вместе с «тетками».

Счастливым вора, успевшим «сторговать» и швыряющим награбленные и наворованные деньги, «коты» приводили своих «сюжетов» и вместе с последними обирали воров.

«Котов» особенно много бывало в «Каторге», да масса их на Хитровке и теперь.

Это или разудалые «Иваны», поработившие своих слабохарактерных возлюбленных, или злополучные типы, вроде облезлого барона, которых держат «так, для чучелы», более энергичные «дамы», удовлетворяющие этим и свое самолюбие, сознавая, что и хуже их люди есть.

— Как червяк в яблоке живешь! — говорила Настя своему Барону.

А Барон пускал ее в оборот и позорно существовал на счет несчастнейшего существа? Чего ему еще?

А вот и обратно.

В 1885 году в Павловской больнице умерла княжна Т-ева.

В первый раз я ее встретил в «Каторге».

«Котом» у нее был пьяница-певчий, бывший несчастную, если она ему приносила мало денег на игру в карты...

В то время княжна, вечно пьяная и избитая, уже потеряла облик человеческий.

Я обратил на нее внимание в «Каторге», когда она, совершенно пьяная, плакала и произносила целые монологи на французском языке с чисто парижским выговором...

Рубикон человеческий она уже перешла и принадлежала бесповоротно трущобе...

Так и умерла, несчастная, привезенная в Москву соблазненным ее франтом и по обычным ступеням опустившаяся на дно болота, в засасывающий, зловонный ил, откуда нет возврата...

Ужасен был тогда Хитров рынок!

Теперь не то. И кабаков нет, и трактиры закрыты, и «кубические футы» воздуха соблюдаются, все выбелено, вычищено, освещено, и обходы полицейские часты.

Ужасная вещь эти обходы!

Измученные, усталые за день на поденщине или голодные, не добывшие ничего, люди кое-как разлягутся на нарах, и под нарами, и наслаждаются единственным своим счастьем — сном...

И вдруг — облава.

Сотни полицейских окружают ночлежные дома, становятся у выходов квартир, смотрят паспорта, делают перекличку.

Целая бессонная, тревожная ночь...

А какой ужас для тех, у кого нет паспортов!

Если вовремя явится «стрема», крикнет кто-нибудь предупреждающее о полиции

условное «двадцать шесть»!

Беспаспортные выскакивают на улицу, на двор, лезут по обледенелым водосточным трубам на крышу, где все время обхода, в надежде спастись, лежат, прижавшись к трубе, на покрытой снегом крыше, ежеминутно рискуя упасть и разбиться вдребезги...

Но полиция знает, что если люди лезут на крышу, то имеют на это основательные причины...

— Эй, голуби, слетайте вниз! — раздается энергичное приказание, и гимнастика с риском пропадает даром...

И в ночь на вчерашнее число, как раз в тот момент, когда мы смотрели «На дне» в Художественном театре, с крыш домов Хитрова рынка снимали «голубей»...

В эту ночь был обход, результатом которого был арест почти тысячи беспаспортных бездомников.

Всю ночь работала полиция, разводя этих полуголодных, полураздетых по участкам и направляя толпы иногородних беспаспортников в пересыльную тюрьму, для рассылки по месту приписки.

Удостоверенные московские мещане и ремесленники явятся на другой же день на Хитров рынок, а остальные из своих губерний вернутся сюда же, через день, два, смотря по расстоянию...

Многие отправлены в работный дом, откуда тоже многие немедленно вернутся в ночлежки...

И так без конца!

В числе забираемых облавой масса административно высланных, которым запрещено жить в столичных губерниях. Большинство из этих выбирается ближайшая к Москве губерния, особенно Зарайский уезд.

Заберут десяток таких субъектов, отправят в пересыльную тюрьму, препроводят оттуда этапом в Зарайск, явятся они в Зарайске в полицию.

— Пришли? — спросят.

— Пришли! — ответят. Запишут их в полиции и скажут!

— Ступайте!

Глухой, злополучный городишко этот Зарайск. Копейки в нем заработать нельзя.

И в перспективе у высланных или умереть с голоду, так как работы нет, или замерзнуть в снегу, так как ночевать негде, то и направляются они снова в Москву, на свой Хитров рынок.

А в Москве можно и украсть, и «пострелять» милостыньку, и ночевать в ночлежке...

Куда им больше деваться? Что делать? Паспорта у них волчьи: ни тебе квартиры, ни тебе ночлега!..

Зимой — ночлежный дом, кража и милостыня...

А летом — «заячьи номера» в лесу: каждый кустик ночевать пустит...

Или новое преступление, чтобы снова судиться, судиться до тех пор, пока, наконец, не сошлют в каторгу...

А там надежда на побег...

И при счастливом случае опять трущобы Хитрова рынка!..

Но есть там и постоянные жители, чувствующие себя как дома.

Это люди, имеющие при себе кусок спасительной бумажки, называемой — паспорт...

Я помню, тоже лет двадцать назад, в доме Буниных, на Хитровом рынке, в подвальной квартире, трущобе ужаснейшей, жил старик, его звали, и сам он себя звал, поручик Соломка. Он благодетельствовал, делая паспорта, и за каждый паспорт у него была такса, а именно: плакат — 3 рубля, вечность (вечный паспорт) — 4 рубля, а с заслугами и орденами — 5 рублей. Так все и знали цену, и покупателей было не мало! Есть «Соломки», конечно, и теперь. Без Соломок Хитровке нельзя. Но раньше все было открыто. Теперь время «хитрее» и труднее.

Безопаснее всех, конечно, на Хитровом рынке нищим: и документы в порядке, и

полиции известны, и ни на какое преступление не пойдут, да и незачем. Заработок хороший! Утром на паперти, днем — по купечеству, а к вечеру дома гуляют.

Просящие же по вечерам — это уже неудачники, которые ничего не зашибли днем.

Да еще безопасно живут симпатичные труженики — переписчики пьес и ролей для театральных библиотек и антрепренеров.

Тяжелый труд — и всегда экстренный. Принесут вечером пьесу, чтоб к утру были роли расписаны.

Вокруг немудрого стола с закоптевшей лампой садятся переписчики и строчат, не отрываясь, день и ночь.

Вчера мы посетили и переписчиков. Давно они живут все в одном и том же номере дома Ярошенко, в третьем этаже, в отдельной каморке при ночлежном доме. Мы застали их за экстренною работой: какую-то пьесу расписывают. Копеек по сорок за всю ночь заработают на человека. А утром снарядят одного из своих, кто обует, кто оденет, кто шайку даст — с миру по нитке — и отправят к заказчику с работой и за деньгами.

Прокормятся ими, пока кто еще работы не даст.

Плата — 50 копеек с акта, за переписку всех ролей. Театр, который так заступается за младшего брата, так его и эксплуатирует! Какая ирония...

Здесь я встретил старого знакомого К., писавшего кой-какие статейки в журналах.

Яко наг, яко благ!

— Откуда?

— Только что вернулся. Уходил из Москвы, побывал в Малороссии, прошел в Тифлис, в Баку, затем перебрался в Одессу, а оттуда — билет градоначальник дал — вернулся в свою родную Белокаменную, и вот, как видите!..

Увидал я тут и старика грибника с женой, старого знакомого. Давно живет на Хитровом, зимой поденщиной занимается, а летом — за грибами ходит.

— Бьюсь, — говорит, — бьюсь! Прямо голодаем! Работы недостает, снегу мало — в неделю только два дня работать приходится... Вот вчера пятиалтынный во весь день заработал, — кормись с женой чем хочешь... Как до лета дотянуть, не знаю!

— Ну, а летом?

— Господи! Летом?.. А за ягодками, за грибками... Тепло, зелень, птички поют!.. И не говорите... Долго еще... Доживем ли!

А сам чуть не плачет.

И все эти люди на дне, бесповоротно на дне. И выхода им нет.

Затягивает это дно, эта густая тина, эта атмосфера трущобы, эта голодная и холодная «воля».

Эти люди, не ужившиеся с условиями жизни, эти несчастные, загнанные сюда обстоятельствами, приживаются здесь.

Здесь воля, независимость друг от друга, полная равноправность всех платящих свой пятак за ночлег делает трущобу терпимой.

А потом и привычка.

Если такой человек уже отрущобился — его ничем не вытянешь со дна.

И с хорошего места уйдет, а не то, что сбежит из непривлекательного рабочего дома.

А после вчерашней облавы рабочий дом сильно переполнится.

Все забранные на Хитровке женщины делятся строго только на две части: одна идет в больницу, другая — рабочий дом.

А там заработок... три копейки в день за мытье полов, а пятак — за стирку.

И хлебом хоть и отвратительно, но кормят — только воли нет.

Посмотрел бы я Настю, из пьесы Горького, в рабочем доме!

Или Сатина.

Или Барона...

Первые двое, наверно бы, бежали.

А последний скорей бы других ужился там, метя мостовые и вспоминая кареты с

гербами предков.

Правое дело

Великолепны Балканы! Чудно хороши их заоблачные выси! Десять верст поднимаешься тропкой, и все величественнее открываются картины перед очарованным взором. Верхом на малорослом горном коне, цепляющемся своими выработанными на кремнистых кручах копытами, молча поднимаешься вверх, созерцая чудные картины богатой горной природы...

Никто не мешает восторгаться поразительными видами даже в тот момент, когда, балансируя на узком карнизе отвесной кручи, чувствуешь одной ногой каменную скалу, к которой осторожно жметесь лошадь, а другая нога висит над черной бездонной пропастью, откуда едва-едва доносится прерывающийся шум каскадов горного потока.

А там, под тобой, громадный орел, сорвавшийся со скалы, кажется тебе свою бурую спину, могучие распластанные крылья и старается подняться...

Вот он пропал в кусочке облака и через него выплыл из белого тумана, могучий, величественный, сравнялся с тобой и пошел кверху, к небу...

А ты поднимаешься еще выше, прорезаешь облако, дрожа от сырости, и, наконец, облако под тобой.

Горизонт открылся. Там, внизу, чудная необъятная долина с разбросанными селами и садами, а с другой стороны — цепь гор.

Те самые горы, которые казались великанами, когда поднимался на них, теперь кажутся где-то далеко-далеко внизу, как и те долины, — только все будто изрыто, будто под тобой необъятная рельефная карта с белыми пятнами облаков, заснувших в ущельях.

И гонит ветер облака из ущелья в ущелье, прижимает их к отвесам, поднимает кверху...

И летят они, белые, дальше, дальше, до тех пор летят, пока не растают в горном воздухе под лучами солнца или не соберутся в грозную, темную тучу...

Хороши Балканы!

Земной рай балканские долины! Они — вечная причина войн и раздоров. С незапамятных времен переходили они от народов к народам. Их виноградники и розы выращены на крови человеческой, на горах костей. И долго из-за этих красавиц еще будет литься кровь, до тех пор, пока любовь не победит злобы и зависти...

И теперь в очаровательной и многострадальной Македонии христианская кровь смешивается с кровью мусульманской...

Крест и полумесяц враждуют между собой... А рядом, на севере, в Болгарии, где любовь победила злобу мусульман, там счастье и свобода!

Северные богатыри спасли своих южных братьев, и южные македонцы ждут своих спасителей с севера, и рвутся северные братья на защиту своих соплеменников. Но еще время не пришло...

Пограничные горы, разделяющие счастье и несчастье, свободу и рабство, строго охраняются...

И видят горные заоблачные орлы зоркими очами на своих излюбленных гранитных скалах вооруженных людей, и знают орлы, что им будет добыча.

Недаром стоят часовые... Недаром блестит оружие...

Петко сменил часового и остался один посередине горной дорожки, извивавшейся по ущелью. Он стоял как на высшей точке дорожки на границе: вниз, к северу, — Болгария, вниз, к югу, — Македония.

Он стоял, опершись на дуло ружья обеими руками, и думал. Ночь была темная, тихая, каждый шорох слышен. Упал камешек сверху и запрыгал в пропасть. Часовой вздрогнул, но сразу успокоил себя. «Черепашка, должно быть, столкнула... или змея... А может быть, и скатился...»

И опять тишина.

Далеко-далеко внизу едва слышно журчал ручеек, и Петко к нему прислушивался, как к единственному живому звуку, и думал о своем доме.

Там, на севере, его родина... Милая, теплая Долина роз. Что-то поделявает его жена Еленка? Прядет, должно быть... А дед, столетовский дружинник, рассказывает про былое. И сколько дед знал да видел! Еще маленький Петко заслушивался его рассказов... Бабушка всегда плакала, слушая его, а иногда и сама рассказывала. Говорила, как турки пришли к ним В хату, как убили ее мать, изрубили отца и голову его на кол перед окнами воткнули, а маленького братишку и сестренку, которую она нянчила, в колодце утопили... «А там и не знаю, что было в эту ночь... Помню только, что утром нашла меня соседка в винограднике. Я долго-долго не могла поправиться... Вся избитая, измученная лежала в хате, а потом дед пришел, вернулся с резни с турками...»

И тут начал рассказывать дед, как он на Дунае был, как в Враце в Ботевской дружине дрался с турками, как его ранили и в плен взяли. Видел он в плену, как товарищей юнаков мучили, языки вырезывали, глаза выкалывали, уши отрубали, из кожи тела ремни выкраивали... Сотни раз видел он эти муки... И ему было бы то же, да случай спас.

Рассказывал дед, как он ушел.

— И между турками тоже добрые люди были.

Давно, давно это было. Дед еще женат не был. Тогда тоже напали на деревню турки, но только их юнаки прогнали. А на другой день пошел дед в горы и слышит — кто-то стонет в пропасти. Спустился. Лежит молодой турок. На лице кровь запеклась. Один глаз вытек, а другой смотрит злобно.

— Убей меня скорей, гяур собака! — хрипит турок.

— Убить просит себя! — рассказывает дед. — Да жалко мне его стало. Тоже человек ведь, да еще от ран мучается. Может, у него отец, мать, а то и детки малые есть. И так-то мне его жаль стало. Лежит — не шевелится, на губах кровь запеклась, а сам ругается:

— Болгар собака!

Оружие на нем дорогое, одежда тоже. Ну, спустился я к ручью, набрал воды в баклагу, подошел к раненому, напоил его и давай лицо отмывать. Ожил он. И глаз Добрее смотрит. Слеза блеснула... А другой глаз не глядит — вытек весь...

Закурит дед и продолжает:

— Раздел я его. Изорвал свою рубаху, промыл и перевязал раны. Опасных не было. Только камни изорвали да оглушило падение. Успокоился мой турок.

— Алла ак бар, э-валла! — молится по-своему и благодарит.

И всегда в это время у деда слеза блеснет.

— Пошел я наверх, позвал своих болгар, рассказал им всю историю. Взяли мы носилки и перенесли раненого в мою хату. Двадцать дней он пролежал у нас. Потом, когда совсем выздоровел, всех благодарил и ушел. Красивый такой, сильный, только глаза не было, да на лбу поперек шрам кровавый остался. И подарил он мне при прощании вот этот нож и ятаган.

— Ты спас Осман-Бея! — сказал, прощаясь, турок. И дед всегда в это время показывал нож с серебряной отделкой. А ятаган у него в плену отняли.

— Так и пропал ятаганище! Ну да вот этот, другой, получше.

И рассказывал дальше:

— В плену, когда я поправился, повели и меня на казнь. Еще со мной было двое наших. Поставили среди войска. А командует войском турок в золоте и орденах. Подъехал он к нам и смотрит. На гнедом коне, высокий, стройный, правого глаза нет, а на лбу шрам. Знакомое лицо. Смотрю на него да как крикну:

— Осман-Бей!

Посмотрел он мне в лицо своим одним глазом и приказал солдатам провести меня к себе, а сам повернул коня и поскакал. Привели меня к палатке, втокнули в нее, а сами ушли.

Посреди палатки Осман-Бей стоит.

— Здравствуй, друг! Не забуду никогда, как ты спас меня! Помню я твою хату, твою

семью, как ходили за мной, лечили меня. Много я за вашу ласку ко мне спас болгар от смерти...

Долго мы говорили.

А тем временем он приказал привести к палатке моих двух товарищей.

— Где мой ятаган? — спросил меня Осман-Бей. — Твои отняли, когда в плен брали.

— Ну вот тебе другой! Этот получше будет. Береги его на память обо мне. А теперь бери своих товарищей и

ступай домой. Аллах велик. Он велит платить добром за добро.

Обнял меня Осман-Бей, дал мне кошелёк с золотом и велел проводить своей страже до границы.

И помнил Петко этот огромный ятаган с серебром и бирюзой. С этим ятаганом дед на Шипке у Столетова дрался, и сказал он, указывая на ятаган, отцу.

— Стоян! Это твой ятаган, а отдам тебе его, когда будет это надо.

По росту и по руке был отцу этот ятаган! Отец высокий, сухой, мускулистый, ловкий и смелый, как тигр. Еще одного только такого человека знал Петко — это дядю из Македонии, которого раз в жизни видел и не забудет никогда: одно лицо, одна фигура с отцом, только еще сильнее и суровее.

Дядя еще после войны исчез из дома и жил то в Македонии, то в Софии; звали его Михалю.

Знает Петко, что оба еще почти детьми, и отец и дядя, дрались с турками и добывали, рискуя каждую минуту, воду для солдат на шипкинских позициях.

Матери у Петко не было — она умерла вскоре после его рождения.

Отец очень редко бывал дома. Воспитывали Петко дед и бабка. Женился он два года назад, и год назад его взяли в солдаты.

Оставалось служить только восемь месяцев.

Он побывал уже на больших маневрах на Шипке, отстреливался с грозных заоблачных скал самого Орлиного гнезда, о котором столько слышал от своего деда.

Петко стрелял, окутанный холодными облаками, холостыми патронами, а воображал себя таким героем, как отец и дед его, отбивавшие здесь двадцать пять лет тому назад отчаянные атаки сулеймановских заклятников.

И в тот миг он, готовый идти на штурм, лезть под пули, в простоте души был уверен, что их сейчас поведут в Македонию — воевать с туркой, и был полон радужной мечты защищать своих братьев.

И не он один так думал.

По вечерам, после маневров, так думали и старики, а отец прямо говорил дружинникам:

— Пойти бы теперь постоять за несчастных братьев... А тут вот напрасно порох тратят... И все это политика да дипломатия...

И усачи-дружинники слушали его со сверкающими глазами.

Потом кончились маневры, и полк их прямо отправили на границу.

Не то что домой отпустили, повидать семью, а и с отцом проститься не пришлось! Ночью двинули и форсированным маршем через дикие горы повели. А за горами-то и есть эта самая Македония, о которой отец так часто говорил, особенно, когда возвращался из своих долгих отлучек.

Где отец иногда проводил целые месяцы, никто не знал. А приходил всегда измученным, оборванным, но всегда приносил с собой дорогое турецкое оружие. А два года назад пришел больной — все рану на ноге перевязывал. С месяц хворал...

Так никто и не знал, где бывал отец. А к нему иногда ездили важные люди, ученые. Тогда всех выгоняли из хаты, оставался только один дед с ними. Про что говорили, тоже никто не знал. А когда уходили гости, и отец уходил с ними.

Бабушка плакала, а дедушка успокаивал ее, говоря:

— Правое дело Стоян делает, правое дело... А какое правое дело, Петко так и не знал.

Дядю он только раз и видел. Весь в серебре да золоте приходил к ним, когда еще Петко маленьким был, а потом больше и не видались.

Раз только отец рассказывал — мастер был отец рассказывать, только редко разговорчив был... Рассказывал отец, вернувшись из долгой отлучки в прошлом году, как где-то с дядей ходил и натерпелся страху...

— Да, — говорил отец, — ничего никогда не боялся, а тут — старость, что ли, приходит, — кручи испугался. Боялся идти! Я, выросший на заоблачных скалах, перетрусил, как баба... Нас только было двое — я и дядя...

И помнил Петко весь рассказ отцовский почти что от слова до слова.

— Быстро мы шли. Горы становились все выше. Наконец и подъем. Перед нами бурая стена, верхняя часть которой обвита облаком.

Стена, облако и с обеих сторон узкого гребня, на который мы вошли, бездонные пропасти.

Дядя Михалю усилил еще шаг, махнул мне рукой, прося не отставать, и начал подниматься кверху, шагая и подпрыгивая с нечеловеческой быстротой с камня на камень.

Внизу, под нами, по той дороге, где шли, слышался топот лошадей.

То скакали, то ехали рысью. Оглянулся я на ходу вниз и увидел вдали всадника на вороной лошади. На нем был надет башлык, и за плечами блеснуло Дуло ружья... А дядя лез. Камни и земля из-под ног сыпались на меня, попадали под ноги.

Он поднимался вверх, как кошка, все усиливая шаги, и не оглядывался. Только кое-где махал мне рукой.

Чувствую, что задыхаюсь. Ноги отказываются служить, особенно болит правая, раненая.

А дядя все шагает, все лезет.

Вот уже обрывки облаков белеют над нами. Белые кусочки дыма затягивают ущелья... Гора отсырела... Нога скользит. Сердце колотится усиленно... Чувствую, что вишу над пропастью, и боюсь в нее взглянуть, а глаза невольно опускаются вниз.

Впереди голая скала стены, на верху которой шагает дядя.

«Нет, не могу дальше! Брошу дядю... Ночую где-нибудь внизу, а на другой день пойду долинами. И зачем — думаю, — я пошел за ним? Зачем?» А Михалю уже вверху, скрывается в облаках... Его быстро убегающая фигура белеет в тумане, все гуще окутываясь им.

А внизу — там смерть...

Повис над пропастью, прижавшись правым боком к скале, и чувствую, в первый раз в жизни чувствую, что тянет в бездну, в эту черную, бездонную, зияющую пропасть.

Молчаливая, мертвая, темная могила.

Тянет против желания, но тянет неудержимо,

Страшная усталость, дышать нечем, тошнит, виски бьются... В этом висячем положении дальше быть невозможно. Не хватает сил ухватиться за торчащий каменный выступ и через него пробраться на узкий желтый карнизик-тропку, образовавшийся в скале.

А дядя Михалю бегом пробежал по этой полуаршинной дорожке.

— Э-эй, сюда! — слышится из-за облаков его голос. Открыл запекшиеся губы, хотел крикнуть ему в ответ, а звуков нет...

И в то же время слышится топот копыт внизу и резкий голос.

— Собака гяур!

И грохот выстрела, и свист пули над головой, и воет эта пуля дальше в облаках. Эхо ущелья повторяет десятки раз грохот выстрела. Будто горы рушатся!

Опять новый выстрел, другой, третий... Ущелье грохочет, и одна пуля тычется в землю у самого лица, рикошетирует и свистит в облаках...

— Эге-гей! — весело кричит в облаках дядя.

— Эге-гей! — кричу я в ответ и, забыв все, и усталость, и зияющую бездну, смело прыгаю на каменный уступ, момент балансирую на нем и вишу половиной тела над пропастью и снова шагаю по козьей тропинке, конец которой скрывается в облаках. Еще

несколько шагов — и облако скрыло черноту бездны, а холод, сырой холод заставляет дрожать вспотевшее во время бега тело...

А дядя сидит на выступе скалы, свесивши в пропасть ноги в знак полного к ней презрения, и заряжает винтовку. Я сел рядом с ним... Кругом свистели пули и грохотали выстрелы...

Петко теперь тоже стоял на краю пропасти, но ему уже не было страшно. Он больше боялся дороги, по которой могли идти люди, а он должен был не пропускать их.

Он помнил приказание капитана. А капитан сердитый. Все, даже офицеры, не любят его еще за то, что он учился и жил в Вене, воспитывался на немецкий манер и хоть носил имя болгарское, а болгар и за людей не считал.

А наказ он давал такой:

— Ни туда, ни сюда — никого не пропускать, кто бы ни шел. Гнать назад или представлять ко мне, а не будут слушаться, — стрелять в ослушников.

А вчера на этом же самом месте из Македонии шли беглецы — старик и женщина с двумя детьми... Оборваные, голодные... Они жаловались, что их селение сожгли турки, всех жителей перерезали и только они успели скрыться в лесу, избежали смерти и пробирались к нам, в Болгарию. Часовой пожалел и пропустил их. А капитан увидел, приказал сменить часового и бросить в подземную тюрьму, которую нарочно приказал вырыть. Говорят, часового расстреляют завтра... Семью беглецов переловили, и капитан прогнал их назад... Как плакали, несчастные!.. Офицеры просили капитана пропустить, но он был неумолим и закричал на офицеров...

Несчастные ушли в слезах обратно.

«Если сейчас они вернутся, что делать?» — задал себе вопрос Петко и вспомнил рассказы бабушки о турецких зверствах. И решил, что пропустил бы несчастных, а там пусть расстреливают. Женщин и детей с македонской стороны пропустил бы: от смерти и муки бегут. А вот с своей стороны мужчин, особенно же вооруженных, не пустил бы. И если бы стали идти насильно, выстрелил бы в них, потому, куда не приказано, не ходи, на то дисциплина!

А почему не приказано, он не знал. Стало быть, начальство про то знает...

«Политика... дипломатия, — блеснули в памяти слова отца. — Да еще дисциплина». И думал он:

«Какие такие эти политика и дипломатия, которые придумали дисциплину, чтобы за своих родных не позволять заступиться, а турки пусть неповинных людей режут?»

И решил: «Швабы придумали это».

Он напрягал весь свой ум, чтобы разобраться в этих вопросах.

Отца бы спросить, он ученый, все знает. А этих несчастных я пропустил бы».

— Приказано не пускать.

— А не пустить — турки их замучают.

— Приказано — значит, нельзя.

— А дети малые за что погибают? Чем младенцы виноваты?

— Приказано — нельзя! Приказано — не рассуждать!

— А если несчастные не послушают, пойдут спасать свою жизнь, — приказано стрелять... убивать? И это приказал начальник, капитан, и я должен слушаться, потому — дисциплина.

Политика... дипломатия... дисциплина... Вот оно все откуда! Недаром отец не любил этих слов.

Турки вот тоже убивают... Им тоже приказано... Им муллы приказывают, сам слышал: «Чем больше убьешь гяуров, тем блаженнее в раю Магомета будешь... Аллах велит гяуров бить...»

И сам же говорит: «Аллах создал всех людей...» Создал и велит бить свое создание...

— Муллы велят, творя его волю: и бить и мучить.

— А мой дед и отец били турок за то, что они мучили наших. А командир приказывает

убивать наших, которые переходят границу. Оттуда идут — от смерти спастись. Туда идут — спастись от смерти братьев, драться с турками за них.

Когда дед и отец дрались с турками, им дали кресты и медали. У дедушки — комитская медаль. Отец ее целовал — вот какая медаль! А получил ее дедушка за то, что еще до войны с турками дрался, когда сам комитом был... А теперь в комитов стрелять велят...

Ум Петко положительно разметался...

Вдали на юге показалось зарево.

«Турки палят», — подумал Петко и долго смотрел на зарево, пока оно не погасло. Потом он смотрел на звездное синее-синее небо и слушал внизу отдалённое журчанье ручья...

Холодно было. Близо утро. Можно уже слегка различать предметы... Небо белеет, и звезды меркнут и сливаются с небом. Только одна утренняя звезда поразительно ярко блестит и как-то в один миг делается совсем маленькой и блестит еще ярче. Вдали к юго-востоку облака начали краснеть, переходя вверх сначала в темно-багровый, а потом в свинцовый цвет, и, наконец, слились с небом.

Все меньше-меньше Утренняя звезда. Она как-то прячется. Будто стыдно ей... Будто стыдно и облакам за эту ночь, стыдно, что они скрывали от неба то, что творится там, за горами, где сейчас было зарево, красивое, как кровь невинных, пропитавшая там землю.

И покраснели облака, чувствуя издали появление солнца, которое все увидит и в наказание растопит облака.

А звезда, молчаливая звезда, чувствуя приближение солнца, побледнела...

А луны в эту ночь не было. Ее умирающий серп показался над горами и бессильно спрятался...

Кругом бело.

Вдруг из-за хребта вырвался и блеснул солнечный луч, сначала один, а потом целый золотой сноп, и заиграл на порозовевших вершинах и сразу засеребрил и зазолотил их до самого темного подножия, черневшего там, глубоко, под часовым.

Потянул по ущелью свежий ветерок... Сразу, быстро поднялось солнце, и засиял бриллиантами весь хребет с цепью вершин самых причудливых форм... Ожили горы.

Снизу слышались шаги... Петко обернулся к северу и стал прислушиваться...

А ветер, рвавшийся вдоль ущелья, с силой урагана свистал в расщелинах и шелестел деревьями... Шаги все слышнее. Петко волновался и осмотрел винтовку...

Все, что передумал он ночью, опять с быстротой молнии промелькнуло в голове...

— Кто же это? С нашей стороны... Комиты, должно быть...

И вдруг из-за каменной скалы, на узкой тропинке, еще окутанной облаком, заснувшим в ущелье, появились одна за другой человеческие фигуры... Сквозь туман облака трудно было рассмотреть их.

— Стой, кто идет? — торопливо окликнул Петко.

— Свой! — получился энергичный ответ. Голос показался часовому знакомым.

— Вернись назад! Молчат. Идут.

Он рассмотрел вооруженных людей.

— Ште стрелям! — кричит Петко.

— Б'лгарин си? — спросил Петка тот же энергичный голос.

— Б'лгарин сме!

— А если болгарин, так знай, что идут свои комиты, борцы за свободу наших братьев...

По тропинке один за другим шло много людей. Впереди шел, весь в золоте и оружии, высокий усач-македонец. С ним рядом шел...

— Отец! Дядя Михалю!.. — крикнул часовой и остолбенел.

— Петко, здравствуй! — в один голос крикнули дядя и отец; последний подошел и поцеловал его.

— Ну вот и хорошо, что ты здесь: еще комита у нас есть! — сказал дядя, стискивая руку Петка.

Петко стоял и ничего не понимал...

— Стой... Нельзя идти... Дисциплина... Стрелять буду, — бормотал он, как во сне.

Дядя тем временем взял у него ружье, схватил его под руку и повлек за собой по тропинке, по той самой тропинке, по которой вчера пришли старик и женщина с детьми...

Петко ничего не сознавал и не понимал, что ему говорили отец и дядя.

На отце он увидел дорогой дедушкин ятаган, и на сердце у него стало хорошо: он верил отцу и дяде, и только теперь понял, что он идет на правое дело — спасти братьев.

Смерть актера (Памяти М. Н. Акимова)

Тучки небесные, вечные странники!..

Лермонтов.

Так и умер в пути, вечный странник!

Из Баку он приехал в Москву, подписал контракт на семьсот рублей в месяц во Владивостоке — и перед отъездом умер.

Молодой, талантливый, с первых шагов на сцене на ролях простаков стал известностью, а последние годы, перейдя на типичные роли, шествовал в славе.

И умер.

Внезапно, или от разрыва сердца, или от кровоизлияния в мозг, как часто умирают представители нервной деятельности нервного века, люди, живущие нервами и сердцем.

В своем номере, среди ролей, пьес, венков и подарков, напоминавших его успехи, рисовавших дальнейшую славу на пути его любимого дела — сцены.

Умер внезапно, неожиданно, и только тридцати восьми лет...

Его вдова, задыхаясь от слез, мне говорила:

— Сразу как-то... И ведь совершенно здоров был... Ходил по комнате. Вдруг остановился, схватился за лоб, пожаловался на головокружение, — да так комочком свернулся и упал... Сразу без чувств... Явился доктор... Банки поставили — кровь нейдет... И доктор констатировал смерть от кровоизлияния в мозг...

Эта внезапная смерть поразила бедную женщину.

* * *

Вечные странники!

И после смерти не было покоя человеку!

Отель, этот ящик, разделенный перегородками, взволновался.

Соседи по коридору, удовлетворив свое любопытство, забежали, засуетились, послышался озлобленный шепот:

— Это что же такое! Покойник в номерах на ночь! Разве это допустимо? Убрать его, убрать! — шипели жилицы.

— Конечно, вон отсюда, сию же минуту вон! — вторили жилицы.

Услужливые кавалеры побежали к хозяину.

Остальные шушукались в коридоре и у своих полуотворенных дверей.

Незнакомые — перезнакомились.

А из номера покойного слышался сдержанный, горький плач.

Часы били девять.

Явилась полиция. Еще доктор. Составили протокол. Покойного раздели, завернули в простыню и собрались уже нести в часовню полицейского дома.

Слезной просьбы вдовы, не знавшей законов и положений, как и все мы, — не уважили.

Едва-едва она выпросила позволение не так, в простыне, тащить тело в полицейскую

часовню, а положить его в гроб.

А жильцы в коридоре ходили и шипели.

Принесли гроб. Положили. Отнесли в часовню. Перезнакомившиеся жильцы говорили, говорили долго.

Так шумит муравейник долго еще после того, как случайный прохожий наступит на него и уйдет.

Он уже далеко, а муравейник шумит.

Это старое здание, целомудренно пожарного стиля, помнящее еще нашествие Наполеона с двенадцати языками. Желтое, промозглое, типичное городское здание.

Город мало заботится о своих полицейских зданиях — и внутренний, задний двор этого дома — руины.

Не чистые, благородные руины заброшенного замка — а руины жилья, населенного людьми и лошадьми, которым здесь и тесно и душно.

Особенно характерен в этом отношении задний двор.

И на другой день артисты и артистки, товарищи покойного, пришли сюда поклониться его праху.

Изящные дамы, одетые по последней моде, прошли по первому, более благообразному двору, скрылись под мрачной аркой, ведущей на задний двор, прошли мимо кучи грязной соломы, еще мимо кучи, мимо желтого облезлого здания каталажки с железными решетками в тусклых окнах, мимо конюшен, в самую глубь заднего двора, где приютилось крошечное здание часовни, обыкновенно занятой поднятыми на улицах и «неизвестно кому принадлежащими трупами».

На этот раз, положительно на счастье близких людей, в часовне стоял только один гроб — их товарища по сцене.

Обмыли покойного, одели, возложили венок.

Пришел батюшка.

Горячо молились за панихидой артисты. Эти вечные странники особенно понимали, особенно чувствовали своим сердцем такую смерть, такую обстановку.

Задний двор. Полицейская часовня. И лавровые венки.

А на другой день отпевание в соседней церкви.

Родные — южане не оставили в Москве тело покойного, они решили увезти его домой.

С севера дальнего в сторону южную.

«Ничего»

Я беседовал с известным Клофачем, моим старым добрым знакомым по Балканскому полуострову. Он только что вернулся с войны и зашел ко мне поделиться впечатлениями. Много интересного порассказал мне этот талантливый чешский публицист, европейски образованный человек. Более всего его поразило в русском лагере одно слово:

«Ничего»,

— Это — удивительное слово, и в нем непоколебимая сила русская.

— После боя под Хайченом я шел пешком среди отступающих солдат, — рассказывает он. — Жара — 53 градуса, воды ни капли целый день. Солдаты едва передвигают ноги, томясь от жажды под жгучими лучами, а шутки между ними не прекращаются.

— Устали? — спрашиваю я то там, то тут, желая их ободрить.

— Ничего! — отвечают они, ласково улыбаясь, и продолжают идти.

Перегоняю раненого. На одной ноге сапог, на другой — окровавленная тряпка. Он опирается на палку и ковыляет. На плече — винтовка.

— Что? Ранен?

— Пуля сквозь...

— Больно, трудно идти?... Доктора не позвать ли?

— Ничего!

И тащится, едва передвигаясь.

На носилках, под Хайченом, несут раненого. Он — землисто-черный. Глаза затуманены. С ним рядом винтовка, — он ее держит. Надо сказать, что и раненые солдаты, как я наблюдал, никогда не расстаются с ружьем. Носилки остановились. Я подошел к нему, спрашиваю о здоровье и получаю в ответ шепотом одно слово:

— Ничего.

А у него страшная рана осколком гранаты в ноги и в живот. Мне рассказывали несшие его санитары, что он не хотел выпустить из рук винтовки, а все просил только доставить ему сапоги, которые остались на позиции.

И всюду, везде я слышал это удивительное русское слово:

— Ничего!

— Вот и ваш В. И. Немирович-Данченко, в китайском сером шелковом костюме, в белой английской шляпе, всегда везде впереди стоит на вершине сопки, делает заметки в свою книжку, а кругом рвутся гранаты, жужжат пули. Ему кричат снизу: «Василий Иванович, опасно, уходите!», — а он продолжает писать, отмахнется рукой и отвечает:

— Ничего!..

Когда японцы наступали к Ляояну, я, в разговоре с одним из крупных генералов, волнуясь, говорил:

— Ведь Ляоян, пожалуй, японцы возьмут. Ведь это очень нехорошо для нас.

И получил, с милой, спокойной улыбкой, знакомый ответ:

— Ничего!

И теперь, когда Ляоян взят и это нисколько не повредило плану кампании, я понял смысл ответа генерала, его покойную улыбку и это удивительное:

— Ничего!

Да, это великое слово, в нем неколебимость России, в нем могучая сила русского народа, испытавшего и вынесшего больше, чем всякий другой народ. Просмотрите историю, начиная с татарского ига, припомните, что вынесла Россия, что вытерпел народ русский, — и чем больше было испытаний, тем более крепла и развивалась страна. Только могучему организму — все нипочем! — Ничего! Вытерпим! — говорят и теперь.

Слабый будет плакать, жаловаться и гибнуть там-, где сильный покойно скажет:

— Ничего!

Бисмарк когда-то на охоте в России вывалил в лужу ямщик. Когда Бисмарк на него закричал, извозчик успокоительно ответил ему:

— Ничего.

Это слово так понравилось «железному канцлеру», что он во многих случаях повторял его и даже носил железный перстень с надписью:

— Ничего.

— Скажите, Клофач, трудно вам досталась эта поездка? Страшно было под выстрелами? Голодно на позициях? Утомились нервы? — спросил я его.

И он мне ответил совершенно искренне, и видно было, что другого слова не мог даже подыскать:

— Ничего!

Тайна одного привидения

Московские спириты не на шутку взволнованы известиями о таинственных явлениях в имении Федора Ивановича Шаляпина, находящемся недалеко от Ростова-Ярославского.

Собираются, заседают, разговаривают и выбрали комиссию медиумов, собирающихся на днях отправиться на место таинственного происшествия, которое, как они надеются, прольет свет на неведомые горизонты загробного мира и обогатит спиритическую литературу новым, ярким фактом, о чем уже сообщено в заграничные кружки спиритов с предложением прибыть на место и лично проверить неведомое. В бульварных московских

газетах уже появилось об этом известие, произведшее сенсацию. Его перепечатали в Петербурге.

Во вторник встречаю художника Константина Алексеевича Коровина.

— Еду, брат, сегодня прокатиться на север, устал! — сказал он мне.

— Чудеса творил с Шаляпиным? Это, действительно, дело нелегкое!

— А ты догадался?

— Конечно. Теперь такими чудесами разве только черносотенца полуграмотного удивишь или сумасшедшего спирита...

— А ведь напечатали же! Да еще сколько разговору везде — спириты ликуют!

— Кто же, Шаляпин отличился?

— Шаляпин. А ловко сделано! В числе гостей у не-

го был один спирит. Мы и задумали подшутить. Начали говорить о привидениях, распустили слух, что на соседнем кургане ровно в полночь появляется привидение-» женщина в белом, создали целую легенду; один из местных жителей, Иван, наговорил ему ужасов, — и пошло дело! Этой тайной окружили только одного спирита. В темную ночь мы все отправились к кургану и невдалеке сели. Ждем, шутим:

— Какие там привидения! Ерунда!

Только Шаляпин серьезничает и говорит, что он верит. Решили подождать полночи и потом уходить. А сами внаем, что ровно в полночь привидение появится, и заранее сговорились, что будем делать. Первым делом при появлении его все должны отказываться, что мы ничего не видим, и опровергать спирита, который должен его видеть один.

Вот и полночь. На вершине кургана засинелся огонек. Это Иван, которому поручена была роль привидения, зажег кусочки сухого спирта.

— Смотрите, синий огонь! — испуганно сказал спирит.

— Где? Мы ничего не видим...

— Как?! Да на кургане... Адский пламень.

— Да это тебе кажется! — смеемся мы.

— Огонь... Огонь... Я вижу... Привидение! Женщина в белом!.. — вскричал он.

Действительно, в это время Иван, закутанный в простыню, встал над курганом и тихо двигался.

— Врешь, это тебе кажется.

— Вот она! Вот!.. — Голос его дрожит от страха.

— О, ужас! Это она! Я узнаю ее... Это она меня зовет... Не пойду... Боюсь... Это ты... Зачем, зачем ты пришла!.. — трагическим голосом завопил Шаляпин и в ужасе бросился бежать. Мы все за ним. Спирит с воплями мчался впереди нас. За ним Шаляпин, а за ними Иван с простыней под мышкой.

И эту комедию мы повторили два раза. Спирит уехал в полной уверенности совершившегося факта и разнес это по спиритическим кружкам Москвы. Его подхватили некоторые бульварные газеты. Уверовали многие любители чудесного и таинственного. Простите, гг. спириты, что я разрушил ваши надежды. Времена чудес давно прошли. Привидения упразднены.

Двадцатипятилетие столичных частных театров

9 сентября минет ровно 25 лет, как в Москве, в «театре близ памятника Пушкину», в этом первом частном театре, открытом артисткой Малого театра А. А. Бренко, впервые взвился занавес.

На сцене шел полностью «Ревизор».

Я говорю «полностью», потому что до того времени можно было ставить в столицах только сцены из пьес, а не целиком пьесы, плати притом и за право представления Императорским театрам, и за монополию афиш типографу Смирнову, и в пользу Воспитательного дома.

Выходило от спектакля около полутора ста рублей этого нелепого налога, сохраненного канцеляриями с Екатерининских времен в силу закона, запрещавшего «чинить подрыв Императорских театров лицедеям, скоморохам и т. п.», обязывая их представлять отнюдь не полные пьесы, а только сцены из них и платить пеню Императорским театрам.

В древние времена этот закон, запрещавший частную конкуренцию театрам, при наличии безграмотного населения, целиком почти считавшего «скоморошества» бесовским наваждением, — имел смысл.

Но в восьмидесятых годах прошлого столетия бояться конкуренции частных театров Императорским являлось уже полным абсурдом, и если это существовало, так только по вине сухого формализма.

И трудно было пробить в нем, заскорузлом, брешь, чтобы создать в столице свободный, частный театр.

Это был первый шаг освободительного движения, начавшегося с искусства и дремавшего с той поры четверть века.

И сама канцелярщина с ее атрибутами вызвала это движение и создала свободный театр в конкуренцию казенному.

Создала женщина, не ужившаяся с этим формализмом в то время, когда другие, и великие таланты в том числе, подъяремно переносили все и не стремились к свободе искусства.

Много лет спустя я от А. А. Бренко слышал лично такие откровенные слова:

— Меня душили ужасные порядки и неволя на службе в Малом театре! Свобода искусства был мой идеал. Я столько видела несправедливости, что моя душа была возмущена ужасными порядками, и я решилась побороться с этим злом. Я решила создать театр на других началах, свободный от рутины и казенщины, театр, где бы царствовало братство и товарищество на честных условиях...

Так думала А. А. Бренко, затеявая свое огромное предприятие. Начала с небольшого.

Она достала от комитета «Христианская помощь» разрешение давать литературные и музыкальные вечера и читать на них сцены из драм и комедий.

Комитет посадил своего кассира. Убыток за первый сезон 6.000 р.

Но это разрешение А. А. утилизировала так: 1) она устроила дебюты для провинциальных артистов и выбрала лучших из них; 2) она познакомилась с формой разрешения и поняла, через кого и как вести хлопоты.

Поехав в Петербург, она сумела выхлопотать разрешение ставить «сцены из пьес» на имя некоего С-ва, которому платила за это 26 р. в месяц.

На свое имя она боялась брать разрешение, опасаясь служебных интриг.

Зимой 1880 года начались «чтения из пьес» в театре пассажа Солодовникова.

Конечно, эти «чтения из пьес» были полные спектакли, в костюмах — все как следует, но... под дамокловым мечом.

Стоило какому-нибудь чиновнику донести, что пьесы играют полностью, — и конец делу!

И эта грозящая власть давала себя знать молодой артистке и ее сотрудникам. Тем не менее, с весны 1880 года в доме Малкиеля, на Тверской, архитектор М. Н. Чичагов, при совместной работе В. Н. Андреева-Бурлака, отделывал роскошный театр.

Бронза, мрамор, лепные работы, зимний сад.

9 сентября 1880 года роскошный, шелковый, с вышитой золотом бархатной драпировкой занавес взвился и открыл сливкам Москвы, наполнившим роскошный зал первого частного театра, «сцены из комедии «Ревизор» в исполнении лучших артистов...

В Пушкинском театре служили: г-жи Стрепетова (300 за выход), Немирова-Ральф, Глама-Мещерская, Рыбчинская, Понизовская, Броздина, Чернова, Волгина, Красовская, Добрынина, Лола, Черкасова, Козловская и др., и гг.: Писарев, Андреев-Бурлак, Киреев, Чарский, Далматов, Холодов, Васильев, Горев, Шмитов, Красовский, Калинович, Стружкин, Иванов-Козельский и мн. др.

В Пушкинском театре впервые были практикованы по праздникам утренние спектакли, знакомившие учащуюся молодежь с образцовым репертуаром и лучшими артистами.

Впоследствии утренние спектакли перешли и на Императорские сцены.

Летом труппа играла в театре Петровского парка.

Помню, — на одном из спектаклей присутствовал И. С. Тургенев. Его провели в директорскую ложу, и когда он появился в театре, — вся публика встала со своих мест.

Помню еще, когда А. Н. Островский читал в фойе Пушкинского театра «Свои люди — сочтемся», перед постановкой этой пьесы.

Многие пьесы Островского были в репертуаре и, обставленные великолепно, имели громадный успех.

Но все же шли «сцены из пьес».

А. А. Бренко тогда вновь отправилась в Петербург хлопотать, чтобы разрешены были к постановке пьесы целиком. Покойный князь В. А. Долгоруков представил ее графу И. В. Воронцову-Дашкову, который лично доложил Александру III просьбу А. А. Бренко. Была назначена театральная комиссия под председательством министра внутренних дел графа Н. П. Игнатьева при участии А. Н. Островского, и, наконец, появилось разрешение ставить на частных театрах пьесы целиком.

А. А. Бренко все свое солидное состояние и состояние своего мужа, известного музыкального критика и присяжного поверенного О. Я. Левинсона, положила на любимое ее дело, начавшееся Пушкинским театром, перешедшее потом в театр Корша и Художественный.

Создав свободный театр, А. А. Бренко пришлось впоследствии личным трудом зарабатывать хлеб. Она открыла в Петербурге театральную школу, но болезнь и опять российский «формализм» заставили ее прекратить дело.

В настоящее время она в Москве дает уроки театрального искусства, имея двух-трех учениц. Живет в бедности, но, глядя на свободные московские частные театры, она горда своим сознанием:

— Это сделала я!

9 сентября большой праздник всех частных театров столицы.

И ее праздник!

В вихре

(Из воспоминаний репортера)

Вот уже второй день, как я мирно лежу в сторожке лесника, а все чувствую, что мчусь на этом чудовище, вокруг которого бессильно воет разрезаемый им ветер.

Стоит закрыть глаза — и сквозь шум векового бора мне ясно слышится грохот орудий, взрывы, трескотня винтовок и громыханье этого громады-паровоза, предназначенного для поездов-молний и так лихо вынесшего меня от верной смерти.

Сейчас, лежа на лавке, я ощущаю, как он мечется, прыгает и клокочет подо мною, как визжат рельсы, как громыхают стрелки.

Нас было трое: я, машинист и кочегар с завязанной красным кумачом головой; ему пуля пробила ухо, и он, сорвав с трубы флаг, перевязал им рану.

Войска уже ворвались в окутанную дымом станцию, а товарищи, отстреливаясь, отступали к лесу. Некоторые падали на снег, сраженные пулями. Я остался на путях и нырял под вагонами, пока не очутился перед начавшим двигаться паровозом.

— Садись! — крикнул мне машинист, помогая влезть на высокую подножку.

Загремел по стрелкам паровоз, заревел свисток, совершенно некстати данный в этот раз привычной рукой, и покрыл грохот выстрелов.

Нас заметили; застучали пули по железу и, визжа, гулко прорезывали трубу. Стоны,

крики, выстрелы еще были слышны минутой...

Ужасы ада оставались позади, дальше и дальше с каждой секундой.

Мы бешено неслись, не думая о том, свободен ли путь. Сзади нас была полная безнадежность, и мы уходили от смерти, от пуль, может быть, на вернейшую гибель от крушения. Но впереди все-таки жизнь и воля! Да об этом и не думалось...

Бешено кружились деревья леса, неуловимо мелькали телеграфные столбы, будки... Вот совершенно пустой полустанок... Опять лес, опять поля, будки... Машинист то и дело высовывает голову и дает свистки. Мы пролетаем станцию... Толпа восторженно приветствует нас и машет папахами и красным флагом... На следующей станции стояли солдаты с удивленными лицами и метался офицер.

Потом, когда мы были уже далеко, свистнули вслед нам пули. Одна разбила стекло и визгнула по перилу.

— Дьяволы! — прошипел машинист и дал тревожный свисток — оглушительно захохотал паровоз в ответ на выстрелы.

Мы неслись с быстротой невероятной; регулятор открыт вовсю. Летим! Машинист, этот равнодушный к жизни и смерти человек, горел жизнью. Лицо его жило каждым мускулом. Глаза сверкали. Мы неслись под уклон, и под нами визжали рельсы, сыпались искры... В подъем паровоз стал останавливаться.

Впереди высились фабричные трубы.

Машинист поцеловал паровоз, смахнув слезу, спрыгнул на полотно и снял шапку.

— Прощай, товарищ!

Мы пошли в лес. Было тихо-тихо в лесу... только снег хрустел под ногами. С веток сыпался иней...

Песня

Жил-был на свете

Добрый человек.

Песня лирика

Неоглядна степь. Конца-краю нет. И гладка, и ровна, и, как блюдо зеленое, круглая... Только кой-где по ней могилки степные высятся. Да шлях прямой и широкий полосой витиеватой прорезал ее.

И около шляха могила стоит.

Как выточенная, ровная да круглая, вся в зелени яркой.

И сидит у могилки старичок слепенький и поет заунывно тихим голосом:

Жил-был на свете

Добрый человек...

А сам незрячими глазами в небо смотрит. И такая благодать по лицу его разливается, будто он в небе невидимом светлый рай созерцает...

И кто бы ни шел, ни ехал шляхом утоптанном, всяк у старичка остановится, всяк песню его заунывную послушает и с собой ее унесет...

Купец ли проезжий, калмык ли широколицый, богомолка ли, что киевским угодникам грех свой с макову росинку несет, утешенья в жизни беспросветной ищет, солдат ли беглый, немец ли колонист, барин ли на четверне — все у могилки остановятся. Кто серебрушку, кто медяшку, кто хлебца кусочек старичку положит...

А старичок и сам с бездомовым бродяжкой голодным поделится и ему, на весь мир обремененному, в небо глядячи, свою песенку споет:

Жил-был на свете

Добрый человек...

И пойдет бродяжка, удал добрый молодец придорожный, и старичкову песню мурлыкает...

И поднимется в ночь туманную рука его, привычная на дело недоброе, и сверкнет в ней нож, кровью ржавленный, — а в памяти-то шлях широкий, старичок у могилки слепенький...

И опустится рука его нещадная, куда нож полетит, кровью ржавленный, из дрожащих губ песня просится:

Жил-был на свете
Добрый человек...

И уйдет он от зла, успокоенный песней старческой заунывною...

А в ночь темную лучами ясными от могилки свет разносится...

В степи могил — конца-краю нет.

И в могилах тех победители.

Все вожди лежат знаменитые, все в доспехах златокованных...

Шли с Востока орды дикие... Табуны коней несметные... Где пройдут они, — там былинки нет; где раскнут стан, — там гора стоит... Как умрет их вождь, — яму выроют... Дно ее уложат камнями, а на камни те и вождя кладут, с ним оружие и добычу всю — груды золота...

И везут-несут землю с камнями, до тех пор несут, пока вырастет над покойником гора круглая...

Чтоб потомки знали-видели, сколь велик герой под холмом лежит...

А потомки-то — как прошли века — холмы срезали, кости вырыли и оружие вместе с золотом в даль безвестную из могил несут...

И пришла пора, степь распахана, на могилах тех скирды выросли...

А у шляха могилка все цела стоит...

Все поет слепец песню старую:

Жил-был на свете
Добрый человек...

И хранит та песня могилку придорожную.

И никто ее не коснется, никто в ее нутро не заглянет.

Да и взять-то что с человека доброго! Ни оружия нет старинного, нет ни золота раздобытого.

И стоит себе могилка целехонька...

Да и кто погребен в ней — неведомо.

Да и был ли кто там? Ну, не все ли равно?!

Ведь уж где-нибудь да когда-нибудь ведь уж жил такой, про кого поют!

А где жил он, где помер, где кости его, — что и спрашивать!

А что был он такой — это ведомо.

И костей его нет — слава носится...

Над могилкой степной зорькой светится...

Тихой песенкой заунывною в вышине плывет к небу синему...

И поет слепец, в небо глядячи, — значит, видит он, где той песни путь.

И звучит она по земле кругом. Все, кто слышал на степи ее, в города несут, в села дальние и поют ее в дни тяжелые, в дни счастливые...

А слепец сидит, в небо глядячи, и народ к нему все идет, идет, и для всех слепец все одно поет над могилкою:

Жил-был на свете
До-брый человек...

«Дядя»

На войне

Всю последнюю турецкую войну я пробыл в партизанской команде, в Азии. Командовал нами старый есаул. Всю свою жизнь провел он на Кавказе в горных набегах, любимцем Бакланова был. Звали мы его все «дядя». И не было ему другого подходящего названия. Рост — вершков двенадцать, сухой, жилистый, серебряный целковый в трубочку свертывал, а шашка у него была семифунтовая; были примеры, что этой самой шашкой он при отступлении и голову, и правую руку, вместе с плечом, наискось, через грудь, отсекал. Вот к такому-то молодцу и попал я, и любимцем его сделался. Куда он — туда и я. Веровал «дядя» только в судьбу и говорил: «Чему быть, того не миновать». Бывало, перестрелка, а он сядет «по-турецки» на гребень вала; кругом пули свищут, бьют в землю, грязью в лицо бросают, а он все сидит и люльку в серебряной оправе курит. А сказать ему, так ответит:

— Не судьба, так и здесь ничего, а судьба — и дома на печи пропадешь!

Прошло полгода. Полюбил меня «дядя» и без меня ни шагу. Жили вместе, в землянке, вместе в набеги хаживали, рука об руку в атаке, и за картежным столом, за банком, который мы оба любили, не разлучались. Словом, и есть, и нет — все пополам.

Как-то потребовали «дядю» к отрядному. Пробыл он у него часа три, вернулся веселый такой, вбежал в землянку, — а я сидел писал что-то, — да и говорит:

— Брось бумагу марать, делишко есть!

Я обернулся, смотрю, а глаза у него так и горят, помолодел лет на двадцать.

— Что, дядя?

— А вот что, племяш (кого он любил — племяшем звал), сейчас у отрядного был. Принял ласково, за руку усадил и водочки поставил. Себе рюмку и мне рюмку. Я, ты знаешь, не могу этими рюмками пить, да и говорю:

— Ваше превосходительство, коли угощаете, так уж стаканчик: не привык я к рюмкам, не казаку их пить!

Улыбнулся дедушка, подвинул стакан, что у графина с водой стоял, и говорит: «Наливайте». Известно, налил полный, чокнулись, выпили. Пока сидели да толковали, три графинчика с дедушкой и усидели. Разговор был секретный. Думает скоро наступление сделать, а сегодня он поручил мне добыть сведения о «желтой» батарее, знаешь, с которой нас в лагере бьют. Поручил разузнать, сколько орудий, в сколько рядов укрепление, и все подробности собрать.

— Что ж, дело хорошее, выбрать охотников надо, — сказал я.

— Охотники есть. Дело очень серьезное. Пойдем вдвоем, ты и я.

— Спасибо, что меня выбрал! — обрадовался я.

— Только никому ни слова, смотри.

— Будь покоен, дядя.

— А теперь завтракать! Сычук!

У двери вырос наш вестовой, юркий, ловкий казак Сычук, в своем неизменном буром бешмете и поршнях на босу ногу.

— Кашу и шашлык!

— Каша готова, шашлык сейчас, вашебродие.

Мы вышли из землянки. За столом дымилась в котелках каша, стояла бутылка-шампанка со спиртом и на дерновой скамейке лежал бурдюк с настоящим кахетинским вином.

Перед нами желтели грозно дремавшие турецкие батареи, начинавшиеся у самого моря обрывистой скалой и тянувшиеся на несколько верст по отрогам горного хребта. Это были действительно неприступные твердыни... Местами на некоторых горах видны были по три желтых извилистых полосы — это укрепления в три ряда ложементов.

А посредине цепи укрепления, вдавшись на верху холма, господствовала над местностью «желтая» батарея, гроза нашего отряда. «Желтой» называлась она потому, что холм, на котором она помещалась, представлял из себя желтый песчаный обрыв, золотом сверкавший среди густой горной зелени.

Вот это-то место и было целью предстоящего ночного путешествия.

После сытного обеда и изрядного возлияния, в котором приняли участие двое офицеров, пришедших в гости, мы с «дядей» улеглись спать.

Дома

Прошло десять лет. Я жил на севере, а «дядя» далеко на юге, но, время от времени, мы с ним переписывались, и каждое его письмо заканчивалось непременно просьбой приехать к нему. Много лет я обещал посетить его «Полынок», рвался туда, а обстоятельства все задерживали. Наконец, я получил письмо, в котором он упрекал меня очень серьезно, писал, что если не хочу приехать, так лучше было бы сразу не обещать, чем обещать, да не сделать, и что он меня «устал ждать». Это ли письмо на меня подействовало, или уж и самого потянуло повидаться, но я собрался в неделю, привел все дела в порядок и с курьерским помчался на дорогой мне юг...

Вместо усталости от дороги я с каждым днем оживал все более и более, после утомления от продолжительной тяжелой работы в столице. Днем я спал в вагоне, а ночи просиживал на площадке, любуясь голубым южным небом, яркими звездами, о которых жители севера не имеют понятия. И чем ближе я был к цели путешествия, тем более и более рвался и волновался. Картины прошлого воскресали предо мной со всеми подробностями, со всеми мелочами. Вспомнилась и экспедиция на «желтую» батарею... Мокрые по пояс, ползком, прямо из речки, мы начали подниматься на «столовую» гору... Вверху виднелась фигура часового. Пришлось свернуть вправо и ползти полчаса балкой, между колючками, на которых мы оставили добрую половину наших черкесок и не один клочок кожи... Наконец, добрались и до первых укреплений «желтой» батареи. Они были пусты. На полугоре выделялась цепь часовых, шагах в трехстах один от другого. По-видимому, турки мало оберегали эту, вдавшуюся почти в середину лагеря, грозную позицию, надеясь, что никто не осмелится к ней, окруженной с флангов укреплениями, подойти. Мы прилегли в заброшенном ложементе. «Дядя», указывая на часового над нашей головой, шепнул мне:

— Этого мы сейчас снимем!

Мы поползли вверх между высокими стеблями папоротника, на наше счастье шуршавшего от ветра. Под нами, вдалеке, гудело море, и чем выше мы поднимались, тем сильнее слышался прибой.

Мне становилось жутко, но хладнокровно, без всякого шума, двигавшаяся передо мной ползком фигура «дяди» успокаивала меня. Оружия, кроме кинжалов, у нас не было никакого. «Дядя» приказал только взять мне в карман два булыжника, с кулак величиной, да инструмент, носящий весьма некрасивое название, состоящий из двух ремешков с дощечкой, обернутой сукном. То же самое было и у него...

Вот уже фигура часового совсем ясно торчит между папоротниками. Он оперся на дуло ружья обеими руками и положил на них подбородок.

— Дрыхнет, скотина! — шепнул мне «дядя» и добавил:

— Сейчас его разбудим... Тише ползи!

Мы были уже в пяти шагах от часового. Оказалось, что он не спал, а смотрел в противоположную от нас сторону, на море, и что-то мурлыкал.

«Дядя» поднял руку и бросил через голову часового камень. Тот вздрогнул и обернулся

назад, где стукнул упавший камень. «Дядя» выпрямился и в один миг сидел на опрокинутом им часовом, старавшемся вырваться из железных объятий. Я подоспел и сел на ноги часового, с помощью которых он старался перевернуться, между тем как «дядя» своей громадной правой рукой зажал ему рот, а левой крепко прижимал к земле.

— Машинку ему надо, чтоб не заорал, ты держи его, а я сделаю, — тихо сказал он мне.

Мы перевернули часового навзничь. «Дядя» по-турецки сказал ему на ухо, чтобы тот молчал: «а то, мол, зарежу». Пока я держал помертвевшего, с испугу, низама, «дядя» ему вставил в рот лопатку, обернутую сукном, и завязал на затылке крепко два ремешка. Затем часовой был связан тонким шпагатом по рукам и ногам; «дядя» снял с него феску, надел ее на себя и шепнул мне:

— Подожди, через полчаса буду... Если тревога или опасность, брось этого дурака и беги домой, обо мне забудь, не ищи меня, я один приду.

С этими словами он пополз вверх на гору, оставив меня с лишенным голоса и возможности двигаться часовым.

Все эти мелочи живо восставали в памяти, когда я лежал один в купе первого класса, укачиваемый плавным ходом вагона...

Я собрал мои вещи, приготовился... Часы показывали десять. Оставалось полчаса. Каждая минута казалась вечностью. Я смотрел в открытое окно на бесконечную степь, усеянную курганами, уцелевшими от нашествия монголов, на звездное небо, на мелькавшие телеграфные столбы, и мне казалось, что поезд идет недостаточно скоро.

Вот, наконец, продолжительный свисток... Вдали зеленый фонарь... Купа деревьев... Уже белеется платформа. Паровой тормоз быстро осаживает поезд... Я, держась за ручку вагона, почти повиснувши над землей, смотрю, стараясь различить на платформе знакомую мне фигуру и... почти на ходу поезда прыгаю, увидав того, кого так жаждал видеть...

Таких душевных встреч у меня не было и никогда больше не будет...

Уведомленный телеграммой за сутки, «дядя» сам выехал встретить меня...

Мы уселись на длинные ломовые дроги и отправились.

Что мы говорили во время встречи, я не помню и никогда не вспомню... знаю только одно, что если я и говорил что-нибудь тогда, так говорил глупости, без всякой цели... я, всегда одинокий, был тогда счастлив бесконечно!..

Через полчаса мы входили в сад, где нас встретила давно ждавшая меня семья «дяди» и прекрасный ужин...

Переменив образ жизни боевой на мирный, изменившись в душе, «дядя» мало изменился снаружи: хотя он

поседел, но живые серые глаза были так же молоды, и сила была все та же. После ужина, окруженные семьей, мы просидели до утра на террасе его домика, утопавшего среди густой зелени черешен и яблонь, посаженных рукой «дяди». Он был страстный садовник и рыболов. Боевая шашка была сменена на садовый нож и удочки. Мы долго говорили о турецком походе, о старых товарищах, вспоминали мелочи боевой жизни.

— А помнишь, как мы с тобой на «желтую» батарею ходили?

— Еще бы не помнить! — ответил я.

— Дело прошлое, брат, а ведь я все время, пока батарею осматривал, только и думал одно, что ты зарежешь пленного... Просто я боялся за него. Ведь твое положение было не из приятных: того и гляди, смена придет, увидят, что часового нет, искать будут — все дело пропало, и тебе конец. Боялся за тебя. Ведь целый час ждать! Или его убить, или самому погибнуть!..

Вспомнили затем, как привели пленного в лагерь, где было несколько пленных, как своему «крестнику» каждый день то табаку, то чаю и галет носили до тех пор, пока его не отправили в Россию...

Уже взошло солнце, когда мы окончили нашу беседу.

Я невольно залюбовался картиной, открывавшейся с террасы. Нежно-голубой лентой кружится и тянется по бесконечной степи речка Яблонка, окруженная темной зеленью

камышей и поникших над водою ветел. Оазисом казался хутор «Полынок» с его садами и широкой зеленой улицей, разделявшей хутор на нижний и верхний. Владения «дяди» тянулись от самой реки до улицы, где, между плодовыми деревьями, зеленела бахча с арбузами и далее на гору, где был сад, дом, а выше, на горе, небольшой виноградник...

Видно было, что каждый шаг земли обработан, возделан...

Как в раю, провел я на хуторе две недели, ловя с «дядей» по утрам рыбу, а днем работая вместе с ним в саду. Вечерами в винт играли или о былом рассказывали...

Со слезами я уезжал от них...

В прошлом году, как я узнал из писем, «дядя» умер. Он заразился, ухаживая за больным соседом.

«Судьба», — вспомнились мне его слова.

Море

Федоров слез на глухом полустанке, где издали слышался неясный шум моря, которого из-за леса видно не было.

— Как пройти к морю? — спросил он у станционного сторожа.

— Вот дорога: поднимитесь лесом в горку, и все прямо... Дорога приведет.

Федоров поправил ремешок этюдника, который резал ему плечо, и зашагал по узкой тропинке, прорезавшей густой хвойник.

— Море... Море... наконец-то я настоящее море увижу. — И перед ним мелькали виденные им в галереях и на выставках моря: и лазурное фарфоровое море Коровина, и бурное, мохнатыми волнами Айвазовского... Все не то... В его представлении всплыло другое море, тихое, спокойное, серо-зеленое, как левитановский северный день, море, которое он видел у своего учителя, когда кончал последний класс. Он часами просиживал перед той картиной и думал.

— Вот это настоящее море... И море живет, и лодочка рыбацкая на нем, так же, как и у нас на Оке... и хатенки, а за ним-то силища водная... Просторище... И облака, как у нас на Оке, в реку глядятся.

Непонятны ему, жителю севера, ни яркое море Крыма, ни ревущее у скал мохнатыми волнами море Айвазовского, ни таких бурь, ни такой лазури не видал он на своей Оке.

— Как в театре, — думалось ему.

— А вот это настоящее, все, как у нас под Рязанью... Ежели бы к нам вместо Оки его, ох хорошо бы...

Он шел, опустив задумчиво голову, и вдруг ахнул...

— Ах...

И остановился, оцепенел, глаза раскрылись, как никогда: на всей дали и шири перед ним гладкий поднимающийся кверху, зеленовато-серый простор, живой простор, в котором плывут, купаются, именно купаются, колеблющиеся живые облака, будто небо перевернулось вверх дном, зашевелилось и легло на всем этом неоглядном просторе.

Он поднял глаза: нет. Вот они облака плывут: ...это похожее на безрогого быка, вот оно, серое, вверху, а плывет и внизу в живом просторе,

— Так вот оно море!

Он опустил на траву пригорка и, обессиленный, закрыл глаза.

— Так вот оно море... Все живет в нем... и облака живут...

Сердце усиленно билось, дрожащими руками, испортив несколько спичек, он закурил папиросу, отвернулся к лесу, а облака плыли перед ним в живом просторе... Он снова обернулся к морю, поднял голову — безрогого быка уже не было... вместо него что-то вроде одноногого гуся с длинной шеей. Точь-точь Новая Зеландия на географической карте... И этот белый гусь, такой же огромный, плыл и колебался, а шея, его длинная шея с темной головой то поднималась, то опускалась плавно. Федоров повернул глаза влево. Песчаная отмель поросла тальником. Шагах в ста от берега избушка на горюшке... Сети сушатся...

Рыжая корова бродит... А направо по берегу сосновый лес будто со срезанными от моря вершинами... Будто кто-то неумело подстриг их и грубо нахлобучил. Белое полотно пены, как дорожка сахарной пудры, легла между серым песком и серой зеленью моря. Два каких-то серых человека спустили лодку, и она закачалась на волнах, взмахивая как крыльями птица, двумя длинными веслами.

— Вот это море то... настоящее море... настоящее... И показалось ему, что лазурное море невиданного им

Крыма и грозные волны Айвазовского — море ненастоящее.

— Вот оно... и лодочка и коровка, ну как есть, будто то самое...

Федор лег на песок, глаза его закрылись, и он уснул.

Три дня пробыл он в избушке у рыбаков и начал писать этюд на маленьком полотне в крышке этюдника, но бросил, оказалось мало. На счастье в сумке нашлось готовое полотно. Сбил две доски, натянул его, и к вечеру второго дня картина была готова, а на третий высохла.

И все ему не хотелось уходить. Он начал кончать маленький этюд, но ничего не получалось... Всего себя он влил в большую картину... Пресытился морем, но оно ему... не надоело, нет. Он именно им пресытился и, даже не оглянувшись, ушел. Все три дня, когда он писал, ни разу не выглянуло солнце, и облака меняли только формы, но были одноцветны.

Усталый, едва передвигая ноги по песчаной тропке, неудовлетворенный или просто очень усталый, он тащился на полустанок. Но полустанок уже был не тот, он не узнал его, тихого, безлюдного. По платформе метался народ... Отходил поезд. Из открытых дверей товарных вагонов смотрели люди, махали шапками, что-то кричали, из некоторых вагонов неслись песни...

— Война с немцами, — объяснили ему. — Только вчера объявили.

Через неделю в солдатской шинели он тащился в теплушке в Воронеж, где стоял запасный полк, а через три месяца шагал по вековым Августовским лесам под грохот отдаленных выстрелов и взрывов.

И два года пробыл в германском плену, голодал и хворал в концентрационном лагере. А еще через два увидел настоящее море в Севастополе.

Лазурное коровинское море, каменные скалы кругом, а вместо лодочки грозные броненосцы, сверкавшие красными флагами.

— Вот оно настоящее море, такое, как у Коровина. Увидел он и бурное море, когда страшные волны разбивались о грозные скалы...

— А вот это море Айвазовского... Вот оно море-то...

И вспомнил он свое море, и все-таки ближе сердцу было то, серо-зеленое. Одноногий гусь вроде Новой Зеландии... лодочка... скошенные бурями вершины сосен...

А потом, вернувшись в Москву и плутая без квартиры по знакомым, вспомнил он про свою картину.

— Может быть, на выставку примут?.. в АХРР'у... Но домика, того маленького деревянного домика, где он жил во Фроловском переулке, где он жил и где, уезжая на войну, оставил картину на стенке у хозяйки... домика уже не было — его растащили на дрова.

Добыл кисти, краски. Приготовился писать. Пошел освежить себя по галереям. Ходил в одну, в другую, в третью.

Войдя в одну из зал, он вскинул глаза и вздрогнул... Помотал головой, чтоб стряхнуть кошмар, еще раз посмотрел, и его глаза засверкали радостью, так засверкали, как в ту минуту, когда он, выйдя из перелеска, увидел впервые давножданное море.

— Вот оно, море-то... Вот когда я буду писать. — Он еще издали узнал свою картину, свое море.

— Здесь в этой галерее, знаменитой галерее. О, вот когда я буду работать... Вот оно, лодочка... вот корова, сети... Вот тут я сидел на пригорке и писал... Вот оно, вот оно, счастье...

Он подошел ближе — подписи под картиной не было никакой. Он оглянулся — у

одного из посетителей был каталог.

— Позвольте, вот этот номер... Как называется картина?

В каталоге стояло другое имя, знаменитое имя, но не его!

Несчастный (Из жизни спортсменов)

Игра — вещь странная.

Старинная пословица

— И попал я сюда, братцы вы мои, только потому, что одна лошадь пришла вот на эстолько сзади другой!..

Он на руке показал расстояние в пол-аршина.

Арестанты подняли головы и вопросительно посмотрели на говорившего.

Это был невзрачный, пожилой человек, сутуловатый, с русой бородкой и замечательно добродушными синими глазами.

Его привели в общую камеру полицейского дома сегодня утром из соседнего участка и водворили вместе с десятком других преступников, ожидающих, как и он, суда.

— Верно говорю! На голову, только на голову, будь моя впереди, и сидел бы я теперь дома, да чай распивал, и денежки пересчитывал...

— Чудно что-то! — заметил старый арестант, назвавшийся бродягой, а по всей вероятности побывавший не раз в Сибири.

— И ничего, дядя, чудного нет, а самое, что ни на есть простецкое дело, и все, что я говорю, так же верно, как то, что меня зовут Никитой Зотовым.

И он начал объяснять арестантам, что такое скачки, как увлекательна игра в тотализатор, какие громадные суммы разыгрываются на призы.

Вся камера, сначала недоверчиво качавшая головами, в конце концов заслушалась его задушевного повествования об этом море азарта и легкой наживы денег, которая так близка душе каждого из этих неудачников.

— А служил я, братцы вы мои, в ту пору, когда еще Франческа скакала, в работниках у купца Кулешникова. И такой-то, покойник, Матвей Иванович, любитель скачек был, что просто ни одного дня не пропускал. Сейчас как скачки, и в будни, и в праздник, — ему все равно, — кричит: Никита, шарабан! Побросает все дела, что ни на есть, на руки прикащика, — да за заставу. Лошади у нас хорошие были, всех пыльников, бывало, за собой оставим, и к скачкам. Сам в беседку идет, а я на шарабане жду за забором, вместе с кучерами. И лошадей мы знали не хуже хозяина. Сейчас пустят лошадей, а мы все на шарабаны или на пролетки встанем и смотрим, и каждую лошадь знаем. В каждую скачку соберем деньги, кто четвертак, кто полтинник, а кто и рубль, побогаче, и сейчас билет покупать... И выдали, братцы вы мои, раз за полтинник-то мне да сорок три рубля... Адонис тогда Хилковский, да Араповского Мирабо обскакал... С этих и пропал я! Прежде, бывало, поставишь четвертачишко раз в день, выиграешь на него гривенник, и рад-радехонек, и поиграл, и на чай есть. А тут как получил я сорок-то три рубля и ошалел! Вот, думаю, где деньги-то легко наживаются, только лошадей узнать надо! А тут у меня был один знакомый конюх, при обществе на скачках служил, вот от него-то я и узнал, что Адонис выиграет...

Получил это я свои сорок три рубля и сам себя не помню! Таких денег от роду и в руках не держал, а тут — на поди, какое счастье привалило: мой, вдруг, полтинник сорока рублями ошелся! Подаю это я, братцы мои, лошадь после скачек хозяину, а у самого руки дрожат, и вожжи держать надо, и в карман залезть надо, посмотреть, тут ли деньги. А Матвей Иванович вышел сердитый-сердитый... Семьсот рублей, как я после узнал, в этот день проиграл. Едем, а он молчит. Прежде бывало все говорит дорогой, в трактир, когда выиграет, повезет, а тут ни слова... А у меня так и вертится на языке сказать, что я выиграл... Только это я задумал сказать, а он и говорит:

— Двести рублей на Мирабо поставил, и он не пришел... Адонис его обыграл, и никто его не ожидал как первым объявился и всех утопил...

— Ждали Адониса, Матвей Иванович, и я до скачки знал, что он выиграет! — говорю это я ему.

— Как знали? Кто знал? Ты почему знаешь?

— Так, говорю, и знали, и мы все, кучера сами на него играли.

Вытаращил он на меня глаза, да и говорит:

— Врешь, Никитка, знать это никто не мог! — Ну, а меня за живое задел, вынул я эти деньги свои и показываю: вот, мол, хозяин, сколько мне на полтинник дали! И рассказал я ему, что конюх мне говорил раньше, — Адонис выиграет... Ошалел хозяин! Прямо в трактир поехали, сели двое, и никого к столу, даже из своих приятелей он не принял, сидим, пьем рябиновку, селянку едим, да о лошадях разговоры ведем. Сразу приятелями стали! И все-то время он просил меня перед скачками разыскивать этого конюха, чтобы он афишу отмечал, значит, говорил, какая лошадь выиграет...

И пошла с этих пор у меня с хозяином большая дружба! Одел он меня и стал уже в пролетке рядом с собою возить, и деньги за вход на скачки платить... Поддужным своим сделал! Не житье стало — малина! Умирать не надо! Накануне бегов и скачек начал он меня посылать узнавать, какие лошади завтра бегут или скачут и разузнавать от наездников и жокеев, кто выиграет. И давал он мне каждый раз на расходы по трешнице, значит, чтобы наездников угощать. Подружился я кой с кем из них, на проездки по утрам ходил, сам лошадей понял и выучил, да кстати научился водку пить. Отвык это года за два я от всякого дела, и вся думушка в голове только о лошадях, какая выиграет и сколько дадут. Совсем другим человеком стал! Прежде скуповат я был, пятака бывало на булку не истратишь, на квас три копейки жаль, а тут все нипочем! И водка, и закуска, и все художества пошли! Да и как жалеть на еду, да на выпивку целковый, когда по десяти на лошадь становишь, проигрываешь и не жалеешь...

— Откуда же красненькие-то у тебя завелись? — спросил старик арестант.

— Откуда! Сперва у хозяина выманивал на разные манеры, по охоте, а потом и публику путать стал на скачках. Скачет сейчас, примерно, семь лошадей, а я и обойду в разных местах семь человек, и каждому скажу разную лошадь, что, мол, наверно, она выиграет. Ну, известно, шесть не выиграют, а седьмая выиграет и мне от игрока процент... По четвертному за совет платили, особенно, когда большие выдачи. Как получишь деньги — сейчас и ставишь их все... Рублей по сту выигрывал, а потом опять все спустишь...

— А ты бы спрятал да и не играл...

— Поди-ка удержишься! Нет, брат, тут в такой азарт войдешь, вроде сумасшедшего, себя не помнишь!.. Подходишь к тилизатору, знаешь какая лошадь придет первой, наверное знаешь, а видишь, что за нее все играют, значит мало дадут, и ставишь на другую, на авось... Поставишь и проиграешь, думаешь много получить, а глянь — и свои пропали! И нет такого человека, который бы удержался и не играл на скачках... Сам не ставит — другим дает ставить, а все-таки играет... Потому заманчиво получить за рубль десять, а то и больше...

— А кто же там играет? — любопытствовал кто-то.

— Кто? Да все, кого только нет... Особенно на скачках... На бегах еще не все играют, туда больше любитель лошадей настоящий идет, ему игра не нужна, он лошадь смотрит, ход, резвость... А на скачках все игроки... Тут хоть собак пусти — все равно, играть будут... Только было бы на кого ставить... В другой скачке все хромые лошади идут, бьют их хлыстами — смотреть жаль, а публика играет... Зверь — народ в это время... Да про себя сказать — видишь, другой раз, что лошадь твою другая обыгрывает, и молишь бога, чтобы переднюю ногу сломала или жокей упал, и все для того, чтобы только выиграть... Озвереешь просто, и каждый ведь так, кто играет. А барыни? Потеха, все забывают на свете!

— Правильно. Слыхал я об этом деле, — перебил старый бродяга, — слыхал далеко отсюда... С нами тоже один скаковой игрок был, так говорил, что на все ему наплевать, а только бы в Москве побывать, да в праздник скачки взглянуть...

— А где это было? — живо спросил рыжий солдат, которого почему-то арестанты остерегались.

— Где? В городе Париже, а может и ближе, на молчалином болоте, где вашего брата за язык вешают!..

Произошло легкое замешательство, на которое не обратил внимания Зотов и, весь раскрасневшийся, продолжал рассказ. Долго еще он описывал подробности игры,

рассказывал арестантам о том, как скакуны живут, сколько народу кормится совсем задаром около этого дела, сколько людей разорилось от скачек и сколько их за заставой живет, день в трактире, в «Охоте», а ночь и утро на скаковом кругу, как он и сам так после смерти хозяина лет пять жил...

Зимой уж только очень плохо приходится: день в трактире околачиваешься, а ночью в ночлежном, на грязном полу ночуешь... Спасибо, еще хозяйка верит... Весь проживешься, а зато май настал — и ожили мы... День в трактире всяк тебя угощает, только лошадку верненькую скажи, а в три часа на круг идешь... Купец у меня опять нашелся, благодетель, тот и квартиру мне нанял, и жену я выписал из деревни, зажил было как следно быть, да несчастье случилось... Знал и наверное, что Байрактар — самая, что ни есть, лучшая лошадь сейчас, первый приз выиграет, то есть наверное знал, и знал, что публика на нее мало играть будет. Всю весну я следил за этой лошадыю и подкараулил. А денег нет, как на грех. Что делать? Ну, в день скачки рано утром, когда хозяин, у которого я комнату снимал, ушел к обеду, я забрался к нему в чулан, взял две шубы, да в ссудную кассу их. Дали шесть красненьких. Наверняка делал, Байрактару, как отцу родному верил... Выиграю — выкуплю, хозяина поблагодарю — и сам богат...

Пришел на скачку, дождался, лошади пошли. Вижу — Байрактар идет легко, впереди всех. Рассчитал за рубль три с полтиной выходит. Поставил пятьдесят рублей — значит, почти двести получу. Вижу — впереди, деньги в кармане, вещи выкуплю и барином заживу. Вдруг — беда. Перед самым столбом Байрактар закинулся и Араповский Тореодор вот на эстолько первым... Проиграл! Все пропало. А дома хватились вещей, видели меня и арестовали... А ведь только на пол-головы!..

Арестанты молчали и качали головами.

У старого бродяги глаза горели. Он хлопнул себя по коленке и энергично заявил:

— Как убегу — сейчас на скачки!

Елка

За неделю до Рождества только в первый раз выпал снег; я пошел в засеку по зайцам и возвращался без выстрела. На опушке знакомый лесник рубил елку. Поздоровались. Я пожалел, что он губит хорошее дерево.

— Все равно она пропала... Вишь, вся лишаем пошла... Это вот от соседа набралась.

И он кивнул на старую, большую ель, всю покрытую лишаями. Зеленые хвой уцелели только на концах ветвей и слегка на вершине; все остальное было покрыто серым, кожистым мохом-лишаем, концы мелких сучьев отпали вместе с пожелтевшими мертвыми хвоями. Кое-где отгнившая кора обнажала ствол, источенный червями.

— Ведь вот дерево-то издали и на вид богато и сильно, а только вокруг себя заразу пускает, заживо гниет, другим во вред. Никому от него пользы нет: ни шишки с семечками, от коих другие елки пошли бы, да белочки кормились, ни смолки, что дух здоровый лесу дает, ни хвойки муравьям на постройку — только гнилоты одна. Растет вот, богатым деревом считается по лесной описи, — и ни себе, ни людям. И на стройку не пойдет, червивая, и только в печь, если на корню не догниет. Вот и эта от нее погибла... А ежели вовремя ту поочистить — какое бы дерево сильное и полезное было.

— Что ж, на базар повезешь?

— Нет, разве мне можно? Так, по секрету, заказал Тихон Фомич для своего барина, Макария Петровича. Каждое Рождество елку себе ставит и сидит он перед ней

один-одинешенек... Хоть бы кого гостей на праздник позвал.

— Да, Макар Петрович гостей не любит!

— Умным себя почитает! В нашем городишке ему низко компании водить. Говорит то в Питер, да в Москву ездит, а то за границу. Горд очень без толку. А при покойном родителе вроде глупенького считался, а потом все так от людей подальше. Загуливал, да не дома. Ровесники мы с ним, играли ребятами-то вместе. Езуитистый стал и насмешник. Как бы человеку досадить — в том первое его удовольствие, и все потихоньку, с насмешечкой.

— А мне кажется, что он совершенно приличный и тихий человек, вежливый, любезный.

— Когда спит, да рубля не касается, либо с чужими, да которые посильнее!

Лесник положил топор и полез за кисетом, но я предупредил его и предложил папироску.

— И что за человек он есть и в кого уродился? Отец был дельный, миллионы нажил, братья тоже люди как люди, кто при своем деле, кто на службе служит, а он ничему не учился, к делу не приставлен и, как филин, с малолетства один и людей за людей не считает... Ни богу свечка, ни черту кочерга. Вроде лишнего чего на этом свете отсвечивает — ни себе, ни людям. Ведь и худого никому не сделал быдто, да и добра-то от него не видели. Как от козла — ни шерсти, ни молока, только один дух! А зло в том, что он врет. Нешто богатому такому врать можно? И все врет. Насулит, наобещает, а потом и на попятный. Станешь ты ему о своей нуждиш-ке говорить и только что к делу подойдешь, а он сейчас:

— А как ныне хлеба?

Скажешь, ответишь и опять о своем начинаешь, а он:

— Ишь погода-то какая сегодня... Ну, прощай, голубчик, прощай, ужо когда поговорим!

А то идет раз мимо моей избы и говорит:

— Вася! Крыша-то у тебя плоха. Вся солома сгнила. Ты бы деревом покрыл, прочнее и чище.

И начал рассказывать, как хорошо в избе будет, если ее тесом покрыть, да суриком покрасить.

— Да не на что... Помогите мне, все понемногу отработаю...

— А это кто на дворе хрюкает? Свиныя?

— Свиныя... Вот заколю, посолю — на всю зиму хватит.

— А ты продай свинью-то, да крышу и покрой хоть как-нибудь. Хоть соломой свежей. А то гляди, какое неряшество! Сами себя не блюдете.

— А что же есть зимой-то будем?

— А вам свининки? Сви-ининки? Пусть лучше крыши нет, а свинину жрать? Жить не по средствам — грех великий. Кому что суждено. Вот я могу свинину есть, а вы хлебушко... Картошечку... Кому что! А то всякий бы свинину ел. Я вот могу, а ты не можешь.

— Да ведь я работаю, значит, и есть надо. А вот у вас много, что вам стоит доверить мне на крышу. Ведь я отдам...

— Много? А ты считал, считал? У всякого своя нужда. Может, у меня нужда-то больше твоей...

Да как затопает ногами, закричит:

— Руки вверх опять! Все вам даром отдай! Чужую собственность требуете, а? Нет, это время прошло... Грабители! Дармоеды!

И побежал от меня.

А дня через три встретились — как ни в чем не бывало. Я поклонился ему, он подозвал меня к себе и дал двугривенный. Только когда он вынул кошелек, так долго этот двугривенный все выбирал, да в руках вертел, прямо расстаться жаль. Вот какой скупой. Сам копейки не нажил, все от отца... Живет — копит. А на статуи ничего не жалеет.

— На какие?

— Статуи по всему свету ищет — собирает. Разные мраморные. Тыщами платит. Говорят, для славы себе. Полон дом их у него и все в ящиках — привезет и не вынимает. И для чего он их покупает и бережет — не поймешь. Хоть бы на дела свои миллионы тратил. Ну, больницу бы, что ли, выстроил, бедным помогал. Все бы живым людям зря погибать не давал. А то статуи... Ведь делов у него никаких, только купоны от родительских миллионов по банкам режет, да вокруг себя гниль плодит. Вон сколько у него имений — и все так: живет управляющий, вроде дворника, окна, двери заколочены, никого не пускает, сам раз в год на неделю приедет, поживет, слова не сказавши, подышит нежилой гнилью и уедет. Только управляющие жиреют от ничегонеделанья. А уже на Рождество к нам, в свои Палестины. Еще покойный родитель хоромы по-барски для гостей выстроил, а теперь ни одного человека, кроме его, не бывает в них. Управляющий-то боится в пустые комнаты входить, такая жуть...

И лесник, совершенно неожиданно повернувшись к высокой лишайной ели, указал на нее:

— Ни дать, ни взять эта ель самая — как от нее, так и от него никакой никому пользы нет — заживо гниет...

* * *

В рождественскую ночь всегда темные окна хором Макария Петровича Козлова были освещены, и у окон толпился народ. В лепном, золоченом зале сияла елка, отражая живые огни восковых свечей на гирляндах картонажей, бус, золотых и серебряных орехов, которые много лет подновляются к елке и опять убираются в сундуки вместе с другими украшениями.

Я вмешался в толпу и слушал разговоры.

— Хоть бы наших ребятишек позвал. А то один, как сыч...

— Чего звать-то, там все пустое... Нешто, думаешь, конфеты? Деревяшки в золотой бумаге для видимости. Который год все одно и то же...

— Чудак!

— Сроду так.

— Идет, идет! — зашептали кругом.

Из двери вышел в зал человек в черном сюртуке и белом галстуке и странно, по-женски, семена ногами, подошел к елке и остановился. Гладко причесанный, усы и борода сбриты начисто, лицо одутловатое, без кровинки. Нагнул одну ветку, поднял с полу упавший кусочек воска и положил его опять на свечку подле светильни. Указательным пальцем левой руки поправил картонаж и точно так же симметрично дотронулся до него указательным пальцем правой руки, отойдя, сел в кресло и погрузился в созерцание, тихо крутя большими пальцами один вокруг другого то справа налево, то обратно.

На его одутловатой фигуре складками лежал сюртук, и складки щек одутловатого лица делали выражение недовольное и кислое, а глаза были тусклы и безжизненны.

— Старееет.

— Не живучи отжил.

— Мильоном мертвым придавило, — шептали сзади меня.

Мраморные статуи в ящиках, миллионы в банках, человеческие чувства, заглохшие под застегнутым на все пуговицы сюртуком, — все это спрятано от людей, замуровано невесть для чего.

— Раб, зарывающий таланты в землю! — шептала сзади октава, по которой я узнал соборного дьякона.

Целое гулянье составилось у козловских окон, и все наблюдали тишину, и даже ребятишки не шумели, а боязливо поглядывали на мерцающие огоньки догоравших свечей елки.

Понемногу гасли одна за другой свечи... Темнел зал... Расходился народ к семьям

встречать праздник, а Козлов сидел одиноко в кресле и тихо крутил пальцами, оцепенев в созерцании. Мечтал ли он о славе, считал ли свои капиталы, плакал ли о людях? Может быть, в эту ночь он думал о них, думал о том, что мог бы он сделать для «малых сих»... Но это только сегодня...

Думал ли он, что эта утешающая его елка была срублена на опушке леса, где гниет заживо большая ель, погубившая эту, и никому от той ели пользы нет?

По крайней мере, мне, глядя на него, одинокого бобыля, вспомнились слова лесника:

— Ни дать, ни взять эта ель самая... Ни себе, ни людям...

Елка догорала, и мрак окутывал золоченый зал и темную, осунувшуюся фигуру... В ночь под Рождество!

Труженики

Владикавказская дорога.

Ищем злоумышленников!

Министр путей сообщения произносит речь, обращенную к администрации дороги, и, выражая ей сочувствие, надеется, что «несправедливые нападки на дорогу не ослабят энергии тружеников, и они будут помогать управляющему высоко держать знамя владикавказской жел. дор».

Управляющий дорогой Кригер-Войновский сообщает, что покушений на крушение поездов злоумышленниками за год было 18.

И вдруг фельдшер Лопухов, оказывавший помощь пострадавшим, заявляет, что главным злоумышленником является управляющий дорогой Кригер-Войновский.

Министр говорит: «Труженик!»

Фельдшер говорит: «Злоумышленник!»

И фельдшер сказал это в тот самый момент, когда управляющий дорогой трудился, осматривая путь на месте крушения, конечно, окруженный свитой своих ближайших помощников-тружеников.

Насколько прав фельдшер, сказавший свое жестокое обвинение, выяснится впоследствии, так как его слова запротоколены.

Министр же сказал совершенную правду, назвав ближайших помощников управляющего владикавказской дороги — тружениками.

Труды инженеров этой дороги видны всем посетителям курортов. Ведь владикавказская дорога совсем особенная, правда, и преимущества у нее особенные, и особенная высшая администрация.

Это объясняется, во-первых, географическим положением дороги, а во-вторых, ее родственной связью с далеким, но близким для нее, в силу этой связи, Петербургом. Последнее заключается в том, что хозяевами дороги состоят петербургские сановники, владеющие акциями.

Последнее дает возможность высшим чинам администрации дороги чувствовать себя на высоте призвания чуть не полубогами.

Первое дает им возможность в глазах сановников, приезжающих на курорты, казаться тружениками.

— Хороший чиновник всегда в виду у начальства! А они всегда на виду во время сезона.

Лето, когда идут главные работы на линии, все высшее начальство дороги в мундирах и орденах служат свою службу на дебаркадерах курортных вокзалов, встречая и провожая то сановников других ведомств, то свое ближайшее начальство, то власть имущих своих акционеров, с мая по сентябрь включительно.

Инженеров этой дороги то и дело видишь на всех курортах, то кого-нибудь сопровождающих в курзалах «по делам службы». А то с кем-нибудь пирующих, когда на огромной линии идет перемена шпал — самые горячие летние работы. Не разорваться же

этим поистине труженикам, мечущимся на виду у того или другого начальства в суете курортной жизни! Не могут же они одновременно быть и на курортах, и наблюдать за кладкой шпал, и уследить, чтобы шпалы все подряд, где нужно, клались новые, а не одна новая на десяток старых.

Именно это указание приходится делать потому, что пассажиры, привезшие с прошлого крушения гнилые шпалы, рядом с ними находили и новые.

Когда встречаешь на курортах инженеров блестящих и расфранченных, сразу видишь: — Им не до шпал!

Вот злоумышленников разыскивать они еще могут, потому что это дело, не требующее постоянного и упорного труда.

Чуть крушение — заявляй: — Злоумышленники!

Как же не поддерживать того инженера, который сумел доказать, что не гнилые шпалы, а злоумышленники причина крушения!

И встреча такого инженера с сиятельным акционером на курортах будет самой взаимно-приятной встречей. Одновременно и служба, и удовольствие.

И эти труженики в глазах начальства, конечно, являются заметными и получают высшие назначения, как лично известные, умеющие служить и... услужить.

Услужить его превосходительству, лечащему печенку, услужить ее превосходительству — спускающей или нагуливающей жир.

А там, где-нибудь, в глухой степи следить за тем, как кладут шпалы, дело хоть, может быть, и почтенное, но не выгодное: никто не заметит, не обратит внимания, никто и знать не будет имени безвестного труженика...

И не в одном министерстве путей сообщения существуют курортные труженики, которые делаются известными и возвышаются потому, что умеют показаться кому следует и любезно услужить кому следует.

Передо мной повесть из курортной жизни, написанная несколько лет тому назад и не попавшая в печать «по независящим обстоятельствам». Название повести «Труженики». Одну из глав этой повести позволю себе привести.

На огромной, крытой террасе санатория-гостиницы в Ессентуках, содержателями которого являются чиновная особа и молодой доктор, должно быть, по случаю сильного ливня или, может, потому, что еще рано, столы были заняты не все.

Катя и Шиллер поместились невдалеке от длинного стола, сервированного необычно роскошно: серебряные вазы с огромными, свежими розами, розы у приборов, дорогой хрусталь.

— Ахмет, это для кого? — спросил Шиллер старого слугу-татарина.

— Какие-то особы из Петербурга. Сами их превосходительство рано утром приходили и обед заказывали для них...

— Министра ждут?

— Не могу знать... Да разве одних министров наш-то ублажает... Ему все там, которые важнее, нужны. Сами изволите знать... Уж и хлопот у нашего-то: того встретить, другого угости... Всем угодить надо... Труженик-с!

Ахмет подал шашлык и шепнул:

— Идут-с!

Из двери, сгибаясь в полтуловища и извиваясь задом, пятилась длинная, тонкая фигура. Катя взглянула на его желтое, длинное лицо, оживленное пронизывающими глазами и разрезанным пополам улыбающимся ртом с тонкими губами.

— Змий! — шепнула Катя Шиллеру.

Вошла полная, красивая дама под руку с важным толстяком в чесунчевой паре. Сзади шли блестящие кителя гражданских ведомств. Все это уместилось вокруг стола с цветами. Метрдотель и лакеи засуетились.

— Катя! Мы в раю, не правда ли? — улыбнулся Шиллер.

— Еще бы: цветы, благоуханье...

— Нет, ты уж очень хорошо его змием назвала... Какой-то гибкий, лезучий... Положительно рай... Помнишь, в священном писании ты учила грехопадение? Все налицо: и змий, и Адам, и Ева... Видишь, как змий то к Еве, то к Адаму... Больше, однако, к Еве...

— Только змий в очках...

— Ну, что же! Очковый... Помнишь, в священной истории люди змию, властителю до них рая, мешали? Он знал, что придет время, когда человек наступит пятой на голову змия, и, желая от этого избавиться, решил задобрить Еву: дал ей яблоко...

— С запретного дерева?

— Да, а она половину яблока сама скушала, а другую Адаму отдала, да еще и змия представила как весьма любезного и почтенного господина... И пришлось с той поры Адаму потерять надежду наступить пятой на главу змия... Может быть, Адам и хотел бы пятой наступить на главу змия, зная весь его вред, но яблоком попользовавшись, стало быть, нельзя! А там из рая попросили, и остался змий один властителем... Каялся, должно быть, Адам:

— Через супругу согрешил! Ее змий уговорил, а меня она...

Катя смеялась.

За соседним столом пили шампанское пополам с нарзаном.

Змий успевал всех разговором занимать, всем стаканы наливал и улыбался широким ртом на все четыре стороны.

— Вот, Федя, насчет змия-то правильно, а насчет Евы и Адама не совсем: всех одинаково угощает и никакого яблока Еве не подносит...

До них долетали отдельные фразы:

— Четвертого номера стакана не достанешь!

— Вереницами больные стоят... Часами дожидаются...

— Неужели? — сложив губки бантиком, удивленно и недовольно прошептала дама в белом.

— А ведь ей именно четвертый номер нужен, — прибавил сановник.

Змий как-то изогнулся и исчез, бросив на ходу с той же улыбкой:

— Не извольте беспокоиться...

Исчез в коридоре на одну минуту и опять очутился рядом с дамой.

— Правда, что в эти часы четвертый номер на замке?

— Заперт-с... — улыбался змий. — В четыре отопрут...

И снова наливал нарзан в шампанское и шампанское в нарзан.

Вошел человек с огромным графином и передал его змию. Тот поставил графин перед дамой и что-то сказал. Что сказал — ни Шиллер, ни Катя не слышали, но дама опять сделала удивленное лицо, губки бантиком и протянула жалостно:

— Неужели?!

— Так точно-с...

— Да ведь теперь заперто...

— Только не для вас... Для вас нет ничего запретного...

Шиллер позвал Ахмета и, платя по счету, спросил:

— Что это за графин принесли?

— Ее превосходительству номер четвертый воды-с...

— Ну вот, Катя, теперь можешь наблюдать и полную картину грехопадения! Только, конечно, Адам и Ева не страдают, а змий себя сохранит! Разбираясь же юридически, змий совершил преступление по службе: растратив из личных выгод доверенный ему материал, добыв его через соучастников из-под замка, и 2-е — вовлек особу в невыгодную сделку, пользуясь слабостью женщины.

— При чем здесь слабость женщины! Я бы так же поступила. Я ей завидую! Если бы я была жена этого сановника, а не бедного адвоката, так пила бы четвертый номер у себя дома, а не жарилась бы по четыре часа на солнце!..

— А я что бы делал тогда? Мирволил змию!.. Эх ты... Ева!

Из репортерства

Были в те времена в Москве беспризорные и безнадзорные ребята, которые ночевали на чердаках, в помойках, в водосточных трубах, воровали с лотков и поездушничали, то есть по вечерам выхватывали с экипажей у едущих на вокзал пассажиров вещи или вырывали сумочки у дам и бесследно исчезали в столичной темноте.

Была и совсем мелкота, которая являлась по ночам в полицейские участки, и их оставлял дежурный переночевать, а какой-нибудь сторож и кусок хлеба сунет.

Были тогда богачи. Укажу на одного, о котором придется говорить в этом рассказе, — это бакинский нефтепромышленник Шамси-Асадулаев, который владел роскошно отделанным домом на Воздвиженке, где теперь помещается «Крестьянская газета».

Шамси — бывший простой носильщик в Бакинском порту — оказался владельцем участка, в котором забили нефтяные фонтаны, и в один год сделался миллионером. Потом переселился в Москву, женился на русской, некоей Марье Петровне, особе еще молодой, высокого роста, весьма дородной и знавшей, как пожить. Она одевала своего старого азиата в черный сюртук, в котором он молча и встречал гостей на беспрерывных пирах в своем новом дворце.

А в Баку у него осталась семья, взрослые красавцы сыновья и жена.

Конечно, семья была против этой женитьбы и жаждала мщения. Постановили убить и жену и самого Шамси.

Вот тут-то мне и пришлось совершенно случайно вмешаться в это дело.

Началось с того, что, присутствуя по какому-то крупному делу в окружном суде для газетного отчета, я попал «под суд».

Попасть «под суд» — тогда обозначало спуститься в нижний этаж здания суда, где был буфет.

Во время перерыва заседания я вхожу в буфет и вижу: за угловым столиком одиноко сидит знаменитый адвокат, мой добрый приятель — Ф. Н. Плевако. По воскресеньям я нередко бывал у него на пироге в его доме на Новинском бульваре...

Сидит задумавшись, опустил свое огромное четырехугольное, калмыцкого типа, лицо на ладонь левой руки в самой задумчивой позе — и, увидав меня, пригласил за свой стол.

Мне подали завтрак, а он все молчит и хмурит брови.

— Вы что это, Федор Никифорович, задумались так?..

— Н-да, задумаешься! Ну, хорошо, я вам расскажу, только беру с вас слово не печатать этого в газетах... Я говорю с вами не как с корреспондентом, а как с добрым знакомым. Второй день мучаюсь — а ничего не могу придумать. Вы, конечно, знаете Асадулаева?

— Никогда в жизни не видел, а знаю, что есть такой богач-нефтяник Шамси-Асадулаев.

— Он самый. Ну слушайте же.

И рассказал мне Плевако, что к нему обратился Шамси с просьбой спасти ему жизнь, рассказал свое семейное положение и охоту за ним родственников, что уже одно покушение было на его русскую жену и на днях убьют и ее и его наверное. Цель у них, конечно, получить наследство. Причем они предупреждают, что если он переведет состояние на жену, то ее убьют тоже. Обращаться к прокурору, в полицию — ничего не выйдет! Шамси с ума сходит, не знает, что делать... и я тоже не знаю.

— А Шамси перевел состояние на жену?

— Нет... Он боится переводить... А главное, боится, что его убьют и тогда наследство перейдет к его семье... Как тут быть?

— Да очень просто, — говорю. — Пусть он составит духовное завещание.

— Да уж составлено — половину той семье, половину жене...

— Это знает старая семья?

— Ну за это и убить хотят.

— Так вот, Федор Никифорович, пусть завещание это останется без изменения, только

прибавьте одну стрючку: в случае насильственной моей смерти и жены все мое состояние перейдет целиком на дела благотворительности. И уведомить об этом семью!

— Пожалуйте, сейчас суд войдет, публика уже в зале, торопитесь, — подбежал ко мне курьер.

Плевако хлопнул себя по лбу. Глаза его сверкали.

— И как не додумался я.

— Извините, бегу, боюсь опоздать.

Плевако мне что-то кричал вслед, а я мчался по узенькой лестнице вверх.

Как-то появилась заметка в газетах о беспризорных, ночующих по участкам. Образовалось общество «защиты беспризорных детей». Во главе стояла жена градоначальника, что привлекло массу московских богатеев, и дело пошло: стали открываться приюты, школы беспризорных. Печать заговорила сочувственно. «Русское слово» меня просило дать отчет об одном важном заседании общества в зале дома градоначальника, куда я успел попасть только к десяти часам, прямо из балета, во фраке. Я прибыл к концу заседания, на котором только что выбрали в почетные члены Асадулаеву, пожертвовавшую какую-то очень крупную сумму на новый приют. Ее поздравляли — и она приглашала по своему выбору человек двадцать особо почетных членов сейчас же ехать к ней на ужин. Меня кто-то представил ей, и через полчаса я входил в яркий зал, с огромным столом, сверкавшим серебром и хрусталем.

Я, проголодавшийся, набросился на зернистую икру, балыки, горячие закуски и пропускал рюмку за рюмкой. Сам Шамси всем молча кланялся и угощал, как умел, полный радушия. Блестящая Марья Петровна тоже. Около нее помогали ей молодые люди в черкесках с золотыми украшениями. Это были сыновья и родственники Шамси, сразу помирившиеся после нового духовного завещания, жившие уже в Москве у Асадулаевых — лучшие их защитники!

И вот, благодаря беспризорным, я лакоплюсь деликатесами и чудными винами в ожидании роскошного ужина...

Но не пришлось поужинать! Почти рядом со мной стоял и закусывал градоначальник. К нему быстро подбежал чиновник особых поручений и шепчет ему:

— Пожалуйте к телефону... Что-то ужасное... Сейчас на Лосиноостровской идет бой с анархистами... Есть убитые...

И оба исчезли к телефону в приемную. Я за ними. Телефон рядом с дверью в пустой коридор. Притворил дверь, слушаю.

— Что? Кто убит?.. и начальник ранен? На Ярославском вокзале. А... жив еще... А когда отходит экстренный? Роте уехать!

Я больше не ждал, а нырнул в переднюю, наскоро надел пальто, взял лучшего извозчика и через двадцать минут был на Ярославском вокзале.

Там суматоха страшная. У знакомого служащего узнаю, что на Лосиноостровской перестрелка — анархисты засели в дачу, их осаждают, есть раненые и убитые. Сейчас привезли с поездом раненых, отправили в больницу, а начальника охраны и еще какого-то офицера перевязывают у начальника станции в кабинете, что сейчас отходит поезд с войском.

Я бросился на платформу, по пути заглянув на перевязку: в кабинете начальника станции хлопотали доктора... я видел только двух раненых: одного перевязывали на диване, около него таз с кровью, другой, тоже раздетый догола, сидел на кресле, из плеча его текла кровь — доктор обмывал. Это был начальник охраны.

Я бросился к поезду — вовремя. Он уже бесшумно без всяких свистков, медленно двигался. Я в конце платформы догнал его и успел вскочить на площадку последнего вагона 3-его класса — а дверь вагона была затерта... Так и мерз я в снежную выюгу на северном ветру, вспоминая о деликатесных закусках. Последний вагон мотало во все стороны, поезд мчался, как безумный!

С корабля на бал, — вспомнилось мне, но с бала на корабль, да еще в бурю. Много

хуже.

Вот замелькали огни Лосиноостровской. Вдали грянул залп... Несколько ответных выстрелов... Снова залп... Форменная перестрелка влево от поезда...

Наконец он остановился. Последний вагон далеко от платформы. Я прыгнул в сугроб, увяз почти по пояс в снегу, и, когда выбрался, солдаты вылезали из вагонов. Сторож мне указал, куда — и я бросился бегом по дороге, завьюженной метущим снегом. Я бежал на выстрелы. На улице толпы народа жмутся к стенам... Посвистывают пули... Передо мной дача с открытым слуховым окном, из которого нет-нет да и мелькнет огонек. За соседней дачей в саду прячутся солдаты и жандармы. Палят в окно и крышу. Я затесался среди них. Узнаю, что анархисты скрылись в пустой даче, и когда их хотели арестовать — стали отстреливаться. По телефону вызвали из Москвы жандармов и солдат. Убили нескольких из них, убили жандармского офицера и ранили начальника охраны — полковника. Между садиком и дачей, в которой были мы, не то небольшой пустырь, не то двор. Низ дачи освещен изнутри — даже видна лампа на столе сквозь разбитые окна.

Пришли еще солдаты и тоже стали сзади нас. Снова дали залп по крыше, целясь в слуховое окно. Ответа не последовало. Стрельба прекратилась, и без выстрелов еще жутче стало.

— Что-то они затеяли, может, бомбы, — слышу шепот сзади меня.

Все стихло. Внизу дачи, как видно в окна, никого нет. Спрашиваю, стреляли ли из нижних окон и из дверей, получаю уверенный ответ:

— Нет, только из одного слухового окна с чердака.

Соображаю, что двор между мной и дачей не находится в полосе обстрела, — с чердака только можно стрелять вдаль, не вылезая из окошка.

Взглядываю на часы — половина второго. Опоздал в редакцию, весь заряд пропал. Решаюсь на исследование и вдвоем с каким-то оборванцем перебегаю дворик, заглядываю в окна, лампочка жестяная на столе, темнота в следующей комнате, где входная дверь и полная тишина. Ни звука. Подбегает к нам жандарм и двое солдат.

— Ну что?

— Да ничего не слышать! Наверное, всех перебили.

— Еще бы, крыша как решето!

К нам присоединяется местный житель в железнодорожной фуражке и вынимает из кармана электрический фонарик.

Мы обходим с другой стороны. Рванули дверь — отворилась. Это сени, приставная лестница на чердак.

Прислушиваемся — ни звука.

К нам начинают присоединяться полицейские и солдаты.

Железнодорожник с фонариком поднимается по лестнице и тотчас же спускается.

— Там никого нет. Да я близорук — плохо вижу, только там тихо.

Беру фонарик, поднимаюсь. Никого. Гляжу дальше — у борова трубы лежит ничком человек, и луч фонаря осветил руку с зажатым в ней браунингом.

— Убитый лежит, — говорю я и передаю фонарик жандарму. А в это время оборванец как кошка взбирается по лестнице и исчезает на чердаке. Жандарм ждет с фонариком. Через минуту оборванец кричит сверху:

— Там убитые!

Быстро слезает и прямо к двери, но поскользывается, и из-под его отрепьев падает на пол браунинг. Жандарм и двое каких-то уже наверху кричат:

— Только один убитый, больше никого нет! А у двери шум. Там задержали оборванца. — Вот он! Пистолет у него!

— Держи анархиста! Вот он, этот стрелял! Жандарм спускается и заявляет, что там только

один труп, а около него несколько браунингов.

— Уйти некуда, один только и был!

Я бегу на станцию, может, на счастье, поезд застану. И застал. Через десять минут наш экстренный поезд, погрузив четверых раненых, отправляется в Москву.

К самому отходу успел прибыть фельдшер, который мне уже дорогой рассказал, «что смехота вышла». Поймали анархиста с браунингом, а он оказался местным пьяницей, у убитого револьвер стащил да и попался. Его узнали местные жители и отпустили. Он сознался, что украл браунинг у убитого.

* * *

Без четверти четыре я был в редакции, замерзший и в одной калоше, другая осталась в сугробах. Полосы газеты были сверстаны, у вкладного листа одна полоса сверстана, а другая еще в машине. Через полчаса моя корреспонденция в целую колонку уже стояла в полосе, номер вышел в свое время.

Актер Далматов

В. П. Далматов — слишком крупная величина; это знают Петербург, Москва и вся интересующаяся театром Россия.

Мое первое знакомство было с ним в Саратове, в саду Сервье, в 1876 году, когда он играл первых любовников, а я был на маленьких ролях. Большой франт, ухаживатель и беззаботный гуляка с товарищами, Василий Пантелеймонович был общим любимцем.

Там же, в саду, он обратил на меня внимание, и мы подружились. Вскоре после этого я ушел на войну, и это мое решение поразило Далматова.

Во время моего пребывания в действующей армии Далматов очень заботился обо мне, писал и посылал разные вещи: фуфайки, чай, табак, конфеты и деньги, и все звал к себе служить. После кампании, тотчас после возвращения из Турции домой, я от него получил письмо (5 октября 1878 г.), в котором он поздравлял меня с благополучным окончанием кампании и приглашал к себе служить в Пензу, где он антрепренерствовал.

«Мне говорили, что вы уже получили отставку, если это так, то приезжайте ко мне трудиться... Я думаю, что отец доволен вашим поступком (я ушел на войну охотником), мне кажется, что он вполне заслуживает признательности и похвалы. Что же касается меня, то, в случае неустойки, я к вашим услугам; хотя я и вновь обзавелся семейством, но это нисколько мне не мешает не забывать старых товарищей...»

Таким Василий Пантелеймонович остался и до конца жизни: он помнил и любил товарищей-артистов и помогал им без отказа, часто не имея ничего сам.

Служа в его труппе в Пензе, куда я приехал после вышеприведенного письма, я посмотрелся на его отношения к актерской братии. То и дело приезжали или, может быть, вернее, приходили разные Крокодиловы-Вельские, Таракановы-Вяземские, и каждому давались деньги добраться до Москвы или до другого какого города. А если объявлялись бывшие сослуживцы — брал Василий Пантелеймонович к себе на службу, переполняя труппу. Авансами разоряли — но отказать не мог никому.

Сняв театр в помещицьем городе Пензе, Далматов сразу вошел в высшее общество, тогда еще проедавшее остатки своих барских имений. Губернатором был А. А. Татищев, покровитель театра, и во главе интеллигенции стоял адвокат В. П. Горбунов, страстный любитель сцены и великолепный актер-любитель. Около губернатора и Горбунова образовались два кружка любителей театра, и Далматов в том и другом кружке пользовался уважением и почетом. Театр помещался в доме Л. И. Горсткина, старого барина в полном смысле слова, имевшего свою постоянную литературную ложу и посещавшего иногда даже репетиции. Горсткий, долго вращавшийся среди избранного общества Петербурга и Москвы, приятель знаменитостей столичных театров, целыми часами просиживал с Далматовым в своем, Горсткинском, кружке пензенских театралов.

Все это вместе дало возможность Далматову высоко поставить театр в Пензе и давать

лучший современный репертуар при великолепном исполнении. Сам он играл первые роли в комедиях, но так как в репертуар входила и оперетка, то Пенза Далматова видала в «Птичках певчих» — губернатором, в «Жирофле-Жирофля» — Мурзуком и Агасфером — в жесточайшей трагедии Висковатова «Казнь безбожному», состоявшей чуть ли не из 27 картин с умопомрачительными заглавиями.

Я хорошо помню трехаршинную афишу, испещренную огромнейшими буквами рубрик и кончающуюся так:

«КАРТИНА 27 И ПОСЛЕДНЯЯ
СТРАШНЫЙ СУД И ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ,
в заключение чего всей труппой будет исполнена русская пляска».

Пьеса эта шла в бенефис актера Конакова, и в ней участвовали все первые персонажи, до ingenue М. И. Свободиной-Барышовой и примадонны Райчевой включительно.

Злился Далматов на актеров, выбиравших для бенефисов такие страшные вещи, но приходилось мириться, потому что они делали сборы, поднимая семьи лабазников с базара и сенной площади.

Зато бенефисы Далматова и Свободиной-Барышовой собирали всю аристократию, и ложи бенуара блистали модными аристократками, а бельэтаж — форменными платьями и мундирами учащейся молодежи.

Кончался сезон, Далматов прекрасно расплачивался с актерами, уезжавшими в Москву на великопостную биржу; сам он никогда не ездил для набора труппы, а все делалось перепиской, так как предложения к нему сыпались десятками. Великий пост Далматов отдыхал в своей роскошной квартире при театре, то устраивая кутежи в небольшой компании, то занимаясь чтением, приведением в порядок библиотеки и разучиванием новых ролей или выбором новых пьес, а иногда писал и сам пьесы, и одна, «Труд и капитал», была запрещена цензурой. Потом ее играли под другим названием.

За стаканом вина до утра мы засиживались в его кабинете, споря и мечтая. Самым ярким из наших разговоров была его фантазия насчет постановки «Гамлета». Он говорил от третьего лица.

— Был у меня один приятель, — говорил Далматов, — который возмущался постановкой «Гамлета», говоря, что это насмешка над Шекспиром... — И тут Василий Пантелеймонович до утра, увлекательно и неотразимо развивал свои фантазии, которые лет через двадцать после того, когда я это слышал, прочел в одном из напечатанных рассказов Далматова, где герой актер повторил то, что мы слышали тогда:

— Гамлет — первый христианский философ... На сцене его ставят совсем не так... Прежде всего это не трагедия, а картина нравов. С этой точки зрения и надо подходить к ней. На кой дьявол они ломаются, позируют в каких-то невероятных дворцах, в шутовских балетных костюмах, декламируют с пафосом... И пьесу бы я назвал не «Гамлет», а «Бродяга»! Гамлет со своим христианским пробуждением среди язычников — чистокровный бродяга, и таков он и должен быть. Я бы уничтожил колоннады и дал бы самые неприглядные внутренние помещения грязных средневековых дворцов... Сорвал бы балетные плащи и трико и одел бы всех в грязные ткани, заковал бы воинов не в картонную, а в настоящую броню, чтобы они ходили тяжело, глядели бы сурово... Подумай, какая нелепость: зима, ветер, а Гамлет и все придворные гуляют без штанов! Это в Дании-то. Ведь не Палестина!

— А лица? Это не датчане, не викинги! На их лицах, грубых и типичных, должна отразиться постоянная борьба, на море и суше... Росси! Сальвини! Да они более всех виноваты пред Шекспиром... Головы, завитые барашком... Маскарадные костюмы... Вы не чувствуете бытовой стороны пьесы и появления христианина среди язычников по существу. Первый Гамлет среди них ставит вопрос: «Быть или не быть?» Разве до него кто-нибудь задумывался и философски объяснял значение жизни человека? Этот основной христианский тезис всегда пропадает, заслоненный грехопадением матери...

— Не важно, что мать Гамлета, полюбив Клавдия, вышла замуж за любимого человека, а важно, что Клавдий лишил жизни человека из своих выгод. Но окружающие не понимают этого и весело празднуют, один христианин Гамлет протестует о гибели не отца, а человека! Христианин восстает за человека вообще!

— Офелия? Патока романтизма, извращающая смысл понятия о целомудрии... Долой белокурый парик!.. Ее помешательство выражено Шекспиром достаточно ясно... Помешательство Офелии вызвано убийством отца рукою человека, который ей нравился — заметить, физически прежде всего, точно так же, как и Гамлету Офелия... Ее сумасшествие произошло на чисто патологической почве... Это ясно из эротических песенок, которые она напевает в четвертом акте, в сцене сумасшествия.

— Офелия должна быть здоровая, кровь с молоком! Грешная, с темпераментом, а не бескровная лимфа по шаблону Гретхен, Луиз и других девственниц не от мира сего... Все ее помыслы прикованы к земле... Точно так же и все остальные лица, кроме Гамлета, который состоит из двух начал: в основе грубый варвар, поступающий несдержанно и коварно, способный на подлоги и преступления, не останавливающийся перед убийством, мстительный и злой. Можно себе представить, что получилось бы из Гамлета, если бы он не был проникнут идеей христианства и отсюда отвлеченной философией...

Этот рассказ Далматов мне прислал в оттисках, с личной, дружеской подписью. В нем тот же герой, говорящий о Гамлете, Володя Румянцев, пишет катехизис актера, в который Далматов, конечно, вкладывает свою душу, свои взгляды. И этот катехизис хорошо бы взять для руководства каждому человеку.

Приведу выдержки:

«Уважай труды других, и тебя будут уважать.

Будучи сытым, не проходи равнодушно мимо голодного. Не сокращай жизни ближнего ненавистью, завистью, обидами и предательством. Облегчай путь начинающим работникам сцены, если они стоят того, поддерживай нуждающихся, больных, немощных и детей. Не кичись богатством, силой и славой — помни, что все преходяще в этом мире.

Не лихоимствуй и не тунеядствуй. Актер, получающий жалованье и недобросовестно относящийся к делу, — тунеядец и вор. Антрепренер, не уплативший жалованья добросовестному актеру, — грабитель.

Не клеветни. Не поддавайся самообману.

Будь чистоплотен душой и телом и не считай себя непогрешимым».

Таков актер Володя Румянцев, в уста которого Далматов вложил свое мирозерцание...

В посмертном дневнике Володи написано:

«Ежедневно я должен был сделать какое-нибудь доброе дело; в конце концов эта потребность до такой степени сделалась органической, что я не мог без этого жить, как без пищи».

Это, безусловно, автобиографические черты Далматова...

Таким я его знал в Саратове, в Пензе, в Воронеже и, наконец, в Москве, в начале 80-х годов, когда он, в полной славе, играл в столичных театрах. Затем Далматова похитил Петербург, и в последний раз в Москве он гастролировал в позапрошлом году. И в эти дни он часто бывал у меня и засиживался, вспоминая старину.

И в эти дни в книге, где записывают памятки мои друзья, он подписал:

«Старый друг юных дней!»

Но по его жизнерадостности он мог бы смело тогда подписаться: «Юный друг старых дней».

Женитьба цезаря

Во время революции 1905 года, когда против Столешникова переулку, у дома генерал-губернатора, стояла пушка, наведенная на Петровку, в переулке было

необыкновенно тихо. Когда утром выпадал снежок, то он целый день лежал, не отражая следа ни одной человеческой ноги ни на мостовой, ни на тротуаре.

Подойдешь к окну и, под грохот отдаленных выстрелов, смотришь на девственный снег переулка, и вдруг следы... собачьи.

— А, это Цезарь! — обрадуешься.

Следы идут поперек улицы в дом Карзинкина, где заперты ворота, и снова возвращаются к нашим воротам.

А вот и Цезарь. Он деловито бежит к карзинкинским воротам, нюхает фонарный столб и назад. Он один оживляет мертвую улицу.

Эта желтая, крупная, рыжая дворняжка, каких так много на московских улицах, теперь уже старая, пользуется и до сих пор всеобщей любовью, и все ее в округе знают. Цезарь считает долгом службы бросаться на извозчичьих лошадей, громогласно лает и будто бы хватает лошадь за морду, но на самом деле только делает вид. На Большой Дмитровке он обязательно облает вагон трамвая, когда тот начинает двигаться от остановки, и старые кондуктора его приветствуют:

— Цезарь! Цезарь!

Городовые на углу переулка милостиво и ласково относятся к старой собаке, которая обязательно сначала повиляет хвостом перед грозным начальством, а потом уже, получив санкцию, облает трамвай, а иногда издали и автомобиль, которого боится. Сделает свое дело, облает, и, кончив, по своему убеждению, службу, возвращается домой.

Лет двадцать живет Цезарь в переулке. Последние семь лет поселился у меня.

До этого времени он никому не принадлежал, ютился по задним дворам, где дружил с уличными ребятишками и столовался на помойках, всегда счастливо избегая городских сетей, которые раскидывают по утрам ловцы собак. Он боялся даже вида собачьей кареты, где раз ему удалось очутиться и из которой он как-то бежал.

Много лет Цезарь служил доходной статьей дворников и мальчишек.

Каждое воскресенье рано утром обязательно или какой-нибудь мальчишка, или дворник тащил его на веревке на Трубную площадь и продавал кому-нибудь не дешевле рубля.

И каждый понедельник Цезарь возвращался в переулок с перегрызанной веревкой на шее.

Много лет продолжалась эта торговля, до тех пор, когда, наконец, Цезарь попал ко мне.

А случилось это так.

Весной 1907 года, часов в 9 утра, я сидел у себя и работал. Докладывают, что пришел местный околоточный. Принимаю.

— Извините, я к вам с просьбой... Уж извините... Больше не к кому обратиться... Только...

Думая, что у околоточного, славного, добродушного солдата, какая-нибудь нехватка или неприятность, требующая моего заступничества, я предложил ему не стесняться и говорить.

— Вы изволите знать, тут в вашем переулке есть собачка... добрая такая... Цезарем звать... Так что она сама по себе, бесхозьяская, а проживает на дворах... Так вот извольте прочитать, бумага от градоначальства...

— Цезарь? Бумага? Ничего не понимаю!

— Так что он портного немного укусил... Опять пальто изорвал... Тот пожаловался, и вот бумага.

Читаю. Оказывается, предписание пристава: «оную бродячую собаку, именуемую Цезарем, уничтожить».

— Так вот пристав мне и приказал ее уничтожить... Что же, вешать, что ли, я ее буду? Нешто это возможно... Собачка ласковая... А ежели с портным у них... так это промеж себя вышло. Наверное, дразнил собаку, и притом он всегда пьяный...

— Ну, что же я могу сделать?

— Да уж пустяки... Ежели портному, коли к мировому заявит, не больше... трешницы... А может, и так обойдется.

— Ну, что же, вот три рубля!

— Не надо-с, помилуйте! Я и сам бы трешницу-то ему отдал, свою... А ведь собачка-то ласковая... Я не о том... Видите... Нельзя ли на этой бумаге написать, что собака ваша... Тогда, значит, и делу конец... А собачка-то хорошая.

Околоточный быстро повернулся, пошел к двери, отворил и позвал:

— Цезарь! Цезарь!

Никогда не бывавший у меня, Цезарь, боязливо виляя хвостом, подошел и, вытянув лапы, сделал мне, ласково улыбаясь, собачий книксен.

— Вот видите, я его захватил с собой, а он и пришел... Стало быть, судьба!

Я взял бумагу и написал в ответ на предписание об уничтожении собаки следующее:

«Сим удостоверяю, что оная собака, именуемая Цезарь, принадлежит мне и ответственность за нее принимаю на себя, а завтра в городской управе выправлю на имя Цезаря законный вид на проживание в столице и собачий знак отличия для ношения на ошейнике».

Радостный и благодарный околоточный погладил Цезаря, сказал ему «живи, слушайся хозяина», и ушел.

Вот и живет у меня седьмой год Цезарь, несмотря на свой преклонный возраст продолжая лаять на извозчичьих лошадей и на трамвай, но уже не бросаясь на подножки, а только издали, так как раз был сшиблен вагоном и получил перелом ноги.

* * *

В конце сентября, в одно из воскресений, сижу один и читаю газеты. Цезарь расположился рядом, на полу, и умильно смотрит на меня. Попадаетеся объявление:

«Невеста с приданым от 3,000 р. до 300,000 р. адрес: Германия, Берлин, 112. Брачное бюро Александра Блюгера. Желаящие сообщают свой адрес и 10 коп. марками на ответ».

— Цезарь! Хочешь получить три тысячи рублей? Цезарь мило улыбнулся и молча утвердительно шевельнул хвостом.

Я вложил в конверт 10-копеечную марку, сделал запрос Александру Блюгеру, прося прислать подробности.

— Цезарь, позволишь за тебя расписаться? Не привлечешь меня к ответственности за подлог?

Цезарь молчаливо согласился.

И я, подписавшись К. Цезарь, написал адрес, опустил письмо и, конечно, забыл этот случай.

Через неделю получаю письмо из Берлина: «Москва, Столешников, 5, кв. 10. Господину К. Цезарю». Читаю письмо на бланке «Международное брачное бюро Александра Блюгера. Текущий счет в дрезденском банке». Подзываю Цезаря и читаю ему следующее.

(Тут же приложена брошюра, в которой бюро Александра Блюгера просит не смешивать его с другими фирмами и сулит золотые горы своим клиентам). Читаю:

«Вы имеете возможность избирать из наших списков одновременно нескольких дам и со всеми избранными вступать в непосредственные сношения и с полной уверенностью можете рассчитывать на достижение счастливого результата»...

«Мы откровенно знакомим вас с личными, семейными и материальными обстоятельствами избранной дамы».

— Цезарь, слышишь?

Цезарь молчал и никакого внимания. «Мы имеем огромные связи в России и за границей во всех слоях общества»...

«Списки дам мы высылаем вам на русском языке»...

«Чтобы предоставить мужчинам большой выбор, мы работаем для дам не только

совершенно безвозмездно, но вообще, в интересах мужчин, не жалею трудов и расходов, чтобы привлечь в число клиенток как можно больше богатых дам. (У нас агенты повсюду.) Для этого нам приходится часто совершать деловые поездки, поддерживать и расширять сношения во всех слоях общества, вознаграждать наших представителей, и сотрудников, и агентов, платить информационным бюро за наведение справок о наших клиентках и т. д., не говоря уже о весьма значительных расходах на объявления, фотографии и т. п.».

Далее следует требование 10 рублей вперед и прилагается вопросный бланк, на который нужно ответить.

Пока я читал, Цезарь уснул, и я уже ответил на бланке по своему усмотрению.

1) Имя, отчество и фамилия? Отв. К. Цезарь.

2) Место жительства?

О. Столешников, 5. Москва.

3) Сколько лет? О. Двадцать два.

4) Национальность? О. Русский.

5) Холост или вдов?. О. Холост.

6) Имеете ли детей и сколько? О.-

7) Сословие, звание, занятие?

О. Числюсь в списках московской городской управы и состою при конторе.

8) Годовой доход и материальное положение? О. Обеспечен.

Ответив на эти вопросы, я разбудил Цезаря и спрашиваю:

— Пошлем десять рубликов?

Цезарь сердито заворчал и уткнулся носом в пол.

Тем не менее, я в тот же день почтой ценным письмом отправил 10 рублей по адресу бюро Александра Блюгера, в Берлин.

Прошло две недели — ответа никакого.

Так и пропали 10 рублей.

Цезарь сердится, когда его спрашиваю:

— Цезарь, жениться хочешь? Ворчит старик и уходит в кухню!

А публикации Александра Блюгера продолжают появляться в газетах; должно быть, «красенькие» так и летят в Берлин, если нет еще каких-нибудь расчетов и доходов у этого Брачного бюро Александра Блюгера в Берлине!

Впрочем, что же? Получишь ни за что, ни про что десять рублей — выгодно и более безопасно, чем, например,

— Торговать живым товаром и поставлять женщин в дома разврата.

Риску никакого.

Расходы только по публикации, которые окупаются и, по всей вероятности, дают доход, так как простаков в России немало, а обманутый жаловаться постыдится.

Собака — другое дело. Ей нечего стыдиться; пропали 10 рублей, на которые я хотел Цезарю купить новый коврик.

Зато в числе женихов брачного бюро Александра Блюгера в Берлине числится для его невест интересный жених:

— Рыжая собака Цезарь!

Из моих воспоминаний

I

В воздушном шаре

В 1883 году, осенью, воздухоплаватель Берг совершал в Москве полеты на монгольфьере, и первый раз я имел удовольствие подниматься с ним. Шар, из какой-то серой материи, напоминающий тряпку, был небольшой и не внушал доверия. Вместо корзины под

шаром были обручи, переплетенные веревками с дощечками вместо дна, тоже связанными веревками и редко положенными одна от другой. Вышина корзины — до колена. Приходилось стоя держаться за веревки, а сесть было некуда. Помню, что был очень туманный вечер, уже темнело, а шар плохо наполнялся. Публика, собравшаяся массой на дворе пустыря Мошнина, в Каретном ряду, где теперь сад Щукина, выражала недовольство и требовала полета. Берг, маленький старичок, страшно волновался и вызывал желающих подняться — но охотников не было. Я в это время работал в «Московском листке» и был командирован редакцией описать полет и пришел с опозданием, когда публика уже сердилась: шар был готов к полету, а Берг искал пассажира. Как это случилось — теперь не помню — но я изъявил желание полететь, вскочил в корзину, Берг последовал за мной, и, может быть, боясь, чтобы я не ушел, сразу скомандовал отпускать шар. Рабочие отдали веревки, и шар ринулся вверх, но как-то метнулся в сторону, низ корзины задел за трубу — к счастью, только самым краем, и все обошлось благополучно. Первый момент слышались приветствия толпы, и сразу все смолкло. Я не чувствовал полета вверх, а только видел, что Москва с ее огнями быстро проваливается и, наконец, совершенно исчезла: холодный туман окутал шар. Это было делом нескольких секунд. Было холодно, сыро и совершенно тихо. Впечатление полета осталось навсегда: и до сих пор, закрыв глаза, я могу себе ясно представить первый момент отрыва от земли. Это самое сильное. И не хотелось спускаться на землю — так хорошо было в мертвой тишине воздуха, даже в этой ужасной корзине, не дающей точки опоры. Впрочем, может быть, в этом и была главная прелесть.

II

Полет Д. И. Менделеева

Полное солнечное затмение наблюдалось в Московской губернии 8 августа 1887 года, и местом для научных наблюдений был избран г. Клин, куда я и прибыл с ночным поездом Николаевской железной дороги, битком набитым москвичами, ехавшими наблюдать затмение.

В четвертом часу утра было еще темно. Я вышел с вокзала и отправился в поле, покрытое толпами народа, окружавшего воздушный шар, качавшийся на темном фоне неба.

— Совсем голова из оперы «Руслан и Людмила».

На востоке небо чисто, и светились розовые, золотистые отблески. А внизу было туманно.

Шар окружен загородкой, и рядом целая баррикада из шпал, на которой стояли аппараты для приготовления водорода и наполнения им шара.

Кругом хлопотали солдаты саперного батальона.

Весь день накануне наполняли шар, но работе мешала буря, рвавшая и ударявшая шар о землю. На шаре надпись: «Русский».

Среди публики бегал рваный мужичонко, торговец трубками для наблюдения затмения, и визжал:

— Покупайте, господа, стеклышки, через минуту затмение начинается.

В 6 часов утра молодой поручик лейб-гвардии саперного батальона А. М. Кованько скомандовал:

— Крепить корзину!

В корзину пристроили барограф, два барометра, бинокли, спектроскоп, электрический фонарь и сигнальную трубу.

С шара предполагалось зарисовать корону солнца, наблюдать движение тени и произвести спектральный анализ.

В 6 часов 25 минут к корзине подошел, встреченный аплодисментами, высокий, немного сутулый, с лежащими по плечам волосами, с проседью и длинной бородой, профессор Дмитрий Иванович Менделеев. В его руках телеграмма, которую он читает:

«На прояснение надежда слаба. Ветер ожидается южный. Срезневский».

Менделеев и Кованько сели в корзину, но намокший шар не поднимается.

Между ними идет разговор. Слышно только, что каждому хочется лететь, и, наконец, г. Кованько уступает просьбам Менделеева и читает ему лекцию об управлении шаром, показывая, что и как делать.

Менделеев целуется с Кованько, который вылезает из корзины. Подходят профессор Краевич, дети профессора и знакомые. Целуются, прощаются...

Начинает быстро темнеть.

Г. Кованько выскакивает из корзины и командует солдатам:

— Отдавай!

Шар рвануло кверху, и, при криках «ура», он исчез в темноте...

Как сейчас, вижу огромную фигуру профессора, его развевающиеся волосы из-под нахлобученной широкополой шляпы... Руки подняты кверху, — он разбирается в веревках...

И сразу исчезает... Делается совершенно темно... Стало холодно и жутко... С некоторыми дамами дурно... Мужики за несколько минут перед этим смеялись:

— Уж больно господа хитры стали, заранее про небесную планиду знают... А никакого затмения и не будет!..

Эти мужики теперь в ужасе бросились бежать почему-то к деревне. Кое-кто лег на землю... Молятся... Причитают... Особенно бабы...

А вдаль ревет деревенское стадо. Вороны каркают тревожно и носятся низко над полем...

Жутко и холодно.

III

Первый аэроплан

Посредине скакового круга стоял большой балаган на колесах, с несколькими навесами из парусины.

Просто-напросто балаган, какие строят по воскресеньям на Сухаревке. Так казалось издали.

Это я видел с трибуны скакового ипподрома.

До начала полета Уточкина было еще долго — и я поехал в парк и вернулся к 7 часам.

Кругом ипподрома толпы народа — даровых зрителей.

«Поднимается! Сейчас полетит... Во-вот!» — слышны крики.

Входя в членскую беседку, я услышал над собой шум и остановился в изумлении:

— Тот самый балаган, который я видел стоящим на скаковом кругу, мчится по воздуху прямо на нас...

— Как живой!

Конечно, я шел сюда смотреть полет Уточкина на аэроплане, конечно, я прочел и пересмотрел в иллюстрациях все об аэропланах, но видеть перед собой несущийся с шумом по воздуху на высоте нескольких сажен над землей громадный балаган — производит ошеломляющее впечатление. И посредине этого балагана сидел человек.

Значит — помещение жилое.

Несущееся по воздуху!

Что-то сказочное!

Оно миновало трибуны, сделало поворот и помчалось над забором, отделяющим скаковой круг от Брестской железной дороги. И ярко обрисовалось на фоне высокого здания.

В профиль оно казалось громадной стрелой с прорезающим воздух острием...

Еще поворот, еще яркий профиль на фоне водокачки — и летящее чудо снова мчится к трибунам... Снова шум, напоминающий шум стрекозы, увеличенной в миллионы раз...

И под этот шум начинает казаться, что, действительно, летит необычная стрекоза...

А знаешь, что этим необычным летящим предметом управляет человек — но не видишь, как управляет, и кажется:

— Оно само летит!..

Но Уточкин показывает, что это «нечто летящее в воздухе» — ничто без него.

Все время приходится бороться с ветром, и, наконец, кажется, на шестом круге ветер осиливает, и быстро мчащийся аэроплан бросает на высокий столб против середины трибун. Многие из публики заметили опасность: еще несколько секунд — полет окончен, аппарат — вдребезги.

— Наносит на столб!..

— Сейчас разобьется!

Но тут исчезает у зрителей летящее чудо, и вырастает душа этого чуда: человек, управляющий полетом.

И в самый опасный момент Уточкин делает движение рукой.

Прекращается шум. Летящий предмет на секунду останавливается в воздухе:

— Сейчас упадет!

Но еще движение рукой, снова шумит мотор, который на секунду остановил Уточкин на полном полете, и направление меняется.

Аэроплан делает движение влево, мимо столба, и поднимается вверх.

Уточкин смотрит на публику. — Ничего! Летим дальше... И снова взмывает выше, и снова делает круг, И впечатление еще сильнее: он прямо летит над зрителями на высоте крыши трибуны и от членской беседки снова несется влево...

Он, наверно, слышит несмолкаемые аплодисменты и крики одобрения и удивления...

Еще два круга — всего 9 — описывает аэроплан и опускается плавно и тихо на траву ипподрома.

Уточкин выходит под гром аплодисментов перед трибуной.

Чествуют победителя над воздухом.

* * *

На зеленой траве круга стоит большой балаган на колесах с несколькими навесами из парусины.

И будет стоять до тех пор, пока не придет человек и не заставит его полететь по воздуху.

Грамотей

Передо мной интереснейший бытовой материал: четыре больших тетради под общим заглавием «Дневник земского начальника».

Дневник состоит из массы цитат, из прошений, докладных записок, жалоб, циркуляров, решений волостных судов, сельских сходов и пр.

Автор дневника — земский начальник одной из южных губерний — вел его за свою службу с 1902 по 1909 год, записывая ежедневно перлы и адаманты поступающих бумаг. Интересно при этом, что с конца 1905 года народная литература сразу изменилась: в ней появилась масса иностранных слов, часто поставленных совершенно не к месту.

Надо заметить, как в старых народных писаниях, так и в новых, знаков препинания почти не наблюдается, вследствие чего нередко искажается смысл.

Выбираю самое характерное.

Донесения урядников:

— ...Труп умершего Мерошки находится в нагнутом корпусе на коленках лицом и правой щекой к земле сын ее оказался мертвым и уже без сознания...

— ...Имею честь донести Вашему Высокоблагородию, что во владении местного крестьянина Малявки под подкатом на веревке зацепясь за балку повесился труп крестьянина о чем на следах преступления мною произведено следствие после которого злоупотребление не обнаружено.

— ...Бывает ли Захаров в пьянстве или других худых делах неизвестно, причем умственные способности имеет совсем тупые...

— ...Сотский сказал: не шумите и отойдите; они отошли и продолжая рассказы с выделением скверно-ругательных слов ожидали старосты — ключа пьянства в замке которого сохранялась способность и деятельность по службе единственно к этому.

— ...Существует на рогатом скоте болезнь отчего по сие время пало 4 штуки земской управы командировать немедленно скотского врача для осмотра оной и прекращению таковой...

Из практики волостных судов:

— ...Отец мой пристрастился к Бахусу и под влиянием паров напитка забрался к адвокату и написал прошение в суд.

— ...Крестьянка Бабкова заявила, что Василий Михайлов побил свиное рыло, которое теперь никуда не годится почему просит за рыло присудить 10 рублей.

Приговор сельского схода:

— ...Слушали предложение господина земского начальника о наделении племянника Панфила Зиченка Тимофея, рожденного вне брака малоумной сестрой его Палагеей, земельным душевным наделом из общественной нашей земли по выслушании такового и принимая во внимание что в нашем многолюдном селении есть много таких малоумных девиц под видом Палагеи которые ежегодно будут родить сыновей вне брака и каждого общество будет наделять землей, то вся земля должна разойтись на таких рожденных да еще кроме того каждая молодая девушка нарочно будет стараться приобретать себе сыновей вне брака дабы до выхода замуж благоприобрести земельные наделы. А потому, посоветовавшись между собою постановили Панфилу отказать и вне брака рожденного земельным наделом отказать наделять навсегда.

Записка урядника к лавочнику.

— ...Василий прошу через подателя сей записки передайте мне одиннадцать рублей взаимообразия которые к 1-му сентября будут вам предоставлены обратно потому как эти деньги нужны сегодня преставить по принадлежности в которых имеется перерасход 24 августа 1904 года и также нелишним попрошу пляшку животкового вина а то до сих пор от происшедшего живот неналичен. Урядник Ш-о. Из прошений и жалоб:

— ...Сыновья по нравоучению своей матери стали душить меня...

— ...присуждение с меня как виновного в нанесении оскорбления действием истице в ее пользу гражданского безчестия противно понятием науке уголовного права.

— ...Прошу привлечь за нанесение как моему дому, так и семейству нарицательного оскорбления.

— ...Крестьянка константиновской волости тоже удовы Марье Павленко по иску Николаем Исковым опиляционной кассационной моей жалобы прошения.

— ...В 1901 году я держал экзамен в херсонской учительской семинарии и хотя выдержал а не поступил в виду наплыва и остался в недоумении и вздумал другим путем приобрести образование посредством должности писаря т.е. не самой должности, а посредством жалования которое назначается писарю о чем и прошу... и т. д.

— ...Суд приговорил только оштрафовать одним рублем в пользу волостных сумм тогда когда у волости голова цел а не разбита бутылкой а как у меня разбита и окровавлена кровью бутылочного стекла.

— ...А виновного прошу наказать законом Николая Хрензеля потому что я сперепугу очень больна...

— ...Я, Тит Остапенко всепокорнейше прошу волостной суд рассмотреть дело их закона-книги потому что я Тит совсем плох разсудком и все меня считают за дурака, а пьяный я вовсе хуже барана...

После 1905 года появляется страсть к иностранным словечкам и ходячим фразам.

— ...Когда я таскал воду, М. Карчукова первая нанесла мне прямое, явное и тайное оскорбление называя бродягой и непойманным вором.

— ...Сим объявил мне полную и окончательную забастовку — решу, говорит, тебя, а дом спалю!..

— ...И ругал, будто я башибузук казак, жандар и последний что нинаест студент — забастовщик.

— ...Посему прошу избрать опекуном Степанца но не деда в руках которого личный принцип своих интересов.

— ...Староста в данном случае вышел из предоставленной ему законом компетенции и играл роль произвольного мышления и под личностью превысил власть.

— ...По моем недостатке средств не имею чем достигнуть моих энергичных чувствий в работе...

— ...Староста постоянно пьянствует допуская этим в тоже время диаметральную медленность служебных обязанностей.

— ...И все члены общества пользовались этим наделом в самой минимальной миниатюре, а потому я диаметрально лишен возможности построить себе дом с другими службами.

— ...Что же касается показания то это явление явилось вследствие уклонения свидетеля в одну сторону не придерживаясь центра справедливости.

— ...Что касательно нарушения тишины и спокойствия, то это относится к самому псаломщику который сам и в своей квартире сделал буйство и драку словом составил целый карательный отряд против меня одного.

— ...Решение это я нахожу не заслуживающим правосудия по точному характеристичному произволу передавшему меня в руки правосудия.

— ...Но благодаря присутствию по пути возвышенности против равнины площади заряды вlepились в землю и они остались невредимы только перепугались и жертвой пало две собаки.

— ...С этого времени жена начала навещать дом отца своего и со мной стала терять всякий супружеский авторитет.

— ...Решение это несправедливо и имеет характер эпидемической заразы.

— ...Чайковский напившись пьяным забрался в кухню земского начальника где позволил себе тайно поселиться в русской печи...

* * *

И таких образчиков четыре больших тетради!

Надо заметить, что все приведенные цитаты не изменены ни одним словом, а даже мной исправлены кое-где орфографические ошибки и иногда поставлены знаки препинания, которых нет почти нигде.

Невольно вспоминается одно ходившее по рукам в половине прошлого столетия письмо бурмистра к своему барину в Петербург, где также не было ни одного знака препинания. Письмо таково:

— ...Батюшка барин сивый жеребец Михалла Петрович помер шкуру вашу барскую содрали продали на вырученные деньги куплен хомут для вашей милости на ярмарке свиней вашей породы было много прошли хорошо жаль только что небыло самих вашей милости самолично потому соседи просили хряка на племя староста Антип.

Далеко ли мы ушли от того времени?!

Сыщики

Раздался последний звонок к отходящему почтовому поезду, за ним свисток обер-кондуктора, два ответных свистка машиниста, и паровоз, пыхтя и шумно выбрасывая белые клубы дыма, потащил за собой длинный ряд вагонов...

— Ну?

— Ничего, ни одного подходящего рыла... За одним я в вагон вошел, уж очень подозрителен... сперва так и думал, что из тех, да оказался причетник со священником едет... А ты?

— Ничего. Не могу и представить, где они теперь... Ударимся в ночлежные, может, там что добудем... А работа громил, — такой верный удар насмерть, опять взломы чистые и коловорот цел...

Так разговаривали двое мужчин в пальто и чуйке, за несколько минут перед тем смотревшие пристально в лицо каждого пассажира, проходившего в вагоны.

— Так поехали?

— Да, только пойдем выпьем по рюмке, а то глотка пересохла.

У буфета, когда они подошли к нему, стоял пьяный немолодой мужчина и ел бутерброд.

— Разве поезд ушел? А? — обратился к лакеям стрелой влетевший молодой человек в коротеньком пальто и, не дождавшись ответа, пробежал к толстяку с бутербродом.

— Вася, ты куда? — спросил его тот.

— Сюда... надо съездить недалечко, да опоздал, скверно...

— А ты куда?

— Обедать собрался... в трактир куда-нибудь думаю... Домашнее все надоело.

— В трактир? Ну поедем вместе... Селяночку со свежей рыбкой...

— Ну, а как дела? — продолжал толстяк, расплачиваясь за бутерброд.

— Ничего... дельце наклюнулось... На Садовой... и хорошее, капитальное... коловорот, я тебе скажу... — продолжал на ходу вошедший.

Чуйка и пальто толкнули друг друга локтем, расплатились, перешепнулись и пошли.

До них долетели слова молодого: «одним ударом... череп вдребезги... крови лужа... и три тысячи кроме мелочи... три тысячи! А?».

— А? Каково? Нет, ты скажи, каково? А все рюмка водки сделала. Говорил ведь я, что не Сережка...

— Это что-то новое... Молодого-то я видал где... А кто толстяк... Ну счастье!.. Слушай же: ты поезжай в Татарский и жди, а я, чтоб не навлечь подозрения, отправлюсь за ними. Так?

— Так? Дурак? А если они разделятся, тогда как? Нет, уж ехать вместе, ежели что — один за одним, а другой за другим... Якши?

— Якши...

Они взяли извозчика и, не выпуская из виду толстяка и молодого, быстро мчавшихся на маленьких санях, поехали за ними.

— Позвольте узнать ваше имя и фамилию! — подходя к толстяку, аппетитно уписывавшему в трактире селянку, спросил виденный нами на вокзале мужчина в пальто.

— Это зачем вам и кто вы?

— Не ваше дело: я у вас спрашиваю имя, фамилию и звание.

— Как, черт побери, не мое дело? Да ведь имя-то мое, так, значит, мое и дело... Вася!

— А? — не глядя на него, бросил спрашиваемый, продолжая что-то быстро писать на полулистке бумаги.

— Ну-с, отвечайте...

— Да на каком основании вы спрашиваете?

— Вот на каком. — «Пальто» вынул из кармана свою фотографическую карточку за стеклом, с надписью, и показал ее.

— Ну так что же?

— Если не ответите, я вас обоих приглашу куда следует...

— Что такое? — кончив писать и складывая бумагу, обратился Вася.

— Позвольте узнать, что вы написали?.. Дайте бумагу...

— Вася, что же это? Я ровно ничего не понимаю... Нас хотят пригласить «куда следует»... За какие такие радости?

«Вася» посмотрел на карточку, потом на «пальто» и расхохотался...

— Э-эх, горе! Нате, читайте!..

«Пальто» с жадностью начал читать... Лицо его изменялось все более и более, и, наконец, он, низко поклонившись, рассыпался в извинениях и вышел на улицу, где ждал его и чуйка:

— Ну, распорядился об?..

— Кукиш с маслом распорядился об... ты все, дурак, виноват!.. Убийцы, убийцы!.. Приезжие убийцы!.. Еще слава богу народ не скандальный, а то было бы...

— А кто же? Откуда они все знают до подробности? — Откуда? Были там и знают... Разнюхали!.. Читал

я их заметку... То есть так расписал, так расписал, будто собственноручно убивал и грабил, до последней мелочи... Положение трупа, величина раны и даже самый предсмертный стон изображен... все!

— Да кто же они? Кто?

— Кто? Кто? Репортеры газетные, вот кто!..

Новое слово

Иванов запер дверь, чтоб ему не мешали, сел за стол у окна, вынул из толстого портфеля лист бумаги и сел писать, склонив голову набок и оттопырив губы.

«Сегодня в семнадцать часов, пятнадцать минут пополудни при производстве штукатурных работ в ремонтируемом трехэтажном доме, арендуемом частным предприятием пищевиков Л. Ч. Д. на углу Трибунной улицы и Кислощейного переулка, обвалились леса, при чем произошло падение 12 человек рабочих».

Иванов остановился и шмыгнул носом.

— Упадение?.. Упадение... — подумал он, подняв голову и отыскивая на потолке решение затруднившего его ум вопроса.

— Упадение... Как-то... неловко... Будто и некультурно... У-па-де-ни-е... Ах, надо падение.

Иванов переправил «е» на «а».

— Ну-с, падение... Н-да-с... И это что-то как будто не так... Это нельзя... В данном случае невозможно сказать: падение. Это значит упали, да не упали совсем... А тут телесное повреждение со смертным случаем... Как же быть? Гм...

Задумался.

— Сегодня произошло падение... падение... Постой!.. Постой!.. Произошел... падеж... Это лучше будет... Да, теперь верно: падеж... На-ко вот из-за какого-то пустого слова приходится использовать ножичек.

Вынул ножичек, открыл, дохнул на него, полюбовался яркой сталью, выскоблил осторожно слово «упа-дание», вместо него написал «падеж» и стал читать вслух:

— ...Произошел падеж двенадцати человек... И опять задумался.

— Падеж? Словно падеж скота... Нет, не годится. Надо что-нибудь другое измыслить. Падеж... Упадок... Упадутие... произошло падалище... Тьфу!

Иванов вскочил с места, прошелся из угла в угол, потер себе лоб и снова уселся.

— Из одного паршивого слова весь протокол изгадил... Упави они в воду, утопи — ну и простое дело — написал — произошла утопия двенадцати человек... Ну, как же? Как же? Падение... падение... произошла падаль... падаль... Фу, какая мерзость... Падалка?.. Нет... Упадие, что ли? Постой! Сего числа произошло... Сего числа... произошло... Нашел!

Произошло упадутие...

Он стал размахивать руками и в такт притопывать ногой:

— У-па-ду, у-па-ду У-паду-па-ду-па-ду...

Он взялся за ножичек, хотел скоблить, но сразу скис.

— Упадутие... Что-то уж очень глупо... Вроде надутия...

И опять радостно улыбнулся.

— Ах, я глупый, да ведь слово-то есть! — Подскоблил и написал: «упадок».

Вот это так. Читает:

— Произошло упадок... Не грамматично... Надо «произошел упадок», а не произошло... Потому упадок он. Упадок рода мужественного... Упадок... человека... Опять не так!.. Это можно сказать относительно упадка нравственности одного человека... Но в рассуждении физического естества двенадцати рабочих... упадение... падкость, падалища... Тьфу! Индо в пот бросило...

Вот как напишу — крушение... — И задумался.

— Крушение поезда... Крушение буржуазного строя... Крушение.

Он наобум стал перебирать все слова, которые ему приходили в голову: «кантон, район, фокстрот... психология... упадение... падалище... упадок...»

Он безумными глазами смотрел в окно на противоположный забор, где красовалась афиша Мейерхольда, выделяясь самыми крупными буквами из других.

В написанном заново протоколе значилось;

«Произошел пандат двенадцати рабочих...»

Корнет савин

Более 30 лет имя корнета Савина не сходило со столбцов русских, европейских и даже американских газет, помещавших самые невероятные его авантюры.

То корнет Савин открывает новый Клондайк на несуществующем острове и ухитряется реализовать фальшивые акции, то является претендентом на болгарский престол и принимается султаном на Селямлике, то совершает ряд смелых побегов из европейских тюрем или выскакивает под Тамбовом из окна вагона скорого поезда на полном ходу... Одно невероятнее другого — и без конца, без конца... Знаменитые авантюристы прошлых веков — Казанова, Калиостро и другие, чьими мемуарами зачитывается до сих пор весь свет, перед корнетом Савиным, выражаясь словами Расплюева:

— Мальчишки и щенки!

Более 25 лет Савин состоял бессменным обитателем тюрьмы, время от времени прерывая свое сидение за решетками смелыми побегам, появляясь снова то в России, то за границей, чтобы блеснуть на газетных столбцах то в телеграммах, то в уголовной хронике своим именем.

Последний раз в Москве он был летом 1911 года, прибыв сюда ни более, ни менее, как из нарымской тундры, совершив побег через бесконечную сибирскую тайгу, несмотря на свои 56 лет.

Явился в Москву прилично одетым, с ручным багажом и прямо, по старой привычке, отправился в одну из лучших гостиниц, Лоскутную, где занял хороший номер, спросил книгу для приезжающих и преважно расчеркнулся:

— Граф де Тулуз-Лотрек из Нового Орлеана. А паспорта, расписавшись, не дал.

Входит управляющий, почтенный старик, занимающий место десятки лет.

— Пожалуйста, ваше сиятельство, паспорт. Ноне строго... Того и гляди за непрописку на 500 рублей оштрафуют.

— Во-первых, паспорт — это предрассудки, когда я сам налицо!

— Так-то оно так, а все-таки без паспорта никак не возможно.

— Да ты меня, Миша, не узнаешь, что ли? Управляющий вглядывается, старается припомнить.

— Лицо знакомое-с... Никак Николай Герасимович!..

— Ну, вот и узнал. А если надо уж непременно прописать паспорт, — вот тебе и паспорта! Выбирай любой и прописывай.

Савин вынул из саквояжа десяток подложных паспортов на всякие звания и выкинул на стол. Управляющий посмотрел и обезумел.

— Все фальшивые-с?

— Не беспокойся, пропишут... Вон их сколько прописанных...

В конце концов управляющий дал денег на расходы Савину и выпроводил его после дружеской беседы и воспоминаний доброго старого времени, когда Савин проживал в этой гостинице тысячи.

* * *

Я познакомился с Савиным в самом начале 80-х годов.

На Б. Дмитровке тогда существовал д. Муравьева, где прежде помещался лицей Каткова, «Салон де-Варьетэ», родоначальник «Омонов», «Максимов» и других «шато-кабаков», разросшихся в Москве с легкой руки Егора Кузнецова, много лет содержавшего «Салашку» и нажившего большой капитал.

Здесь шли разгульные ночи с хорами и оркестрами. Особенно переполнялись залы и кабинеты накануне праздников чуть не с 8 часов вечера, так как публике деваться было некуда — драматические спектакли тогда были под праздник запрещены, а «Салашка» торговала всю ночь напролет. Под праздник здесь было то, что называется «дым коромыслом». Были излюбленные гости из кутящего купечества, которые пропивали в вечер тысячи и дебоширили вплоть до устройства ванн из шампанского, в которых купали певцов в отдельных кабинетах.

Конечно, эти кутилы, расплатившись тысячами за такую ванну, выйдя из «Салашки», выторговывали у извозчика пятиалтынный и потом долгое время наворачивали расходы, расплачиваясь досрочными купонами и сериями, обрезанными за два года вперед.

Но в «Салашке» они не жалели бросать денег в пьяном угаре и щедро одаривали прислугу и распорядителей.

Некоторые дарили часы, перстни, деньги, а один, парчовый фабрикант с Никольской, так товаром отблагодарил ловкого распорядителя, которого звали, кажется, если не ошибаюсь за давностью времени, Алексей Васильевич. Это был небольшой, полненький человек, чрезвычайно юркий, услужливый, знающий толк и в людях и в винах.

Вот через него-то я и познакомился с корнетом Савиным.

В один прекрасный вечер мы сидели в «Салашке» дружной компанией за веселым ужином. Некоторые из моих собеседников живы, а многих уже нет, в том числе и известного любимца Москвы актера Градова-Соколова.

Перед нами стоял Алексей Васильевич, метрдотель, которому мы заказывали ужин. На нем был надет под фракком необыкновенный жилет из золотой парчи, на который из нас никто не обратил внимания до тех пор, пока не остановился перед нашим столом красавец мужчина, одетый по последней моде, и не хлопнул распорядителя по животу.

— Это что надел, чудище? Что это за жилет?

— А, Николай Герасимович! Ты один? Если один, — садись с нами!.. Позволь познакомиться.

И Градов-Соколов представил нам подошедшего:

— Мой приятель, помещик, Николай Герасимович Савин.

Сел — и снова к распорядителю:

— Что это за мода? Откуда такой жилет?

— В ту субботу подарил один наш постоянный гость, фабрикант. Целый год обещал все подарок сделать и в субботу приходит с дамами в кабинет, призывает меня, подает мне сверток и говорит:

— А вот тебе, Алеша, от меня самый дорогой подарок, лучше нет, — двести рублей стоит!

Развертываю, смотрю — парча.

— Как, для чего? — вскипятился.

— На покров, коли умрешь. Бери и кланяйся!

— Взял я парчу, принес домой, отрезал на жилет и заказал портному. Не правда ли, красиво?

— А знаешь, недурно! Вот я поеду в Париж и введу в моду парчовые жилеты! — сказал Савин.

Не знаю, удалось ли ему когда-нибудь ввести эту моду, но в этот вечер он положительно очаровал нашу компанию блестящим остроумием и интересными рассказами о жизни. Иногда он поднимал руки кверху, обводил глазами стены и говорил:

— Alma mater! Это моя alma mater!!

— Это вы про что?

— Вот про эти самые стены! Это моя alma mater! Здесь я нашел свою судьбу!..

На все дальнейшие вопросы он не отвечал, переводил разговор на другое, и только спустя почти тридцать лет я узнал из рукописного дневника Савина, почему он называл стены «Салочки» alma mater. Здесь помещался Катковский лицей, где учился Савин!

Первая глава дневника его начинается с того, о чем он так упорно тогда молчал, не желая объяснить, почему он называл «Салон де-Варьетэ» своей alma mater: в ней описывается лицей Каткова, аристократическое учебное заведение с правом университета.

Наш ужин закончился к утру, но около полуночи Градов-Соколов ослабел настолько после шампанского, что Савин проводил его до дому, в его излюбленную Бучумовку, на углу Столешникова переулка, а затем вернулся к нам кончать продолжение ужина.

С тех пор я больше не видался с Савиным.

Прошло несколько лет.

Я работал в «Русских ведомостях» и через редакцию получил письмо, адресованное на мое имя. Это письмо хранится у меня до сего времени.

В этом письме Н. Г. Савин сообщает мне, что он закончил большой литературный труд «Исповедь корнета», в котором описал свою жизнь и приключения. Савин просил меня в письме просмотреть его работу, проредактировать и начать печатанием или в газете или отдельным изданием.

Самой рукописи не прислал.

Письмо заканчивается следующими строками:

«Я вас могу принять ежедневно от часа до трех дня у себя. Сам же не могу явиться к вам, к моему глубочайшему сожалению, потому, что содержусь в тюремном замке, в Каменщиках. Итак, жду вас у себя. Ваш покорный слуга Николай Савин».

Тут он приложил оглавление своей исповеди в трех частях: первая часть — Бурная молодость, вторая — Травля по Европе и третья — Инквизиция XIX века.

Это, мне помнится, было в 1888 году, во время моего отсутствия из Москвы, а когда я получил письмо, лежавшее месяца три в редакции, — Савина в Москве уже не было. Я очень жалел, что не воспользовался этим материалом, но счастливый случай через 25 лет привел этот материал опять ко мне в руки.

Почти через 30 лет после встречи в «Салоне де-Варьетэ» у меня началась переписка с Савиным.

Савин бежал из Нарымского края, переважно разгуливал в Москве, явился в свое бывшее калужское имение и, наконец, кажется, в г. Боровске был арестован и препровожден в Томск, где и судился окружным судом, а оттуда был переслан в Эстляндию этапным порядком, снова судился в Митаве по новому какому-то делу.

Он пересылался через Москву, и мне кто-то из знакомых сказал, что видел Савина на вокзале, откуда препровождали его в московскую пересыльную тюрьму, что он выглядит больным, плохо одет и, по-видимому, очень нуждается.

Я тогда послал ему немного денег и письмо, в котором напомнил о нашей встрече 30 лет назад.

Савин мне прислал милое письмо, благодарил меня за память. Я ответил, опять послал денег, и началась интересная переписка. Конечно, письма от него приходили ко мне с разрешения прокурорского надзора и тюремных властей, но письма были весьма

любопытные и подробные. Савина пересылали судиться то в города Европейской России, то опять в Сибирь, и я получал от него письма из разных тюрем. А когда кончатся суды над ним за разные преступления по совокупности, это неизвестно было. Но он 25 лет сидел по всевозможным тюрьмам.

И бродяжная жизнь, и вечный арест, и тревоги отозвались на здоровье Савина. Он постарел, выдержал в тюрьме операцию, и, кажется, наступил конец его побегам и авантюрам.

Его последние письма все-таки были необыкновенно интересны, хотя отзывались повышенной нервностью, в чем нет ничего удивительного: такую жизнь не всякий организм выдержит!

Иногда он заговаривался и уже серьезно утверждал, что он граф де Тулуз, и доказывал это в огромном письме, которое я получил как-то осенью. Это кусочки его автобиографии.

Вот что он писал:

«Родился я в 1854 году в Канаде. Крещен в России, в Благовещенской, села Сердинского, церкви 11 января 1855 года. Родители мои — гвардии поручик из потомственных дворян Герасим Савин, а мать Фанни Савина, урожденная графиня де Тулуз-Лотрек. Я усыновлен дядей со стороны матери гр. де Тулуз-Лотрек актом, совершенным в декабре 1895 года в г. Сиятеле, в штате Вашингтон. Эмигрировал в Америку в декабре 1893 года, приехав на пароходе «Аладин» из Владивостока в порт Виктория.

Ввиду усыновления меня я законно ношу имя и титул, присоединив их к моей древней дворянской фамилии — Савина.

27 апреля 1898 года постановлением чикагского суда я натурализован гражданином Соединенных Штатов под этой двойной фамилией. Затем, 15 августа 1899 года я женился в Лондоне на англичанке, уроженке Канады, мисс Мэри Вэрвут, после чего и жил в Канаде, где 12 января 1901 года у нас родилась дочь, после чего я перешел в английское подданство в 1902 году».

В конце 1902 года Савин вновь явился в России и был арестован в Козлове, и тогда в газетах появилось известие, что «Савин умер». На самом же деле он был отправлен в Сибирь пешком по зимнему этапу, бежал на Амур, перебрался на знаменитую китайскую Желтугу и был главарем 7.000 бродяг всех народов, которые и основали Желтугинскую республику, впоследствии разогнанную войсками. Далее в этом письме, автобиографии последних лет, Савин рассказывал ряд приключений и приводил родословную графа де Тулуз-Лотрека и заканчивал последними днями своей жизни, когда его судили уже по обвинению в политических преступлениях.

Перечисляя свои сочинения, он заключал свое письмо ко мне просьбой печатать его рукописи.

Передо мной ряд собственноручных тетрадей Савина, рассказывающего свою удивительную жизнь с самого детства. Первые тетради писаны им в тюрьме еще в его молодости, в конце 80-х годов, когда все им чувствовалось горячо, рассказывалось страстно. И где он не был? Кого не видал? От высшего общества, где он был своим, и до каторжных тюрем и бродяжных шаяк, где он был главарем.

Свои записки он ведет с самой юности, постепенно переходя от лицейских дортуаров через жизнь блестящего гвардейца, вращавшегося в высших кругах столиц, да каторжного арестанта...

И только прочитав подробно с самого начала эти записки, можно понять всю богатую одаренность этого человека, не применившего к жизни свою энергию и свои таланты.

Интересно в них описана среда, в которой вращался Савин. Здесь и высшее общество столиц, кутилы и прожигатели жизни Петербурга и Варшавы, гвардейцы, дамы полусвета, театр Берга и его завсегдатаи... Далее заграничные приключения, суды, тюрьмы.

Не раз в жизни улыбалось Савину счастье, и счастье необыкновенное, но никогда он, в силу стечения обстоятельств, не мог им воспользоваться.

Разве это не удивительно: Савин под именем графа Тулуз-Лотрека был вероятнейшим

кандидатом на болгарский престол после изгнания Батенберга.

И это могло быть, почти что совершилось, но случайная встреча в ресторане в Константинополе уже после представления Савина султану на Селямлике разрушила все замыслы его.

Кандидатуре на болгарский престол Савин в своих записках посвящает несколько глав, в которых прекрасно описана Болгария стамбуловских времен.

Из этого ряда глав я позволю себе сделать небольшое извлечение, опять-таки характеризующее Савина.

Он явился в Болгарию под именем гр. Николая де Тулуз-Лотрека и предложил нуждавшемуся в деньгах Стамбулову сделать государственный заем у крупных парижских банкиров, представителем которых он назвался, предъявив, конечно, фальшивые доверенности и другие документы.

Предложение это, которому Стамбулов обрадовался, ввело Савина в круг министров, где он занял почетное положение, кончившееся тем, что в один прекрасный день между Стамбуловым и им вышел такой разговор:

— Нам необходимо выставить своего кандидата и, во всяком случае, провалить на выборах в Тырнове невыгодного для нас князя Мингрельского. У нас кандидат уже намечен и утвержден нами.

— Кто же он? — спрашиваю я.

— Вы, граф! И я приехал просить вашего благосклонного согласия.

Удар грома из безоблачного неба не ошеломил бы меня так, как слова регента. Я думал сначала, что это шутка, но по выражению лица Стамбулова я убедился, что предложение его обдуманно.

— А вы, кажется, удивлены, граф? Но я говорю серьезно, строго обдуманно и приехал к вам не как знакомый, а как первый министр Болгарии после обсуждения всего с моими коллегами. Поверьте, что ничего удивительного в моем предложении нет. Почему вы, граф де Тулуз-Лотрек, чей род состоит в родстве с Бурбонами, не можете быть кандидатом на болгарский престол?.. Скажите, чем какой-нибудь Батенберг или князь Мингрельский достойнее вас, потомка владетельных князей Франции? Мы все это обсудили и просим вас.

И Савин на другой день дал свое согласие. Все это постановлено хранить в тайне до тырновских выборов, где народное собрание сделало бы все, что предложит Стамбулов, а затем, когда выборы состоятся, ничего бы не было страшного.

Далее решено было поехать новому кандидату в Константинополь, представиться великому визирю Киамил-паше, а затем и султану.

И через неделю Савин уже ехал на пароходе из Варны в Константинополь.

В главе «На пароходе» Савин так обдумывает свое положение:

«Это неожиданное предложение ошеломило бы всякого. Каково же оно было мне, скрывающемуся под чужим именем, даже не французу, а русскому офицеру, врагу тех, которые предлагают мне быть их князем? Предложение это было серьезно обдуманно болгарскими воротилами. По их понятиям, я был человеком вполне подходящим. Возвышая меня на болгарский трон, они надеются сохранить за собой власть и силу в стране. Должен ли я, по их мнению, я, их креатура, оставить их бесконтрольно заправлять всем в стране?

И пришел я к заключению, что кандидатуру принять надо. Как русский, как славянин, я, будучи болгарским князем, мог принести более пользы России, чем какой-нибудь немец, назначенный Бисмарком и Англией. Я призван спасти Болгарию от всякого порабощения неславянских стран, я призван принести пользу общеславянскому делу и, может быть, очистить путь к Царь-граду славянам. Я убежден, что рано или поздно Царь-град будет центром славянства в руках России».

С этими мыслями подплывал Савин к Царьграду.

Далее. Он принят во французском и болгарском посольствах, как высокая особа, принят великим визирем и, наконец, султаном Абдул-Гамидом. Остаются отъезд в Софию и уже подготовленные Стамбуловым выборы.

Но...

Появились сведения в газетах о новой кандидатуре. В издающейся на английском языке константинопольской газете «Стамбул» напечатаны были какие-то оскорбительные намеки. И Савин вызывает редактора «Стамбула», англичанина, на дуэль, а когда тот отказывается, бьет его хлыстом по лицу.

Все газеты наполнились скандалом.

Но и это еще сошло бы.

Главное несчастье, решившее судьбу Болгарии и нового князя, было в том, что, будучи в Москве, Савин брился у парикмахера Леона, на углу Тверской и Леонтьевского переулка!

Брейся он в другой парикмахерской, — он был бы болгарским князем.

Вышло так: Савин в табльдоте «Hotel de Luxembourg» завтракал с своей компанией. Рядом за другим столом сидел молодой человек, который долго смотрел на Савина, потом вдруг сорвался с места, с радостной улыбкой подбежал к Савину и рассыпался перед ним в любезностях:

— Как я счастлив видеть вас здесь, г. Савин. Давно ли из Москвы?

Кругом все смотрят: речь идет по-французски.

Савин оборвал его дерзостью, заметив, что он его принимает за другое лицо. Но дерзость его погубила.

Обиженный парикмахер, г. Верну, подмастерье Леона, набросился на Савина и закричал:

— Я подошел к вам вежливо, как к старому клиенту, а вы меня оскорбляете! Вы думаете, что я не читаю газет о ваших похождениях... Я сейчас буду жаловаться в посольство...

На другой день Савин был арестован и под конвоем в партии арестантов отправлен на пароходе в Одессу.

Его давно искали.

Во время немецкой войны он опять появился в Москве, был арестован, сослан в Нарым, а затем слухи о нем прекратились.

Таков был корнет Савин.

В редакции газеты

— Эй, кто там, послать передовика! — раздался голос из кабинета редактора.

— Сейчас... Иван Иванович! Иван Иванович! Пожалуйте-с, сам требует!

— К черрту... спать хочу... — подбирая под себя кожаную подушку, бормочет лежа на диване мужчина лет сорока с длинными волосами, с интеллигентным лицом...

— Вставайте-с, Иван Иванович, сам требует, вставайте, поживей!

— Оставьте меня наконец, ведь я ни минуты не спал всю ночь...

— Передовика ко мне! — еще громче гудит голос из редакторского кабинета.

Секретарь редакции, кроивший столичные газеты за столом подле дивана, вскочил как ужаленный и бросился на помощь репортеру будить передовика.

— Иван Иванович! Ваня, да встань же! Сам зовет... Иван Иванович сочно выругался, поднялся, поправил рукою свои роскошные волосы и вошел в кабинет.

— Ты спал, что ли?

— Спал; всю ночь сегодня просидел, статью на завтрашний номер написал, фельетон кончил и корректировал номер.

— А корректор где? Пьянствует, каналья. Да! Вот что, Иван Иванович... Гладстона бы что ли обругать завтра... Его ведь любят англичане?

— Любят...

— Ну так хорошенько его, подлеца, под орех разделай, я им покажу, рыжим...

— Да стоит ли Гладстона? Ведь уж он сошел, так сказать, с арены действия.

— Стоит; так его и надо... Я покажу этим англичанам! Накося! Этот Гондлей

встречается вчера в клубе. Я ему говорю, объявлянице, мол, в газетку дали бы о вашем новом заводе; а он, проклятый, хоть бы слово в ответ, отвернулся и ушел... Я им задам, этим великобританцам!..

— Не стоит о Гладстоне, поздно...

— Поздно! Ну хорошо, так папу раздай! Напиши, что он взяточник и мутит народ... Ну, садись, да позагвоздистее...

Передовик сел, взял перо и начал: «Последние известия о вероятности солидарности римской курии с антирусской манифестацией, учиненной двумя католическими клерикальными органами...»

— Вот так, Ваня, так! Знаешь, все в этом духе, чтобы побольше слов иностранных. Хочешь, ежели надо, я словарь 30.000 иностранных слов дам, чем самому беспокоиться, выдумывать...

— Не надо, так напишу!

— Ну пиши, а я поеду... Про папу напишешь и англичан, как-нибудь рыжих чертей.

— Не лучше ли об осложнении событий на Балканском полуострове, о болгарском конфликте?

— Валий и о конфликте, о всем валий, только позагвоздистее и ругай их всех, каналов, наш читатель любит: вот, мол, скажет, газета никого не боится! Ругай их!

Редактор вышел, а передовик продолжает: «Манифестацией, учиненной двумя католическими клерикальными органами».

Доморощенный трэф

Вторую неделю моросит мелкий октябрьский дождик. Канавы вдоль полотна дороги наполнились водой; нескончаемое болото с мелким кустарником тундры, окружающее полустанок Терпиловку, побурело и проржавело. Конца-краю нет болоту этому трясиному.

Только одна стежка, непроездная весной и осенью, ведет в деревню Потрясухино, где двадцать два двора молят бога, чтобы поскорее замело путь и началась бы расчистка снега — единственный заработок, деревни, потонувшей в безлесной тундре.

— Хоть бы заносы поскорее... А то ни жрать, ни топить нечем, — жаловался Ванька Глупых станционному жандарму Зюзе.

— Уж насчет топки-то — зря... Все гнилые шпалы перетаскал, черт сопатый... Ужо я тебе хвост наломаю...

— Гнилые шпалы-то... Тоже ее дьявола моклаго на себе пять верст попри... Так разве я их на топку... На омшаник они...

Мило и просто жилось на Терпиловке, полустанке новозапахаловской жел. дор., пропускающей только два поезда — товарный, который никогда не останавливался, и товарно-пассажирский, с которым возили молоко и мелкий щепной товар.

Начальство, в виде начальника станции, двух телеграфистов и весовщика, жили с основания дороги, были люди семейные и занимались коровами и курами. С основания дороги здесь жил вдвоем с женой и жандарм Зюзя. Кроме кур, он имел цепную дворняжку «Волчка», которая в известное время вдруг начинала выть, а затем срывалась и убегала в Потрясухино, по всей вероятности, в гости к «Жучке», содержавшейся на цепи у Ваньки Глупых.

И на сто верст кругом не было ни одной собаки — в такой глуши стоял полустанок, живший совершенно особой жизнью, своей собственной, не интересуясь ничем, что делается на божьем мире.

Ни одной газеты никто не получал и даже во время революции от кондукторов и машинистов слышали о какой-то забастовке, а что именно и почему произошла она, не знали, да и знать не хотели, потому еще, что своего горя много — у кур в это время была повальная болезнь, от которой они крутились по двору и падали мертвыми.

Сама же новозапахаловская дорога не бастовала и продолжала возить щепной товар и

молоко.

Попались случайно несколько номеров газеты от проезжих пассажиров, но в них были напечатаны такие странные вещи, что жандарм и начальник станции предали их уничтожению, почти не читая.

Только уже много времени спустя одна московская газета была подарена жандарму Зюзе кондуктором при таких обстоятельствах: подвыпивший кондуктор при остановке поезда завел шум со сторожем у звонка, и явившийся для водворения порядка жандарм прикрикнул на него:

— Пошел в вагон!.. Ишь ты как назюзился!.. Пьянствуете, буянствуете, да... это что еще у тебя торчит, а?

И жандарм вытащил из кармана кондуктора газету.

— Что? Газета, видишь, чай!.. Бери, коли хочешь, подарю... Я уж прочитал...

— Поменьше бы глупости писали, — сказал жандарм, положительно считавший всякую газету за величайшее зло после того, как уничтожил номера, полученные во время революции.

Когда поезд тронулся, кондуктор крикнул:

— Еще орешь: назюзился! А сам-то ты Зюзя почему!..

И задумался жандарм, оставшись один на пустой платформе с газетой в руках.

— А верно ведь... я — ундрцер Федот Зюзя. Зюзя... Почему такое Зюзя? И отец у меня Зюзя, и братья Зюзи — а все трезвые... Почему такое? Вот Глупых, так понятно, все глупые... А Зюзя?.. Почему Зюзя?..

В первый раз в своей жизни задумался старый солдат и, придя домой, хотел посоветоваться с женой, Степанидой Зюзей, но ее не оказалось дома.

Повесив на гвоздь шашку, шинель и кобур с револьвером, Зюзя открыл газету и сразу заинтересовался напечатанным жирно заглавием:

— Собака, разыскавшая убийцу.

В ярких красках было описано зверское убийство монаха в келье, розыски полиции, наконец, появление околоточного с знаменитым «Трефом», который по следам привел властей с места преступления в квартиру убийц и под кроватью разыскал окровавленную обувь, а затем побежал в трактир и открыл убийцу, который успел уже надеть другие сапоги.

В конце заметки было сказано, что околоточный, который привел своего «Трефа», получил награду и повышение по службе...

Когда вернулась жена, он забыл уже о разговоре с кондуктором о происхождении своей фамилии и сразу прочел ей интересную статью.

— Стало быть, в офицеры околоточного-то произвели... До больших чинов может дослужиться... А все через собаку... — пояснил он жене.

— Может, наврали все... Мало ли что там напишут, ты сам говорил, что все они врут... Помнишь, когда жег газеты...

— Мало ли что! Написано, стало быть, верно... По имени и фамилии все названы и полицмейстер пропечатан.

— Нешто собака может? — сомневалась жена.

— Конечно, может; по следам значит.

И долго продолжался спор у супругов. И на другой и на третий день, и целое лето до самой глубокой осени ежедневно читал дома вслух Зюзя и утром и вечером эту газету, но никому на станции ее не показывал и молчал о подвигах «Трефа». Наконец, убедил и жену в возможности этого собачьего подвига, и от нее услышал:

— Всяко, Федорыч, бывает... Может, и так, ежели пишут... Вот бы такую собачку нам — может, и я бы в офицерши вышла...

И фантазия их разыгрывалась дальше и дальше. А «Волчка» Степанида ругала:

— Как бы ты настоящая собака была!.. А то что в тебе, рыжем, толку, только жрешь дарма да в деревню бегаешь к своей...

* * *

Жандарм стал добывать у кондукторов газеты и все искал в них известий о дальнейших подвигах «Трефа», но их не попадалось. Остальное ровно ничего его не интересовало. Раз только прочел он, что правительство ревизует интендантство, железные дороги и отдает под суд начальство.

Это навело Зюзю на новые мысли, и он стал строже присматриваться к жизни полустанка, но в этом мертвом углу без пассажиров и груза никаких злоупотреблений не было и никакой ревизор не являлся никогда.

Если же за расчистку снега платили меньше рабочим, или крестьяне растаскивали шпалы, так это считалось традицией, а гнилых шпал никогда и никто не убирал, так как оба конца дороги проходили по глухим лесным местностям, где лесу столько, что нужды в старых шпалах не было.

Жили по-старому, по-хорошему.

В изморозный октябрьский день, поговорив о шпалах с Ванькой Глупых, Зюзя, пропустив поезд, ушел домой и стал в сотый раз перечитывать подвиг «Трефа» и ревизию Гарина... Кипел самовар. Жена слушала. «Волчок» жалобно выл, нюхая ветер...

— Опять завыл... Как бы не сорвался...

— Того и гляди опять в деревню убежит... Пойду перевяжу...

И жена вышла на крыльцо и потом вернулась с испуганным лицом.

— Федорыч! Поезд к станции из города идет... Вагоны синие, да большие...

Зюзя взглянул в окно и бросился надевать амуницию.

— Экстренный! Что бы это значило... Господи помилуй, начальство, грехом, наехало... сроду и не бывало...

* * *

Зюзя первым делом бросился к паровозу и спросил машиниста.

— Ревизор из Петербурга. Все начальство под суд отдает...

Жандарм через минуту стоял уже у притолоки станционной конторы, где генерал на зеленой подкладке выслушивал доклад начальника станции и рассматривал счетоводство. Кругом стояли начальник дороги и начальники служб.

Часа два торчал жандарм у притолоки, пока проверяли кассу и документы, и, наконец, услышал ласковое слово зеленого генерала по адресу начальника полустанка:

— У вас все в порядке... Все хорошо...

— А старые шпалы налицо? — спросил маленький чиновник, приехавший с генералом.

— Да... да... старые шпалы... А ну-ка покажите их! — сказал генерал и, не дожидаясь ответа, пошел на платформу.

— За два года у вас должно быть здесь 200 шпал... — продолжал маленький чиновник.

— Вот шпалы... только и есть... — указал начальник станции на неполные штабели, где было несколько десятков гнилых шпал.

— Да тут и полсотни нет? Где же остальные? Продали? — язвительно улыбается чиновник.

— Да... да... Где остальные? Продали?

— Никак нет, ваше превосходительство. Кому же их продавать? А так как они гнилые, да без призора, то порастащили их... Дальше наша дорога лесная, там деревья много... Гнилые не надо... — объяснял начальник станции...

— Протокол за растрату шпал, — сверкнул очами генерал.

— Ваше превосходительство, не погубите... Как усмотреть, ночи темные... сторожей нет...

— Если вы мне докажете, что не вы их продали, если найдете хоть одну шпалу и докажете, что она украдена, — я вас прощаю, а иначе под суд!

— Позвольте писать протокол? Доказать невозможно...
— Ведь не знаменитого же «Трефа» приглашать разыскивать вора, здесь и «Треф» не найдет...

Зюзя вздрогнул, глаза его засверкали, губы зашевелились, он покраснел от волнения.
— Ваше превосходительство... Осмелюсь доложить, вора и шпалы разыскать можно.
— Без «Трефа», — острит маленький чиновник.
— Так что, ваше превосходительство, у меня собака почище «Трефа» есть... Все разыщет... Прямо вора найдет!

Все остановились, забыли и о протоколе и о шпалах и воззрились на жандарма.
Через пять минут жандарм подвел на веревке «Волчка» к шпалам, собака долго их обнюхивала, совершив при этом обычные собачьи обряды, и начала рваться по направлению к деревне Потрясухино...

— Чует вора и следы найдет, ваше превосходительство... Прикажете идти?
— Удивительная собака, так и рвется... — Почуяла, ваше превосходительство!
— Как ты думаешь, далеко отсюда?
— Не могу знать, она уже приведет...
— Ваша судьба в руках собаки. Все зависит от нее! — сказал генерал начальнику станции и назначил в комиссию идти за «Волчком» двух кондукторов своего поезда, двух писцов и маленького чиновника.

— Вы уже потрудитесь, Федор Федорович, пройти с ними...
— Слушаю-с, ваше превосходительство. «Волчок» царапал землю и тащил за собой жандарма.

Сыскная комиссия отправилась по стежке между кустами, а начальство пошло в вагон-салон закусывать...

* * *

Через час спущенный Зюзей около самой деревни «Волчок» стремглав бросился к избе Ваньки Глупых, где комиссия, перепугавшая всю деревню, и нашла собаку под шпалами, которые были приставлены к стене сарая и служили жилищем «Жучки» в ожидании стройки омшаника.

И все удивлялись поразительному чутью доморощенного «Трефа».
О краже шпал составили протокол.
Жандарм представлен к награде, а о подвигах нового «Трефа» появились статьи в газетах.
Жена Зюзи купила шляпку...

«С дозволения начальства»

М. В. Лентовский четверть века назад был полицией обязан подпиской о невыезде.
И в один прекрасный вечер он вылетел на воздушном шаре с Леоной Дар за пределы не только столицы, но даже и Московской губернии. Забеспокоились кредиторы. Заявили в полицию, и один из злобных кредиторов, кажется Давыдов, даже требовал, чтобы полиция привлекла его за неисполнение подписки о невыезде.

Конечно, дело окончилось ничем, а Лентовский смеялся:
— Я не давал подписки о невыезде!..
Прошло четверть века.
Мир ринулся в воздух.
Цеппелин носится на своем воздушном корабле над Германией, перелетает из города в город, его чествует весь народ, начиная с императора.
Смелый Блерио на легком аэроплане перелетел птицей через бурный Ламанш из Франции в Англию.

Братья Райты парят над Америкой.

А за Цеппелином, Блерио, Райтами в каждой стране сотни ученых изобретателей стараются вовсю победить воздух.

Государства стараются опередить друг друга в победе над воздухом, сознавая, что у кого первого будет сильный воздушный флот, тот будет -

Владыкой мира.

Все и всюду поощряют изобретателей, помогают средствами, ищут, пробуют, дают полную свободу искателям победы над воздухом.

Когда появилось первое известие об успехах Цеппелина — вся Россия встрепелась.

В глухих деревнях заинтересовались.

И первый «изобретатель» русский был встречен восторженно.

Это — прославленный Ткаченко.

С рассветом на глухой полустанок киево-воронежской дороги пришел крестьянин соседней деревни Ткаченко с коленкоровыми крыльями под мышкой и торжественно заявил:

— А вот и я прилетел!..

И рассказал, что ночью вылетел из своей деревни, за 14 верст, и долетел только до полустанка, хотя собирался в Киев.

— Крылья поломались, материя лопнула, а то в Киеве к обеду был бы!..

Ему поверили с радости:

— Каковы наши-то!..

И все чествовали изобретателя. Даже сам начальник станции подарил «великому» старую тужурку, а становиха семь аршин коленкору на новые крылья.

Осведомленные газеты послали нарочных корреспондентов...

Слава Ткаченки возросла...

Это был первый русский изобретатель. Вторым явился Татаринов.

А потом пошли и настоящие изобретатели.

Ученые люди, талантливые.

Русь устремила ввысь.

Нашлись люди. Нашлись средства.

Надежды победить воздух стали осуществляться.

И скоро зареют над степями неоглядными, над лесами дремучими русские победители воздуха. С трепетом сердца следят все за изобретателями.

Лекции о воздухоплавании собирают публику. Каждое известие газетное о новом изобретении читается жадно.

— А пристав?!

И крылья аэропланов опускаются при этом слове.

Только что смелый изобретатель сел на свой аэроплан и хочет подняться — вдруг грозный оклик:

— Я т-тебе полетаю! Я т-тебе па-акажу, как летать! В участок!..

И составляется протокол, и появляется распоряжение:

«Летать воспрещается...»

Сейчас читаю в газетах телеграмму:

«ХАРЬКОВ, 27.XI. У изобретателя летательной машины Школина, сделавшего недавно доклад в техническом обществе, приставом отобрана подписка о том, что без разрешения полиции он летать на своей машине не будет».

— Господин пристав! Позвольте мне полетать! — просится русский Райт или Цеппелин...

Сейчас справка о благонадежности «по месту жительства просителя» — в Баку, Владивосток, Ташкент и Сольвычегодск.

Он имел несчастье в продолжение последнего года побывать в этих городах.

Через год получают справки.

— Я ему полетаю!.. — бормочет пристав, читая справки.

А Германия готовит воздушный флот. Господин пристав, слышали?

Ваня Кузнец

— Ваня Кузнец в добровольцы просится, — доложил становому письмоводитель.

— Ну и прекрасно, отправить его к воинскому начальнику. Я вдвойне рад — первое потому, что избавлюсь от скандалиста и пьяницы, а второе потому, что он, наверно, с десяток врагов передушит голыми руками.

— Да он уже второй месяц не пьет. Как водку запретили, другим человеком стал.

— Где он?

— В канцелярии.

Становой из отставных офицеров, полный и добродушный, вышел в канцелярию. У двери стоял весь в саже красавец юноша. Сквозь разорванный рукав рубахи сквозили великолепно отделанные мускулы.

— На войну, Ваня? Что ж, доброе дело. А это помнишь? — улыбнулся становой, указывая на дверь с решеткой.

— Было, да прошло. Это мой праздничный номер. Связанный валялся тут на полу.

— Не покоен ты был во хмелю.

— Былшем поросло. Как проклятую запретили, — век бы ее не было, — человеком стал. Пожалуйте мне свидетельство для воинского начальника.

— Ступай с богом. Федор Федорович, напишите ему самое лучшее свидетельство. А ты, Ваня, иди ко мне, я тебя хоть стойке да поворотам выучу, объясню, как начальству отвечать, — сразу солдатом будешь.

Старый капитан увел Кузнец в сад и преподал ему военную выправку. На другой день Иван был уж у воинского начальника, а через два месяца на передовых позициях в одном из славных полков, куда он попал совершенно случайно, понадобился кузнец, а он тут и подвернулся. В первом сражении ему посчастливилось отбить у немцев раненого во время атаки полковника, которого он и принес на руках к своим, за что и получил Георгиевский крест.

* * *

Наши войска отступали перед сильным напором врага. Последний полк арьергарда с саперами и казаками должен был разрушить мост на пути наступления неприятеля.

Полк охранял саперов, минировавших каждый устой огромного моста, а казачьи разъезды рыскали на неприятельской стороне и не допускали к мосту разведчиков врага, который двигался огромной массой с тяжелой артиллерией.

Во время саперной работы прапорщик, ротный командир, доложил командиру полка:

— Господин полковник, унтер-офицер Федоров предлагает...

— Какой Федоров? Который спас меня?

— Так точно. Он предлагает интересную вещь, а именно: взорвать минированный мост тогда, когда через него пойдет неприятельская артиллерия.

— Это нелепость. Вы подумайте: сначала пойдут разведчики, потом кавалерия, затем пехота и артиллерия. Кто же будет взрывать? Мы отойдем, а если и решится на это какой-нибудь смельчак, так его разъезды найдут ранее, чем он это сделает.

— У него очень смелый план. Благоволите его выслушать.

Призвали Федорова.

— Изволите видеть, ваше высокоблагородие, вот этот глиняный обрыв берега, вот на нем все дыры, это гнезда стрижей. Они-то меня и надумили. С обрыва весь мост как на ладони... Я бы думал так: мост минирован, а взорвать его, когда по нем пойдет войско и, главное, орудия. Для этого провода от мин провести под землей к обрыву, а оттуда и взорвать врага.

— Кто же взорвет?
— Я, ваше высокоблагородие.
— Каким образом?
— Это можно наверняка. Сверху этого обрыва выкопайте землянку, чтобы одному человеку залечь в ней, проведите к ней — ведь всего сто шагов от моста — концы проводов, заройте меня в эту землянку, сверху заровняйте землю, чтобы и следов не было, а между стрижиными гнездами сделайте из землянки такую же дырку, в которую я и дышать буду и наблюдать за мостом. Как он с артиллерией пойдет, так я и взорву, и конец ему.
— Да ведь и тебе тоже. Ведь это значит тебя заживо похоронить.
— Точно так. Меня закопаєте одного, а я уж, должно быть, побольше...
Полковник задумался.

* * *

Становой справлял свои именины. В числе гостей был воинский начальник, священник и прапорщик с двумя Георгиями — серебряным 4-й степени и золотым с бантом 1-й степени. Он был герой, дня и украшение скромного праздника.

В окна заглядывали обыватели и шептались:

— Ишь, Ваня-то Кузнец наш чего добился... С полковником и батюшкой рядышком...
— Ай да Ваня!.. И матери своей сорок рублей вечную пенсию выслужил... А кто думал?

— А всего полгода и на войне пробыл.

За чаем прапорщик рассказывал откровенно и просто о том, за что ему дали офицерские погоны и золотой крестик.

— Приладили все ловко. Могилу саперы вырыли хоть куда. Сверху и с боков досками и брусьями обложили, кровать на козлах поставили — хошь сиди, хошь лежи. Прямо от изголовья провели четыре толстых газовых трубы — в две дышать, в две глядеть. Весь мост на виду мне, а им только видны стрижиные гнезда и ничего больше. Ни за что не догадаешься, потому что из этих гнезд будто снаружи на них глаза человеческие глядят. Сверху, должно быть, тоже так заровняли надо мной землю, что и не узнаешь...

Приготовили мне землянку эту, поставили воды, хлеба и стали со мной прощаться... Полковник, ротный, офицеры... все прощались, много хорошего говорили, чуть до слез не довели. Батюшка пришел, исповедал и приобщил... Ну, просто хоронили как будто покойника...

Пришло время лезть. Поклонился всем, перекрестился и полез. Потом лесенку убрали, а я лег на кровать — лицом книзу, чтобы не смущаться, и только крикнул: «Закрывай, ребята, скорей! Неприятель совсем близко».

Э-эх! Жутко стало. А молчу... Застучали доски. Скоро-скоро саперы закрыли... Потом покрыли шинелью, чтобы земля не сыпалась сквозь щели. Сразу темно стало. Я поднял голову, а передо мной четыре дыры и сквозь них и мост, и река, и дорога видны. Как застучала земля по доскам! Да ведь так гремела, будто из пушек палат... Все тише... тише... Все страшнее мне становится... и вспомнил я первым делом кутузку... Проснешься, бывало, ночью, темь кругом, пить захочется. Кости от побоев болят, да еще руки связаны... И думаю: хуже бывало. Тут хоть дело могу большое сделать, а там за что мучился? За винеце. И сразу повеселел... А сверху гремит все... Только глуше... А потом смолкло. Ушли, значит... Смотрю я на мост — никого. Тихо. Дышать немного тяжело — сырой землей пахнет... И захотелось мне спать... Вот как захотелось... Я лег, а дышать нечем. И ко сну клонит... И зачем это я согласился на такое дело? Каюсь, значит... А глаза закрываются. Думаю, впрочем: засну — не проснусь. Я опять подышал в трубу. Да сразу и ожил. Из-за моста скачет взвод казаков... Вот как несутся. И по мосту во весь мах... Ну, думаю, значит, враг близко. Проскакали казаки, а так минут через десять неприятельская кавалерия. Проскакали и остановились у моста. С коней послезали и четверых отправили к мосту. А провода у меня

и справа и слева. Только соедини — и мост взорван. Мучило меня только одно: вдруг неприятель раздумает идти по мосту, пропал я, малый, зря... Потом еще четверо сели на коней и поехали по мосту... Те стоят по ту сторону реки. Потом стучат по мосту, и все восьмеро разведчиков вернулись. Весь эскадрон сел на коней, и поехали шагом по мосту, а трое отделились и поскакали назад.

Стихло все. Опять никого. Потом вижу пыль за мостом... Кавалерийский полк идет. За ним полк пехоты и там артиллерия, и еще пехота, и еще артиллерия... А у меня грудь спирает, никак в трубу вполне надышаться не могу... В виски кровь колотит... Загремела по мосту кавалерия. Двинулась пехота... А мост сажень семьдесят, широкий... Идут отделениями... Заполнили мост. Так меня и тянет провода соединить... Больше ни о чем и не думаю... Жду все-таки... Двинулись орудия... Два посередине моста, а два въезжают... Торопятся... Мост тесно набит народом. Руки у меня дрожат, зубы стучат, задыхаюсь. Ну, думаю, пора, а то еще задохнусь, зря заряд пропадет. Отодвинулся от трубы, поднял к свету провода и соединил их... Как шандарахнет! Будто вся земля взорвалась... Чем-то меня ударило, и я куда-то полетел...

С бледными лицами, боясь дохнуть, слушали все рассказ Кузнеца.

Он смолк.

— Ну а как же вы спаслись? — наконец осторожно и тихо спросил воинский начальник.

— Ничего не знаю. Очнулся я в госпитале. Сестра милосердия передо мной... Я открыл глаза и ничего не говорю и ничего не понимаю. Все думаю: а где же труба? Ищу, чтобы подышать... Потом уж начал приходить в себя... Прибежали доктора... Потом генералы пришли... Все чужие — своих из полка никого... На другой день сам командующий армией пришел, поздравил меня прапорщиком, надел золотой крест и сказал:

«Молодец Федоров, твоя заслуга великая никогда не забудется».

И приказал отпустить меня на месяц домой и сто рублей подарил на дорогу.

— А как же все-таки вы спаслись?

— Ничего не знаю. Доктор и сестра говорили, что меня замертво привезли с позиции, сказали, что я взорвал неприятельское войско, и приказали меня вылечить. Да сказали, что я был зарыт в землю и взрывом выбросило меня из земли... Как это случилось — не знаю. Должно быть, и берег отвалило взрывом... И стрижиные гнезда все пропали.

Подземная Москва

За сорок пять лет моей жизни в Москве я такого ливня не видал.

Какие сцены!

Столешников переулок представляет из себя бурный поток, несущий щепки, хлам, поленья дров и большущую бочку. За ней по тротуару мчатся мальчишки по грудь в воде, догоняют ее, ловят, но не в силах удержать. Одному, уже взрослому, удается сесть на нее, но — он кувyrкается и тонет, смельчаки с тротуара бросаются и вытаскивают его, не могущего бороться с течением.

Уже на углу Петровки бочка упирается в стоящий по кузов в воде автомобиль, но мальчуганы не в силах ее оторвать. С другой стороны улицы переходит по пояс в воде огромный бородатый дядя, отрывает бочку от автомобиля и, при криках обиженных неудачей добычи мальчуганов, переправляет ее через Петровку и угоняет куда-то по воде...

А поток с шумом мчится через Петровские линии в главный резервуар — Неглинный проезд, представляющий собой реку в разливе...

Пивная на Неглинной с началом дождя наполняется публикой, не желающей намокнуть. Буфетчик радуется: дождик загнал. Служащие мечутся с кружками и бутылками.

Лица довольные, пьют и беседуют...

— Хорошо, дождик-то... Что ни капля — золото.

— Для огородов, для хлеба... благодать. Пьют.

Ливень усиливается... Через порог набегают вода. Гости ставят ноги на перекладину столиков.

— Ишь ты, как разошелся!

И вдруг водопадом через порог хлынули волны мутной воды... Испуганные гости кладут ноги друг другу на стол:

— Извиняюсь. Разрешите.

— Пожалуйста, а я на ваш...

Кто-то лезет на стол. Стулья всплывают... На столах стоит публика с кружками и стаканами в руках... Хозяин по пояс в воде спасает кассу... Кто-то валится с опрокинувшимся столом...

— От дождя — да в воду... — острит горбун, забравшийся на буфет.

Вода прибывает и прибывает... Ужас на лицах...

В окна доносились неистовые крики: спасите!

Тонул кто-то.

Это Неглинка не вместила в себя огромной массы воды...

Широкая, великолепная Неглинка.

Огромный коридор, от Самотеки до Москвы-реки у Каменного моста, перестроенный из узкой клоаки в конце восьмидесятых годов, при существовании которой такие водополя, как эти два последние на Неглинном проезде, были обычными. При всяком небольшом ливне, воду которого не вмещала узкая и засоренная подземная Неглинка, клоака, выстроенная, кажется, в доисторические времена.

Только благодаря вмешательству газет состоялась в срочном порядке эта перестройка. На обычные заметки после каждого наводнения купеческая дума не обращала внимания:

«Пуцай их пишут».

В 1884 году в дождливое лето наводнения были ужасны.

И вот в июле я решился опуститься в эту клоаку, написал несколько заметок, и наконец, поручили усмирение Неглинки инженеру Левачеву, моему старому товарищу по охоте на зверя.

Запорожская сечь (1775–1925)

I

Там, за каменными порогами, где Днепр разливается во всю свою ширь по степям бескрайним, в те времена берега его были покрыты вековыми лесами и в плавнях непролазных водились звери дикие, птицы и тучи насекомых. Огромные острова, образовавшиеся при перемене русла, оказались дики и недоступны. На некоторых из этих островов и были сечи запорожские, населенные удалым казачеством, грозой татар, поляков и турок.

Со всех сторон страны великой Сюда стекались удалыцы, Сыны России полудикой За волю-вольную борцы. Кто был порядком недоволен, Кто в жизни радости не знал, Судьбой-злодейкой обездолен, На Сечь привольную бежал. Среди ликующей природы Пришлец был принят здесь, как свой, Во имя правды и свободы И буйной воли удалой. Вчерашний вор и князь опальный, Разбоя грозного сыны, Монах-беглец, холоп кабальный, Боярин, поп — здесь все равны.

Только ни одной женщины никогда не допускалось на Сечь. Никогда. Доходили до Сечи только удалыцы-богатыри, которым дома житья не было, а силы и отваги хватало, чтобы добраться в непрерывных опасностях по степям глухим и плавням болотным до Сечи Запорожской.

Этот путь был достаточным экзаменом для поступления в товарищество удалыцов.

Разве только спросит пришедшего атаман кошевой:

— А ты в бога веруешь?

— Верую.

— Ступай, ищи себе курень.

И становился пришелец полноправным товарищем и обучался делу казацкому в степях и в плавнях в охоте на зверя и рыбу, да в вечных набегах. И удалому было где отличиться, а иногда и звание атаманово заслужить. А власть атаманская в походах была безгранична — он властитель жизни каждого, и никто ему возражать не смел. Но кончился поход, — и всеильный атаман опять становился простым рядовым казаком, уходил в свой курень и подчинялся своему куренному атаману.

Каждый курень — это полк, и все вместе они подчинялись кошевому атаману.

Атаман всего коша запорожского, в свою очередь, в мирное время подчинялся казацкой раде, которая собиралась при всяком выходящем из ряда вон случае и в каждой участвовало все сечевое казачество. Но, когда рада постановляла поход и вновь избирала кошевого или утверждала старого, его власть была полная, и шли запорожцы или Польшу громить, или татар отгонять, или пошарпать богатые поселения Крыма, или далекие берега Анатолии, а то и в самый Стамбул за добычей грянуть. Соскучится казачество дома сидеть, и решит рада поход. Застучат топоры на берегах Днепра, в лесах дремучих, зашуршит высокий камыш в плавнях, задымится смола в котлах. Засверкают на воде «чайки», да гиляры, — а по бортам их топорщатся крылья из просмоленного камыша, — никакая буря не перевернет. Узкие, длинные «чайки»-сороходы поднимали по сто казаков. Идут под ветром сотни две «чаек» — паруса рогожные. Разве только у кошевого атамана парус дерюжный был. Идут — паруса зобами.

И вдруг налетная буря.

И гаркнет кошевой:

— Машта на кичку!

Заполошут паруса на воде, и сотни две мачт одновременно упадут на нос и вдоль «чайки» лягут.

— На бабай! — покрывает бурю голосом своим атаман и выхухоловой шапкой машет. И заскрипят пудовые весла на кленовых бабайках. Как крылья поднимаются и опускаются они, и кланяются мерно казачьи головы, сверкая упрямыми затылками, и крутит буря чубы косматые.

II

С песнями возвращаются победители. Подходят запорожцы к Днепровскому лиману, а донцы, вместе поработавшие, — к донским гирлам.

На всех «чайках» паруса из дорогих тканей шелковых, а у самого кошевого на «чайке», коврами убранной, — из шалей турецких.

А то конными полками вся Сечь на Польшу ударит. И двигалось войско запорожское по степям бескрайним, и зажигались на границах польских сторожевые огни тревожные, предупреждающие о приближении запорожского войска... горячо готовились к боям, а вдали

Подобно сотне черных нитей,
Как бы ползущих из земли,
То словно слившихся в огромный
Клуб черной пыли, то опять
Вдруг расплываясь — тучей черной
Неслась казацкой силы рать.
Все ближе... ближе... Слышны клики,
Видны отдельные полки,

Стучат копыта, блещут пики,
Горят на солнце бунчуки...
Кто как. Кто в чем. На том папах,
Из черна соболя окол,
На этом рваная рубаха,
На этом бархат... Этот гол,
И лишь полгруды закрывают
Усы аршинной долины,
Зато оружием щеголяют
Степей удалые сыны...
И бегут гарнизоны польские,
и пылают города и местечки.

Кровь и пламя — поминки за сожженных в медных быках и зарубленных на эшафотах
Варшавы запорожских атаманов

* * *

И вернутся в Сечь с новой славой казачьей, да с добычей богатой, и гремит разгул по
курениям, песни, да пляски, да музыка. Все было в Сечи — только женщины не допускались,
и никогда ни одна женщина не была в куренях...

Но не всегда была и победа. Бывало, что половина бойцов не вернется: кто в плен
попадет, кто в битвах погибнет. Опустеет Сечь, да ненадолго. Опять народ набежит. А то
особо удалые казаки, ватажки, разбрелись по сторонам, доходили до границ Польши и до
самого Дона, набирали удалцов и вели их в Сечь, по пути добывая в стычках и коней, и
оружие... и вновь пополнялась Сечь удалцами в новых походах на защиту окраин от
набегов поляков, татар и турок...

Русские цари старались дружить с Сечью, защитницей своих владений, посылали им
свои дары... и было так до Екатерины II, которая разгромила Сечь, не признававшую ее
власти.

Это было летом 1775 года. Подлым способом была взята Сечь. Лукавый Потемкин,
оскорбленный в своем величии, которого Сечь и знать не хотела, ввел свои войска в Сечь, и
во время пира, который дали им доверчивые запорожцы, Сечь была занята и разогнана.

Расползлась Сечь. Кто ушел в Турцию, кто в гетманщину, атаман увел свой курень, и
образовалось из них Кубанское и Черноморское казачество и пластуны.

Во время разгрома Сечи, ровно 150 лет тому назад, был схвачен и увезен в Москву
непокорный Екатерине и враг Потемкина, последний кошевой атаман, властитель Сечи
Запорожской — Колнышевский. Не мог простить властолюбивый Потемкин непокорного
Колнышевского, которого много лет подряд выбирала Сечь атаманом. Он был привезен в
Москву, посажен в тюрьму, по всей вероятности, пытан и в 1776 году отправлен на Белое
море, в Соловецкий монастырь, где брошен в ужасную подземную тюрьму под одной из
башен. Пробыл он в этой тюрьме, как неизвестный преступник, без имени, более двадцати
лет, никем не видимый, и только с воцарением Павла был переведен в надземную тюрьму, и
ему, наконец, вернули его имя и разрешили жить вместе с монахами. Все еще он был бодр.
Из накопившихся в монастырской казне денег, приславшихся на его содержание,
Колнышевский соорудил для монастыря евангелие и церковную утварь и умер сам в 1803
году. На каменной плите его могилы у стены монастыря начертано: «Последний атаман
Великого Коша Запорожского... Колнышевский (имени я не помню) скончался в 1803 году».
О могиле этой почему-то молчали монахи. Открыл ее в конце прошлого столетия историк
запорожских казаков Дм. Ив. Эварницкий, который, вернувшись с Соловков, был у меня в
Москве и рассказал все это.

О запорожцах — целая литература. Кто не читал Гоголя, Гребенко, Карецкого?!

Наконец, ряд томов «Истории Запорожских Казаков» — огромный труд профессора Дмитрия Ивановича Эварницкого, ныне состоящего хранителем государственного музея древностей запорожских в Екатеринославе.

Эварницкий — друг И. Е. Репина, давший ему тему для его знаменитой картины «Письмо к султану». Это запорожцы с Чертомлыцкой Сечи во главе с атаманом Сирко пишут письмо к султану турецкому. На этой картине художник увековечил своего друга — Дмитрия Ивановича Эварницкого: как живой он сидит со своей улыбкой в фигуре писаря.

Еще слово одно.

У Пушкина, который тоже не забыл запорожцев, самозванец говорит о себе, как он

Бежал в Сечь Запорожскую,
Владеть конем и саблей научился,
Явился в Польшу к вам и т. д.

Был ли самозванец в Запорожье, да еще и кто такой самозванец, — недоискано и неведомо.

Но я еще десятилетним гимназистом слышал от своего деда, Петра Ивановича Мусатого, отца моей матери, что Пушкин писал верно, самозванец был в Запорожье, — он слышал это от отца своего, Ивана Усатого, бежавшего на Кубань, где родился и вырос мой дед, прибавивший потом — не знаю почему, — когда он очутился в 50-х годах в Вологодской губернии, букву М, тогда и его отец и старики все время только и жили воспоминаниями о Запорожье.

Много лет спустя, на турецкой войне, среди кубанцев-пластунов я слышал интереснейшую легенду, переходившую у них из поколения в поколение, подтверждающую пребывание в Сечи «Лжедмитрия».

Когда на коронацию Дмитрия прибыли наши запорожцы почетными гостями, то их поставили около самого красного крыльца, откуда выходил царь. Ему подвели коня и поставили скамейку, с которой он, поддерживаемый боярами, по царским обычаям должен был садиться.

— Вышел царь, спускается... мы глядим на него и шепчемся, — рассказывали депутаты своим детям.

— Знакомое лицо и ухватка. Где-то мы его видали?

Спустился царь, отмахнул рукой бояр, пнул скамейку, положил руку на холку, да прямо, без стремени, прыг в седло — и как врос. А мы все разом:

— Це наш, Грицко!

А он мигнул нам, да — и поехал...

Без изменений повторяю слышанный мною рассказ.

Сухаревка

— Извозчик, к Бахаревай сушне!

— Квадцать доеек.

— А по хорде мочешь?

Старая шутка

I. Новая

Ликвидирована столетняя Сухаревка. 5000 квадратных сажень занимала она. И десятки лет старая дума, мечтавшая о ликвидации этого заражающего окрестности торжища, не знала, куда его перевести.

7000 квадратных сажень пустыря было рядом, и Московский совет занял его под сухаревское торжище. Тут же, рядом, в углу между Садовой и Трубной улицами,

существовало владение Гефсиманского скита, где когда-то были монастырские огороды, а последнее время дикий пустырь, притон темного люда. Теперь это — «Новая Сухаревка», строго распланированная, с рядами деревянных бараков. В них помещаются 1647 отдельных магазинов, из которых 1000 уже заняты торговцами. Чистота, порядок, электрическое освещение огромными фонарями для ночной охраны, 6 водонапорных кранов и пожарная сигнализация. Бараки расположены по отделам: галантерея, обувь, кожа, одежда, москательный, щепной, скобяной, шапочный, стеклянный, мебель, меха, мануфактура, мясной, рыбный, мучной, письменные принадлежности, табак и пока только две книжных лавки букинистов и ни одной антикварной.

— Где же антиквария? — спрашиваю одного старого сухаревщика.

— Старьевщики-то? Да кому теперь ихнее барахло нужно? Вот там, в «развале», есть один-другой со своими рогожками.

Для «развала», т. е. именно для толкучки, отведен угол ближе к Трубной улице. Его со временем отгородят от рядов.

А пока иду туда. Это пахнет старой Сухаревкой. Развалены на рогожках и полотнах товары: замки, ключи, отвертки, старое железо, куски кожи для починки обуви, ржавые гвозди и обломки. Точильщик на своем станке шлифует ржавый топор. Дальше, вдоль забора, выстроены ряды порыжелых сапог, калош, груды тряпья, подушек, рвани. Трое татар горячатся на своем языке, осматривая и выворачивая поношенное пальто молодого человека в старом пиджаке. Вот и «антиквар» с несколькими хрустальными и фарфоровыми посудинами и поломанной скульптурой. Там невозмутимые китайцы, как тени, двигаются с трещотками, женщины с ярко-красными самодельными букетами, «ручники», обвешанные платьем, кружевами, кто с чем в руках, то становятся в линию, то расходятся. Покупают пока мало.

А вот и самое веселое место толкучки — обжорка. Длинный обжорный ряд начинается с бабы с покрытым подушкой и замотанным ситцевым одеялом ведром, из которого она за гривенник накладывает полную тарелку мятой картошки и поливает ее из кувшина грибным соусом. Пахнет постным маслом. Рядом другой, «скромный» аромат: на жаровне кипит и брызжет жареная колбаса, и тут же блюдо с вареной свининой. Вот блин-ница печет белые блины и поливает их маслом. Один за другим несколько самоваров с горячим медовым сбитнем, лотки с булками и бутербродами. А кругом раскрасневшиеся лица питающихся.

II. В 21-м году

Издали смотрю на торжище, окутанное серой пылью. Видна сплошная масса. Контуров и цветов не различишь. Шумит, что-то делит кучка папиросников — «королей Явы». Именитое купечество, как их назвал Бим-Бом в цирке, где они, развалясь в первых рядах, обжирались лакомствами. Это было время королей Явы, самых богатых людей Москвы.

Встречаю одну молодую особу.

— Можете представить себе, вот этакий мальчишка, лет двенадцати, мне сейчас предлагал к нему на содержание идти, обещал и номер, и денег массу показывал... Насилу отвязалась. Пока...

— Пока.

Проехал броневик. Проползли мешочники. Стою и брезгливо смотрю. Прямо-таки противно окунуться в это серое, живое, кишасщее.

Все-таки иду. Присматриваюсь и уже различаю отдельные фигуры, серые, грязно-белые, черные, вылинявшие и ни одного яркого пятна. Вдали в середине толпы весело мелькнул красный платочек на голове женщины — и опять все серо. Поднимающаяся пыль дополняет впечатление. Френчи, шинели, защитные рубахи.

Я в толпе. Вот восточный человек, торгующий колбасами и обломками сыра на лотке, запустил под рубаху обломок доски и ожесточенно дерет себе спину и не видит, как мальчуган стащил у него кусочек сыру, запихнул в рот и нырнул в толпу.

Где-то вдали гогочет гусь.

Весело стоит босой рыжий мужичонко, на котором надет толстый дерюжный мешок с огромным клеймом и какими-то цифрами. Он держит коробку с махоркой и стаканчиком-меркой. Орет на весь базар:

— Махорка рязанская, самкраще! Кому махорки? Иду по наружному ряду.

— Картошка — 800 руб. фунт. Сало грязными кусками, захватанное и желтое, по 14 000 руб. фунт. Масло в пыльной бумаге — 15 000 руб. фунт. Ржавая ветчина — 16 000 руб. фунт. Изюм с землей, какие-то ярко-зеленые конфеты. Торгуются, покупают.

— Извиняюсь. Ничего подобного. Пока...

Вот на тележке целый лабаз: мешки муки, пшена, рису. Все это мусорно и все по 5000 руб. за фунт. На другой стороне рынка — развал: на земле лежат обломки железа, ключи, замки, дверцы, ручки, разрозненная дорогая посуда, статуэтки, вазочки и черт знает еще что, никелированная клетка для попугая, а на ней висят старые штаны. Их при мне же купили, а клетку, но уже без штанов, я видел там же через неделю. Кому она?

III. Дореволюционная сухаревка

Сухаревка в старину была местом сбыта краденого. И вор-одиночка тащил сюда под полой «стыренное», и скупщики возили возами.

Бабы сидят на корчагах с похлебкой, серой лапшой или картошкой с прогорклым салом, противнями с «собачьей радостью», которую, вонючую, с голода едят на том основании, что

— Человек не собака, коли голоден, все съест, нюхать не станет.

Не было тогда никакого санитарного надзора, торгуй, чем попадется, лишь бы дешево.

Жареный пирог по две копейки, рукой не обхватишь, с говядиной и луком. А если в пироге попадется тряпка или мочала, так пирожник еще обидится.

— Что тебе, за две копейки с бархатом прикажешь?..

А квасы летом были, которые в разноску из кувшинов мальчишки продавали, — лучше не пей. Крашеная сырая вода, да хорошо еще, если из бассейна, а то прямо с конского водопоя черпали.

Тут же и парикмахерские. Сидит где-нибудь в сторонке, у стены башни, на ящике или на тумбе «клиент», а его бреет «цырульник», сам небритый и немытый. А рядом стоит мальчонка — ученик. Он бежит за водой с помадной банкой, которою черпает, чтобы недалеко ходить, в первой луже на мостовой, а то прямо плюнет на мыло и бреет.

— За семитку с рыла.

— Стрижка — пятак.

Нищих из отставных солдат брил бесплатно — на них мальчишки учились брить. Изрежет другого старика, тот кричит благим матом, а ученик старается и скоблит тупой бритвой до крови.

Карательная экспедиция Римана

(Рассказ очевидца)

Вот что рассказывал мне обер-кондуктор Т. В. Голубев, вернувшись из карательной экспедиции Римана в декабре 1905 года.

16 декабря я вышел на дежурство с бригадой. На вокзале — войска. Времени 9 час. утра. Я осмотрел поезд, а в товарные вагоны вкатили два орудия, для чего пропилили стенки вагонов и выбили окна. В передние классные вагоны поставили два пулемета.

Впереди нашего поезда стоял еще паровоз с одним вагоном, в нем находились, под командой поручика Костенко, солдаты железнодорожного батальона, того Костенко,

которого Риман хотел расстрелять, а он спас многих от гибели. Его «шеф-поезд» шел за версту впереди. Мы за ним.

Бригада моя была неполна: двадцать три вагона, а нас четверо. Я потребовал себе в помощь еще трех человек для ручных тормозов. На вокзале бригада находилась с Рязанского участка, но она отказалась ехать. Явился сам полковник Мин, прибывший на вокзал с Риманом.

— Одумайтесь. Сроку 24 минуты, а то расстреляю! — сказал он.

Те трусили, и их посадили в батальон семеновцев. Эшелоном командовал полковник Риман. Поезд тронулся.

— Далеко мы едем? — спросил я его.

— Не ваше дело, — куда прикажу!

Солдаты разговаривали между собой тихо о своих делах.

Вот и Сортировочная. Следы погрома. Вагоны разгромлены. Товары, мука, хлеб разбросаны по путям.

В первом классе сидели офицеры. Шеф-поезд ушел в Перово.

Около погромленных вагонов были люди: кто с лошадьё, кто с санками — они забирали грузы; некоторые, завидя нас, кричали: «Да здравствует свобода!»

Солдаты стреляли в них из окон, а некоторые с площадок. Стреляли без разбору. Люди падали, бились на снегу, ползли, оставляя кровавые следы. Вот народ бросил все и побежал в поле, а кто остался у лошадей и саней, тех всех перебили. Женщина укрылась за сарай ассенизации со своими санками. Муж ее убежал, а ее застрелили.

Риман заходил на станцию, откуда слышалась револьверная пальба. Для уборки тел оставили нескольких солдат и поехали. Был полдень. Направо у станции Перово забор мастерских и роща. Шли люди вдоль полотна и около забора, приличные, человек шестьдесят.

— Ни с места! Руки вверх! — наведя револьвер, закричал им с площадки вагона Риман. Люди продолжали путь. Риман остановил поезд. Солдаты начали в них палить. Когда сосчитали убитых, то оказалось их шестьдесят три человека. Некоторые, услышав выстрелы, поднимали руки, но их били. Все солдаты вышли из поезда, а его, пустой, приказали двинуть на станцию. Солдаты пошли в наступление с двух сторон. Влево загревели выстрелы. Я остался в поезде с бригадой. Видно было, как падали люди.

Когда поезд остановился около платформы, мы услышали крик: штыком прикололи помощника начальника станции в то время, когда он говорил по телефону...

Шеф-поезд ушел дальше. Привели в поезд девочку лет десяти. Ее врач перевязал, и куда-то отправили. Это была единственная перевязка за все время, остальные раненые истекали кровью на снегу. Риман ходил с солдатами по селу. Там стреляли. Я вышел из вагона на станции, но Риман крикнул:

— Идите в поезд!

Поехали из Перова.

В Вешняках никого не убили и не забрали. Шеф-поезд шел нам навстречу, — он уже побывал в Люберцах, где, как сказывали, на Люберецком заводе был митинг, который благодаря появлению шеф-поезда разбежался, и тем спасся народ. В Подосинках Риман застрелил Михельсона и еще двоих. Поехали дальше.

Когда шеф-поезд шел навстречу по нашему пути — солдаты и офицеры испугались. Все выскочили с Риманом во главе. Думали, что на нас пустили поезд революционеры. Оказался шеф-поезд, и успокоились. Он прицепился к нашему поезду. Таким образом состав тянули три паровоза. Вскоре поезд оборвался. Три вагона отскочили, лопнули у них стяжки. Прибыли в Люберцы и наступали пешие. Поезд встал у платформы. Его встретил дежурный по станции Смирнов. У Римана в руках все время был проскрипционный список.

— Кто вы?

— За начальника станции, Смирнов.

— Обыскать.

Отوبرали бумаги, ключи, и его увели.

Стало темно. Я купил свечей.

Солдаты пошли в обход, в село.

Собрали деревенскую власть на сход. Удалось ли им быть на Люберецком заводе, где и были главные революционеры, — не знаю. Знаю только одно, что к его приезду, благодаря благодетелю шеф-поезду, все рисковавшие убежали с завода. Мы остались ночевать, осветили вагоны. Часть солдат варила ужин на платформе. Солдатам давали спирт. И нас накормили ужином, а в село не пустили.

Вместо арестованного Смирнова вызвали с квартиры дежурить начальника станции Лунькова. Меня вызвал Риман, приказал быть ближе к нему и по первому приказанию быть готовым. Начальник станции Луньков встретил меня на платформе и указал мне на свой кабинет.

— Будь здесь, усни на диване.

Там сидел арестованный Смирнов. Он писал записки карандашом и показывал мне:

«Попроси у отца и матери прощения, поцелуй сестер».

Отец его дорожный мастер в Шурове. Смирнов чувствовал, что его убьют.

Я задремал. Проснулся. Хотел идти в поезд, но часовой не пустил.

— Ты арестован!

Еще к нам привезли из деревни старосту.

Вошел дежурный офицер и заявил, что я главный кондуктор и не считаюсь арестованным. Меня выпустили.

Я вышел в зал, а идти не могу, ноги подгибаются. Меня подхватил под руки солдат, толкнул к стене. Мне принесли стакан чего-то и велели выпить. Я подумал: «отрава», но все-таки выпил, — хуже не будет! Оказалось — спирт, но я даже не понял, когда пил.

— Как себя чувствуешь? — Ничего.

— Еще хочешь? — Прибавьте.

И еще выпил полстакана. Согрелся, но в голову не ударило, будто и не пил. А потом уснул мертвым сном.

Ночью было тихо. Офицеры в зале первого класса все время заседали и по очереди спали.

Утром в семь часов привели разносчика и расстреляли. На него указал жандарм: разносчик у него отнял пашку и револьвер в первые дни забастовки.

Солдаты пошли с обыском по домам и привели некоего Волкова, жившего в селе, вывели его в палисадник у станции, обыскали. Вышел Риман, взял у обысканного браунинг:

— Где вы достали его?

Что ответил он, я не расслышал. Риман в упор выстрелил ему в грудь. Вывели в тужурке П. Ф. Смирнова. Увидел меня на перроне, крикнул мне:

— Васильевич. Кланяйся родителям, попроси прощенья!

Свели в палисадник. Солдат ему выстрелил из винтовки в затылок. Смирнов качнулся, но не упал. Кто-то еще выстрелил в него из револьвера и убил.

Подъезжает к станции извозчик. На санях сидит бритый человек в шубе. Его остановили и обыскали. Ничего не нашли и отпустили. Он пошел на село, в чайную. Там он сидел с компанией — солдаты вновь его обыскали и нашли у него два револьвера. Забрали его и шестерых пивших с ним чай. Их отвели в контору начальника станции.

Около двери совещались офицеры, потом привели священника к арестованным. Он там пробыл несколько времени и ушел. Вслед за ним арестованных под конвоем повели в поле. Мы смотрели с платформы вагона. Они шли бодро, быстро. Впереди спокойно шагал бритый в шубе, руки в карманы. Это был Ухтомский. Сначала его не узнали, — он прежде носил бороду и усы. Всех поставили у кладбища, на горке, лицом в поле, а спиной к шеренге солдат, но бритый взял да повернулся и стал лицом к солдатам. Грянул залп. Все упали, а бритый стоял, руки в карманах. Вторым залпом — он закачался. В это время его дострелили из револьвера, и он упал.

Поехали дальше. Захватили арестованного слесаря и дорогой его пристрелили и выбросили из вагона на путь. В Быкове не останавливались. В Раменском делали обыск. Захватили с собой помощника начальника станции Соколова. Поехали в Голутвино.

Шеф-поезду приказ был дан идти вперед не дальше чем на версту.

В Голутвино прибыли около 3-х часов дня. У депо, помню, мастеровые делили тушу говядины. Их не тронули, а солдаты только спросили: откуда мясо? И им ответили: — Купили.

Пошли солдаты наступлением на завод Струве и кругом. На станции расставили часовых. По платформе шел машинист Харламов. У него нашли револьвер без барабана, — вывели на станцию и расстреляли.

В это время фельдфебель какого-то полка, возвращавшегося с войны, подошел к Риману и сказал:

— Удивляюсь, ваше высокоблагородие, как можно без суда расстреливать?

— А, ты лезешь учить! — и пристрелил его. Народу была полна станция. Всех задерживали, обыскивали. Расстреляли у штабелей с камнем 23 человека. Приводили начальника депо, но отпустили. Взяли начальника станции Надежина и его помощника Шелухина — старые, уважаемые всеми люди. Повели гуськом: Шелухина — впереди, сзади — Надежина, который шел рядом с Риманом и просил его:

— Пожалейте, хоть ради детей.

Риман приказал солдату велеть ему замолчать, и солдат ударил кулаком старика по шее. Их расстреляли в числе двадцати трех у штабелей.

После рассказывали, что, когда рассматривали убитых, Шелухин был еще жив и просил пощадить, но его прикончили из револьвера.

Ужас был в Голутвине!

На обратном пути в Ашиткове тоже были расстрелы; между прочим, расстреляли начальника станции и телеграфиста. Останавливались на некоторых станциях, но нигде никого больше не убили. Да и станции были пусты и окрестности тоже: будто все вымерло.

Подъезжая к Москве, Риман призвал нас и приказал молчать о том, что видели. Прибыли в Москву в 10 ч. утра 19 декабря.

Вернувшись домой, я долго не мог прийти в себя — все плакал.

А кондуктор Маркелин, ездивший с нами, сошел с ума.

Где казнен Стенька Разин

В XVII веке призрак Стеньки Разина носился по Европе. Доказательство этого — ряд изданий на английском, французском и немецком языках, начавших выходить с первого года его казни, в 1671 году. Издания повторялись, и даже история Стеньки Разина повторялась с университетских кафедр. Такова, например, диссертация Конрада Самуэля Шуртфлейша, отпечатанная отдельной книгой в Виттенберге в 1674 году. Это оригинальная книжка с латинским текстом и русским заглавием «Стенька Разин, донский козак, изменник». Материалом для нее послужили уже вышедшие за границу издания, переведенные с английского оригинала, напечатанного с рукописи, помеченной 13 сентября 1671 года, Архангельск. Автор этого оригинала, англичанин, так и остался неизвестным. Насколько интересовалась Европа Стенькой Разиным и впоследствии, видно из того, что в 1857 году в Париже еще раз напечатана со старых изданий книга о Разине, князем Августином Голицыным — точное повторение старого издания 1672 года. Вот этими иностранными источниками пользовались и наши историки. Так, например, Н. Костомаров и А. Попов — главные историки по делу Стеньки Разина. Описание казни Стеньки Разина и ввоз его в Москву прямо взяли из этого источника, где было сказано, что Степана казнили на лобном месте, и что он перед плахой крестился на Покровский собор (Василия Блаженного). В старинных песнях везде тоже поется, что его казнили на Красной площади.

— В 1882-86 годах я написал мою поэму «Стенька Разин», которая была тогда,

конечно, запрещена и напечатана полностью только уже в 1922 году.

И вот в 90-х годах, будучи на Дону, я прочел эту поэму в Новочеркасске среди казаков. И мне сделали замечание, что его казнили не на Красной площади, а на Болоте, и что в семейных преданиях и записях об этом есть. Так, один из потомков-разинцев сказал, что его прадед присутствовал на казни славного атамана на Болоте, видел, как рыли яму рядом с лобным местом (всякий эшафот назывался лобным местом, см. Пушкина «История Пугачевского бунта»), как отрубили голову Степану, воткнули ее на высокий шест и поставили в эту яму. Казаки того времени, бывшие через три года в Москве, еще видели голову атамана на том же месте.

И стал я разыскивать какие-нибудь источники, указывавшие, что Стенька Разин казнен на Болоте.

Наконец, наткнулся на «Статейный список 1674 года сентября 13–17 о привозе в Москву Самозванца Воробьева, называвшегося царевичем Симеоном Алексеевичем».

Это был тот самый юноша, которого Стенька Разин возил с собой и выдавал за царевича. Он был пойман запорожцами в шайке казака Миуски и прислан запорожским атаманом Сирком в Москву. Ему в это время было 15 лет. Звали его Матюшка Воробьев. Привезли в Москву. 17 сентября 1674 года пытали и четвертовали на Красной площади. «Статейный список», в котором описана казнь его, заканчивается так:

«Великий Государь указал того вора Самозванца (Sic!) Воробьева, как три дня минет, перенести на Болото и поставить его на кольях возле вора и изменника Стеньки Разина».

Оказался еще за границей материал, до которого не коснулись ни Костомаров, ни Попов, ни другие историки «Бунта Стеньки Разина».

Эта книга издана в Амстердаме на голландском языке, иллюстрирована гравюрами на меди в 1677 году: «Исторический рассказ, или описание путешествия, совершенного в свите Кунрада ван-Клонка, чрезвычайного посла к его величеству царю Московии».

Я из нее беру только то, что относится к казни Стеньки Разина:

«...29 февраля. После обеда мы выехали в санях, чтобы видеть голову и четвертованные останки трупа Стеньки Разина, который перед тем восстал против царя, а также голову молодого человека, которого Стенька Разин выдавал за старшего царевича или сына царя: этот последний, по прибытии сюда, также был казнен, а голова его была выставлена на показ».

Далее идет в дневнике несколько страниц, посвященных описанию бунта Стеньки Разина, и о казни его следующее:

«Стенька, приведенный на близкое расстояние от Москвы, был лишен своих шелковых одежд, в которых ходил до тех пор, одет в старые лохмотья, и в телеге, для него приготовленной, с виселицей на ней, привезен в город. Его посадили под эту виселицу, причем от перекадины висела цепь, которую ему обмотали вокруг шеи; руки его с обеих сторон были прикреплены к столбам виселицы, ноги его также, наискось друг от друга, были прикованы. Брат его, с цепями на ногах, прикованный к телеге, следовал сбоку. Таким образом, при стечении многих тысяч народа, они были доставлены в город в Московский земский двор или городскую ратушу. Их предали страшным пыткам и через четыре дня по их прибытии отвезли на место казни, по приговору предать смерти. Стенька, выказавший большую твердость, был четвертован. Брат же его закричал, что у него есть «царское слово» — так выражаются русские, если у кого-либо есть что-нибудь необходимое для передачи самому царю — и когда его спросили, что он хочет сказать, он отвечал, что должен сказать это одному лишь его царскому величеству».

Записки в дневнике заканчиваются так:

«Стенька Разин, злобный против вельмож, с которыми обращался жестоко, очень любовно относился к простым солдатам: он называл их братьями и детьми, и это доставляло ему такую любовь с их стороны, что будь ему удача — он, без сомнения, сделался бы и остался бы замечательным государем».

«Через три месяца, 28 мая, в четверг, — пишет автор дневника, — утром некоторые из

свиты посланника, в том числе и я, поехали через Москву-реку на Болото (Bollote), где я видел, как вели на смерть брата великого мятежника Стеньки Разина. Он около шести лет пробыл в заточении, где его всячески пытали, надеясь, что он еще что-нибудь выскажет. Его повезли через Покровские ворота на земский двор,³⁰ а отсюда в сопровождении судей и сотни стрельцов к месту казни, где казнили и брата его. Здесь прочитали приговор, назначавший ему обезглавление, и постановлявший, что голова его будет посажена на шест. Когда голову ему отрубили топором, как здесь принято, и посадили на кол, все разошлись по домам».

В русских исторических документах мне не удалось найти нигде сведений о том, что Разин казнен на Красной площади. Те, кто писал о казни на Красной площади, источников не указывали, а в песнях, может быть, для красоты, упоминается Красная площадь.

В официальных же изданиях упоминается о казни на Болоте: «Повествование о России». Москва. Университетская типография, 1843 г., сказано:

«Разбитый донскими казаками, предводительствуемыми атаманом Корнилием Яковлевым, Разин был взят апреля 24, отослан в Москву и там на Болоте четвертован июня 6».

Самым же верным подтверждением казни Разина на Болоте можно считать сообщение жившего тогда в Москве, а может быть, и очевидца казни, царского стольника Андрея Хилкова, написавшего книгу: «Ядро Российской Истории, сочиненное ближними стольниками и бывшим в Швеции резидентом князь Андреем Яковлевичем Хилковым. Печатано при Московском Университете в 1770 году» (через 80 лет после его смерти).

В 7-й книге его «Ядра», в главе пятой — «Царство царя Алексея Михайловича» — напечатано:

«Немалый такожде страх Государю и Государству Русскому вшиб бунтовщик козацкий Атаман Степан Разин, который Козаков и прочих всяких людей множество собрав, города все низовые по Волге даже по самую Рязань и тех городов уезды под свою власть побрал и к Москве идти был намерен; но по времени от войск Государевых в году от Рождества Христова 1671 пойман сам и Июня в 2-й день в Москву на ругательной телеге везен был, а потом на Болоте четвертован того ж месяца в 6-й день».

Суслик

Я возвращался из поездки по табунам и зимовникам Задонских степей, но, имея свободное время, решил прокатиться по Волге от Царицына до Саратова, а там уж по железной дороге — в Москву.

Мой друг, Гаврило Яковлевич Политковский, управляющий конским пунктом в Великокняжеской станице, у которого я провел суток двое, наградил меня, по донскому обычаю, корзиной съестного на дорогу, что и составляло весь мой багаж, если не считать пальто в ремнях, где завернут был маленький саквояжик и портфель.

От Великокняжеской до Царицына я почти не уснул от страшной духоты и жары в крошечном купе тряского и дребезжавшего вагона.

В шесть часов утра я был уже на Волге, на Самолетской пристани. Ожидался первый пароход снизу в двенадцать часов дня, как сказано в расписании, висевшем на совершенно пустой пристани, где единственный сторож-матрос подметал пол.

Одет я был, как всегда в моих поездках по степям, в тужурку, высокие козловые сапоги и форменную фуражку с черным бархатным околышем. Высокие сапоги необходимы для объезда верхом конских табунов, а форменная фуражка для почета, особенно среди полудиких калмыков, боявшихся всякого начальства и ни в грош не ставивших человека в неформенной одежде, как бы шикарен ни был его костюм. Это я испытал на себе, когда в

³⁰ Земский приказ

первый раз явился в табуны в штатском пальто и шляпе. Разговаривать не хотят! Политковский тогда мне посоветовал непременно обзавестись формой, особенно фуражкой.

Я в это время редактировал спортивный журнал и состоял корреспондентом Государственного коннозаводства, что давало мне право носить коннозаводскую форму, чем я и воспользовался для моих степных поездок.

Форменная фуражка подействовала и на сторожа на пристани, когда я его спросил:

— А раньше не будет снизу парохода? — Никак нет... Наш придет первым.

— Опоздает еще, может быть?

— Нет, сегодня почтовый, может, и не опоздает.

И предложил мне занять комнату на корме пристани, для классных пассажиров. Вынув из кармана ключ, взял мои вещи и отнес их в казенку, где был стол, стулья и большой деревянный диван.

Я ему — полтинник, а потом запер дверь и отдаю ему ключ:

— Пока погуляю, зайду в трактир, выпью чаю...

— Ключик возьмите с собой, часов до одиннадцати никого не будет... А насчет чаю, ежели что, так у меня и чайник и посуда здесь почище, чем в трактире.

— Ладно, погуляю и приду чай пить, а потом спать. Около нашей пристани было пусто, а у соседних шла обычная погрузочная суета...

Я пошел на берег и почти у самых сходней заметил одинокого старичка в сермяге и в лаптях, который сидел на бревне и колотил об якорь воблу. Рядом с ним лежал картуз, из которого торчала краюха хлеба.

Удивительно знакомым показалось загорелое дочерна лицо его... Эта косматая впроседь голова и особенно огромные брови, как-то с краев загнутые вверх, изменили мой маршрут; я узнал его.

Да, это он! Он — и никто больше!

Вспомнилось мне далекое прошлое, грозные дни юности, о которых я совершенно позабыл, — настолько они рознились с настоящим, насколько моя темно-синяя тужурка и щегольские сапоги рознились от сермяги и лаптей старика.

И вспомнилось мне то время, когда наши костюмы были одинаковы. Это не значит, что у старика была тужурка и форменная фуражка, а значит, что я был одет тогда в такую же, как и у него, сермягу и в такие же, как у него, лапти или опорки на босу ногу. Вспомнилась мне бурлацкая ватага на Волге в холерный 1871 год, где от товарищей по лямке я услышал впервые о знаменитом разбойничьем атамане Репке, вспомнился мне Сорокинский белильный завод в Ярославле, где я года через три после лямки видел и самого Репку и этого самого старичка вместе с ним. Я видел атамана Репку, но ни я и никто из сотни заводской рвани, стабуненной в нашей грязной казарме, не знал, что этот огромный, бородатый старичище Иван Иванович и есть знаменитый Репка, когда-то гроза судовладельцев и обожаемый атаман низовой вольницы.

На заводе вообще никто не знал ни про кого, кто он да откуда. Никому до этого дела не было, а хозяину выгодно — беспаспортным меньше жалованья платили.

Кто не сказал своего имени-фамилии, прозвищем величали, как сам скажет. А то больше все по видимым приметам:

«Эй ты, рыжий! Эй ты, конопатый!» — у кого лицо шадровитое после оспы. А то был один безносый — так его звали «Нос», и он нисколько в обиду не вдавался.

А одного пропойцу из отставных чиновников звали «Енотовые штаны».

Он года за два до меня появился на заводе и кличку получил за то, что пришел в каких-то невиданных мохнатых штанах. И штанов тех давно не было, а все его звали «Енотовые штаны», до самой смерти. Он уже при мне заболел свинцовым отравлением и умер в больнице — судьба всех рабочих этого завода, кто вовремя не ушел...

А никому не ведомый Репка — что это был Репка, я узнал, уже уйдя с завода, — назвал себя Иваном Ивановичем. Так его все и величали с уважением Иванычем — уж очень фигура была величественная. А вот этого самого старичка, что теперь воблу о якорь колотит, чтобы

шкура с нее слезла, звали «Суслик».

Без малого двадцать лет прошло, а он все такой же, только побелее стал.

Так он и в конторе был записан: «Суслик»,

— Суслик!

Бывало, управляющий конторой Юханцев вызывает при даче жалованья:

— Суслик! Получи три с полтиной, ты рублевку вперед забрал.

— Ладно, забрал.

— Тимофей Сергеев!

И Тимошка, крестьянин села Красного, Костромской губернии, получает четыре с полтиной, — потому у него паспорт настоящий есть, а у Суслика никакого.

Вперед же, надо сказать, на Сорокинском заводе никому копейки не давали.

* * *

Удивительный рассказчик был Суслик. Когда через неделю после получки все проживутся до рубахи, — Суслик на сцену. И после ужина около него на нарах и на полу громоздятся опухлые от пьянства зимогоры и слушают молодой, звонкий голос сказыря.

Ровно и плавно льется рассказ. Ни одного жеста рукой, лицо неподвижно, только огромные брови иногда шевелятся и досказывают недосказанное. А глаза в какую-нибудь одну точку смотрят и будто никого не видят. Чаще всего в седую бородищу Иваныча. А тот первый его слушатель. Или сидит на своих нарах, свесив босые ноги, или лежит на брюхе, лицом к сказырю, подперши голову исхудалой ручищей, которой у обыкновенного человека можно все лицо закрыть. Сидит и смотрит на грудь Суслика, и лицо его также неподвижно. Только иногда в серых, совсем не старческих глазах отражается то улыбка, то грусть, то они на секунду сверкнут, и опять — порыв сдержат, без участия глядят на грудь рассказчика. Я всегда слушал сказку, смотрел то на Иваныча, то на Суслика и не раз замечал, что, когда взоры их встретятся, у Суслика тоже сверкнет какая-то зарница — только на момент, — и снова у того и другого смолкнут глаза. И думалось мне не раз, что Суслик главным образом для Иваныча и рассказ ведет и что значит Иваныч знает-перезнает все его сказки-бывальщины... Даже больше, может быть, знает...

А так, меж собой, они и не разговаривали в другое время...

И вот сидит передо мной Суслик. Отбил воблу о железную лапу якоря и начинает с нее шкуру драть, а лицо все то же, закаменелое, как тогда на заводе во время сказок, только огромные брови пошевеливаются.

Да, это он, Суслик!

И страстно потянуло меня поговорить с ним. Поговорить о том, о чем я два десятка лет молчал — да и всю жизнь, думал, молчать придется.

Так и тянет меня к старику, товарищу моей бродяжной юности.

Да и чем, думаю, я рискую? Почему мне не сказать?

Если даже вздумает он кому-нибудь сказать, что мы зимогорили вместе, — кто ему поверит? Но эту глупую мысль я отогнал. Вспомнилось, что на другой день, как Репку отвезли, почти умирающего, в больницу, и Суслик оказался больным. Признаки болезни всегда найдутся; заявил, что колики замучили, и ложись.

Так с того часа до сего дня я не видал Суслика. И теперь только мелькнуло у меня, что они знали друг друга и раньше. Ведь в связи с болезнью Репки исчез в больницу и Суслик, который до того дня ни разу не жаловался на нездоровье.

Чем я рискую! Перепрыгиваю через перила сходней, чтобы не обходить целой горы хлама, подхожу и присаживаюсь на якорь, как раз против старика.

— Хлеб да соль!

— Хлеба кушать!

Жует хлеб, раздирает воблу — даже головы не поднял.

— Не узнаешь меня, Суслик?

— А?..

Даже вздрогнул весь. Правая бровь зашевелилась. Поднял голову, в глазах мелькнула молния испуга, но в тот же миг лицо стало маской.

— Все может быть. А я, васкобродь, вас прямо так и не помню... А память хорошая. Раз взгляну — не забуду. Да мне что... Я ведь не боюсь.

Говорит не торопясь, глядит как-то в сторону, а я чувствую, что на меня глядит.

— И бояться нечего — ведь я не полицейский.

— Мне что! Одно диву подобно... Что был я Суслик, это верно, что и говорить. Да-авно это было... А Сусликом я был. Диву подобно.

И тоже опять глаза и лицо без всякого выражения — только бровь подергивается... Посмотрел мне прямо в глаза вопросительно.

— Диву подобно!

— Диво больше будет! Мне ведь тоже тебя бояться нечего... Было время, на одном полозу ездили. Значит, друг на друга зря болтать не станем.

— Коли так, — так так! А диво!

— Ну, Суслик, слушай! Твоих сказок да бывальщин я наслушался, теперь мои за это послушай.

— Гляжу вот и в толк не возьму... Память отшибло.

— Ну так слушай, и память вернется! В Ярославле через два года после холеры на белильном заводе Сорокина ты кубовщиком был?

В первый раз я увидел, что глаза у него засияли каким-то добрым блеском.

— У Сорокина? Ну как же! Был.

— Ну и я там был, вместе кубики резали.

— Вот, провалиться, не узнаю!

— Да и узнать трудно после опорков в этой шкуре.

— Чудесам подобно!

— А помнишь, кто больному Иванычу кубики помогал резать? Ты ведь от нас через два стола работал. А помнишь, когда на него с ножом бросился Сашка, кто спас старика?

Воззрился на меня Суслик.

— Чудесам подобно! Таперча узнал!

Он снял с колен картуз с хлебом и воблой, положил его на землю, встал и поклонился мне, согнув до половины свою широкую спину и касаясь правой рукой земли, и опять сел.

— Так, стало-ть, первым делом получи от Иваныча земной поклон по его завету. Уж как он тебя, умираю-чи, поминал! И велел он мне, ежели когда тебя разыщу, передать тебе его грешное благословение и поклон до сырой земли. Много он говорил о тебе со мной. Говорил, что ты из ходовых ходовой и что ты неспроста на заводе околачивался. Вспоминал он, как ты Пашку вроде кутенка паршивого шваркнул.

— Сашку?

— Пашку, а не Сашку! Кому Сашка, а нам Пашка... Диву старик дался. Пашку вся каторга боялась, а ты, на-ко, как кутенка!

Заходила бровь у старика, глаза смеются.

— Вот теперь тебя узнал... Ухватка все та же. Я видел, как ты через перила сходни пересигнул... как зверь, Недаром старик о тебе говорил... Ну да уж...

Он сунул в рот кусок воблы и стал жевать.

— Что сказал он?

— Ну да что уж. Кажись, тебя Лексеем звали? В остроге он таких видывал. Из господских детей там двое были... Ученые... Супротив царя шли и народ бунтовать хотели... После Пашки разговор был.

— Там звали Алексеем, а тебя — Сусликом.

— Да я ведь к слову. Я ведь не пытаю, как теперь тебя кличут. Ведь что было — все сплыло... Вот и ты меня Сусликом спомянул — на том и стал. Кому надо, сам скажет. А молчит, так тому и быть, сталоть, так надо.

— Спрашивай, все-все по чистой правде отвечу, мне скрывать нечего теперь.

— И кто и что, и где и как — зовут, мол, зовуткой, а величают уткой. Одно тебя спрошу и дальше — во, запечатано.

И положил на губы четыре пальца.

— Запечатано. Только одно спрошу... Я тебе тоже послужить готов, хошь мне и под семьдесят, а я еще по полсотни верст в сутки бегаю... Бери меня — не раскаешься.

— Не понимаю что-то...

— Да я только одно это слово и хотел спросить, а там запечатано... — И опять четыре пальца на губы.

— Спрашивай, что хошь.

— Ну, скажи прямо: атаманишь где?

— Забирай выше. Это мелко. Какие теперь атаманы? Где станицу наберешь?.. Да атаманов больше, после Репки, не будет.

— Ре-епки?

И обе брови заходили, и глаза засверкали.

— Ну да! Я уж после узнал, что Иваныч-то, твой друг, Репка и был.

— Чудесам подобно!

Он схватился обеими руками за волосы, закрыл глаза и замотал головой.

— Ну да. Когда я с завода ушел, встретил на пристани в Ярославле одного, с которым в холерный год в лямке до Рыбны шел, бурлачка, он и сказал мне по старой дружбе. Костыга сказал!

— И Федотку знаешь! Шабры мы с ним были... Из-под Банновки...

— Костыга... Улан... Петля... Балабурда, — начал я перечислять общих знакомых. После каждого имени он только свое все:

— Чудовина! Чудесам подобно... Ну теперь, кто ты ни на есть, — бери меня голыми руками. Я весь с потрохами твой!

— Ну вот что, Суслик, чем на солнышке печься, пойдем на пристань в казенку чай пить.

— Да меня не пустят!

— Со мной пойдем — вот и ключ от нее.

— Ладно, пойдем, куда хошь, — после Репки теперь ты мой атаман.

Старик завернул остатки воблы и хлеба в тряпицу, сунул за пазуху, вынул берестяную тавлинку, потянул за ременный хвостик, открыл крышку, смачно понюхал и снова закрыл.

— Чего же меня не потчуеть?

— Табачишко-то плох, подмочен!

Опять открыл табакерку, пригласительно хлопнул два раза и подсунул мне.

— Да, суховат малость и с гнильцой. Ну уж я тебя своим пугну.

Вынул мою неразлучную маленькую табакерку, тоже стукнул два раза по крышке, что на языке старых нюхальщиков означает: «подходи, кто хочет».

— Серебряная никак? Поди, целковых пять стоит, — любовался он на мою табакерку.

— Отцовский подарок.

— У меня тоже была, поболее этой, тоже серебряная, с Петром Великим на коне.³¹

После проезжего барина на Казанском тракту мне пришласть.

Забрал большую щепоть, поднес к носу и остановился:

— Духовита-ай!

Торопливо зарядил за два приема обе ноздри. Открыл рот, что-то хотел сказать, да не успел — зверски чихнул.

Потом перевел дух:

³¹ Лет через двадцать я осматривал коллекцию табакерок у известного московского купца Н. К. Голофтеева и, увидев серебряную табакерку с Петром на коне, вспомнил Суслика

— Вот так табак. Во... — и опять, остановившись на полслове, еще громче чихнул.
— Эх ты, дьявола, разорвало! — крикнул проходивший мимо крючник.
— Ну табачок, что надо! Ну-у!
Я понюхал сам и опять подношу ему. Берет, нюхает, зло чихает.
— Прямо зверь, а не табак! Отродясь такого не нюхивал!
— Этот табак мне делает по моему заказу отставной пономарь церкви Троицы Листы в Москве.
— Стало-ть, ты в Москве бывывал?
— Живу в Москве.
— В самой Москве? Ну чудовина! — И глаза удивленные. — И... не трогают тебя?
— Нет, не трогают. Дай-ка твою тавлинку, я тебе своего сыпану.
Я выбросил его табак и высыпал ему свой.
— Да что ты? Себя обидел!
— У меня есть с собой запас табаку,
— Ну? Вот спасибо-то!
Открыл он свою тавлинку и меня потчует, хлопнув два раза. Потом сам зарядил — и расчихался,
— Ну и табачок — вырви глаз!

* * *

Захватил старик свою полупустую сумку и идет за мной по сходням на пристань.
— Тебя куда, дьяволище, черт несет! Пошел вон! — крикнул на него сторож, но я сказал ему, что это мой знакомый и чтобы он поскорей схлопотал нам чай. Дал ему рубль, велел купить фунта три калача и баранок.
Через четверть часа за столом сидели я и распоясавшийся, в одной рубашке, Суслик и пили чай из огромного медного чайника, прямо в котором и был заварен в трактире чай.
Я развязал корзинку с донскими гостинцами. Чего-чего тут не было! И пирожки с мясом и с яйцами, и с вареньем. Были домашние колбаски, ветчина, сало с розовой прорезью и три бутылки домашних старых на спирту наливки: вишневка, терновка и сливянка, густая, как сливки, то, что называется спотыкач: голова от нее свежая, а ноги спотыкаются. Мы молча, деловито пили чай, молча закусывали, только Суслик, со смаком долго пережевывая каждый кусок, то и дело повторял:
— Ну, Алексей Иванович, и угостил! Отродясь такого не едывал!
Поели досыта. Закончив чаепитие, Суслик повернул вверх дном стакан на блюдечке и положил на дно огры-зочек сахара. А я опять стакан перевернул:
— Погоди, у нас еще на верхосытку кое-что есть! Откупорил сливянку и налил себе и ему, а на закуску положил сдобные пирожки с вишнями.
— Не пью ведь я его, винища-то.
— А ты попробуй, не заставляй меня одного пить!
— Ну, коли так, со свиданьем! Осторожно сделал глоток, покачал головой.
— Ну и чудовина! Еще отпил.
— Гожо, ой гожо...
Я налил еще по полстакана. Пили и разговоры разговаривали. Разоткровенничался старик и все еще принимал меня за атамана какой-нибудь шайки, переодетого «для делов» в форму.
Трудно мне было объяснять ему те вещи и положения, о которых он никакого понятия не имел.
Я рассказал ему всю мою жизнь, и все он потом понял, но одно непонятно было ему: зачем я от семьи, от хорошей жизни бедовать в бурлаки да на белильный завод пошел?
— Диви бы ты пьяница был либо запутался в чем-нибудь, то кинул отца с матерью, ученье и житье барское...

Объяснил я ему о хождении в народ, объяснил, наконец, что я писатель, а чтобы писать, надо нужду народную узнать — вот для чего я бросил семью и стал писателем, и что описал уже жизнь бурлацкую и нашу работу на белильном заводе, что это прочитают, обратят внимание. Он согласился, что надо всю правду писать...

— Так вот, покойный Репка тогда еще тебя раскумекал, что неспроста ты на заводе... и я согласился с ним, только по-своему, я прямо подумал, что ты станицу собираешься составить и подходящий народ подыскиваешь. Так вот и сейчас думал, что ты атаманишь... А вот Репка-то говорил, что в старину такие люди, как ты, бывывали... Давно это было, еще до воли — при Николае Павловиче, рассказывал он мне уж в больнице, когда тебя и Пашку вспоминали. В скиту он жил, и жена его там была, а потом приехали полиция и войска забирать их, а они заперлись в сборной избе и все сами себя сожгли. И жена Репкина сгорела... Это еще до меня было, я уж после с ним познакомился... Самого его не было в те поры в скиту, а когда он пришел, на него солдатня навалилась — много он их пошвырял, а все-таки осилили и отправили в Сибирь в каторжный острог. Ну вот, рассказывал он, что там был такой писатель, который за народ стоял и супротив царя за правду стоял. Уж крепко они подружились, и Репка его звал бежать, но тот был человек слабый — отказался. И был там один жиган, три раза обратник, из себя зверь, вроде Пашки, он этого писателя все травил за что-то, а Репка за него заступался жигана изувечил и сам потом убежал. «Так вот и Алеша за меня заступился... Он неспроста на заводе», — говорил атаман. Вот тогда я понял, что такое писатель, а потом забыл, да вот ты напомнил.

Бутылку мы усидели всю, а он все говорит:

— Ты, значит, про завод всю правду описал в книгах?

— Всю. Только не назвал города и фамилии хозяина — этого начальство не позволило бы.

— Так. Значит, писатели-то, как и мы, сказыри... Рассказываем сказки да бывальщины, а имя-то настоящее переменим, ежели про живого говорим либо про какого-нибудь важного... В некотором, мол, царстве, да в некотором государстве жил-был... А имени-то не скажешь. И без имени овца — баран! А кому надо — догадается. Вот, ежели помнишь, я на заводе рассказывал, как атаман Дятел на нашу бурлацкую ватагу напал и как Репка в честном бою один на один этого Дятла зашиб насмерть я мы, бурлаки, у разбойной станицы Дятловой всю их добычу отобрали? Для тебя и для других заводских все это сказка была, а для нас с Репкой — бывальщина. Ну вот я тебе говорю: разве можно правду говорить, ежели бы знали, что сам Репка про себя слушает, что Иваныч-то он и есть!

— Ну вот, друг ты мой, и я той же дорожкой иду. Ну как в моем положении в Москве, примерно, где с разными богатыми и знатными мне возжаться приходится, как мне рассказать по правде о том, что я бурлачил, крючничал, зимогорил, — да мало что было! Ведь мне бы одни не поверили, а другие просто-напросто знаться со мной за позор сочли.

— Праведно... Значит, помалкивай. И опять четыре пальца на губы...

К этому разговору мы снова вернулись за трое суток, которые неожиданно-негаданно мне пришлось провести с ним...

Слушал я его, слушал, да и самому захотелось поговорить. Прочел я ему свою поэму «Степан Разин». Каких уж я похвал от него слышался, — говорить не приходится, а после своей поэмы я прочел ему «Утес» А. А. Навроцкого.

Есть на Волге утес, диким мохом оброс От вершины до самого края...

Как вскипел старик — глаза засверкали.

— Эту песню я слышал. Года три назад на пароходе, на корме сидели пятеро. Они сели в Самаре. Пели эту песню... Говорили, что студенты они... Потом явились капитан пароходный, жандармский полковник, и их разогнали, петь эту песню запретили... Уж как мне хотелось добиться эту песню...

— Изволь, я тебе прочитаю всю.

Особое впечатление произвели последние строки:

...Если есть на Руси хоть один,
Кто с корыстью житейской не знался,
Кто неправдой не жил, бедняка не давил,
Кто свободу, как мать дорогую, любил
И во имя ее подвизался,
Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет
И к нему чутким ухом приляжет,
И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет.

Слезы на глазах старика, выражение восторженное. Маска слетела прочь.

— Знаешь, Владимир Алексеевич (я ему открыл свое настоящее имя), ведь я сам оттуда, бывал на этом утесе, по-нашему Разин бугор, и сейчас туда еду... Ведь я сам из-под Нижней Банновки родом, а мать моя родом из Данилихи, что у самого бугра...

— Суслик... Уж извини, я тебя так по-старому зову...

— Так и зови.

— Знаешь что, свези меня на Разин бугор. Издали с Волги я его видал, а хотелось бы на нем побывать. Поедем вместе, билет я тебе возьму.

— Ладно, сведу. Тебе надо побывать, ты еще лучше напишешь что... Трудно туда забраться, и никто там не бывал, кроме тех, которые клады ищут... А мужики наши в жисть туда не пойдут. Там, говорят, сам Степан на цепи в пещере прикован.

В это время отворилась дверь, и ввалились два пассажира из местного купечества.

* * *

Я и Суслик в час дня выехали на «Самолете» до Нижней Банновки. Пароход пришел в Нижнюю Банновку в шестом часу утра. Я нанял лодку отвезти нас под бугор и к вечернему пароходу обратно в Банновку.

Не раз мне приходилось пробегать этот плес, и каждый раз с парохода смотрел я на этот знаменитый утес. Но по наружному виду он впечатления не производил — скала и скала отвесная среди целого ряда подобных утесов сажен около ста вышиной, прорезанных глубокими оврагами. Утес Степана Разина голее и отвеснее остальных. А над всеми ними рядом с утесом поднимается Дурман-Гора.

Не напиши А. А. Навроцкий своего стихотворения, не пой его студенчество, может быть, и не говорили бы о нем. Уж очень много более красивых и ярких мест в этой реке легенд, Волге-матушке.

— Приткнись туточка, — ткнул пальцем Суслик к поросшему лесом оврагу рядом с голой стремниной Разина бугра. — Есть еще там ход через Данилиху, ну да ладно, ихней дорогой я проведу тебя. А вы, ребята, доставайте казанок да кашу варите, а мы к закату смотаемся.

Это были единственные слова Суслика за всю дорогу гребцам. Да и со мной он ничего не говорил. Гребцы тоже молчали. Значит, люди бывалые — рот запечатан.

Суслик — яркий представитель бывалых людей. Все у него по старинному правилу: во время еды молчит, дорогой молчит. И я, зная эти правила, подчинялся им.

«Нашел — молчи, украл — молчи, потерял — молчи».

Оставив багаж в лодке, мы взяли с собой только донскую корзинку, уже значительно облегченную, и зашагали по берегу Волги, постепенно поднимаясь по узкому известковому карнизу, где и следа тропинки нет. Из-под ног сыплется выветрившаяся порода, полная окаменелостей. Чего-чего тут нет! И «чертовы пальцы», и раковины, и куски окаменелой хвои, и дерево, нередко самых причудливых форм. Я никогда и нигде не видал ничего подобного. Вот где можно составить сотни коллекций! Я иногда наклонялся и поднимал что-нибудь уж очень интересное и обращался к Суслику, шмыгавшему молча впереди меня в

своих удобных для такой дороги лаптях, чего я не мог бы сказать о моих сапогах с каблуками.

— Суслик, нет, ты погляди какая!

— Ну ее, кинь. То ли там есть еще.

Идем. Вот уже рядом Разин бугор — ан овраг на пути, отвесные скалы, а внизу их кусты и деревья скрывают дно пропасти. По отвесу кое-где висят отдельные дубы — корни их в каменных трещинах, а сами на весу. А там, глубоко под нами, по дну журчит, сбегает ручеек в Волгу. Кругом наверху все голо. Из стены каменной ключики-роднички живыми хрусталиками сбегает в ручеек... Они то там, то тут, то над нами, то под нами... А солнце палит, и где возможно, рискуя загреметь в пропасть, висят над стремниной, подставляешь шапку под струйку и набираешь холодной водицы... Ни следа, ни признака тропинки. А над нами Дурман-Гора.

— Сюда вали.

Суслик тычет пальцем в густой кустарник, скрывающий бегущее вниз подобие тропинки нехоженной, на которой и признака человеческих следов нет. Она, иногда круто, иногда полого, спускается вниз карнизом по стремнине среди мелкого кустарника, таящего свои корни в расселинах. Из-под ног сыплется... То вдруг пропадет она — приходится держаться за утлые кустики, то снова вынырнет перед глазами, усеянная мелкими осколками... Иногда куча этого мелкого щебня, как живая, ползет из-под ног и тебя тащит. Того гляди, и сам сползешь в преисподнюю.

А Суслик молчит, сопит и шмыгает легко и под ноги не глядит.

Вот и переход через пропасть по естественному мосту: будто ломоть хлеба, поставленный в чашке стоймя, упираясь концами в края, перерезает широкий овраг узкий гребень гладкокаменный на пятидесятисаженной высоте со дна оврага и поросший на другой стороне и на хребте кустарником и серой полынью. Местами он не более аршина ширины — и пропасть с обеих сторон. Из-под лаптей Суслика тарахтит и сыплется щебенка, а под моими сапогами она визжит и еще больше летит вниз. Того и гляди, загремишь, и ухватиться не за что. Перевалили овраг. Ползем почти по отвесу на голую скалу утеса, сплошь покрытую полынью. Перед нами глубина оврага, стены голые кругом, и нам, кроме полосы неба над головой, ничего не видно. Выворачиваем за острый угол скалы — справа сверкнула Волга, сияет даль неоглядная в полуденном солнце, а над нами висят дубки, старые дубки, но корявые, коренастые, и верхушки их со стороны степного Заволжья ветрами обиты, отвернулись и склонились в одну сторону и к горе глядят. Мы повернули влево, стали огибать утес, на котором дубки растут, и дорога к ним была ровная и легкая. Я после остановки у ключика, спадавшего из скалы каскадиком, из которого мы оба напились, шагнул было вперед Суслика по полынку прямо к дубкам.

— Ликсеич, не туды!

Указал рукой в другую сторону, на откос, и сам начал сползать вниз опять по кустарнику.

Я хотел спросить его — разве эти дубки не на вершине горы, — но смолчал: старик не любил пустых разговоров. Через несколько шагов я убедился, что спрашивать не стоило: дубки оказались на отдельном кургане, и перед нами открылась за новым оврагом Высокая гора, на которую мы лезли полчаса.

С каждым шагом вверх горизонт расширялся кругом. Только с одной стороны был загорожен единственной вершиной Дурман-Горы.

Вот еще купа дубков, и, наконец, Суслик поставил корзинку на землю и, садясь в тень от дуба, широко махнул рукой.

— Гляди, вот мы и дома! Я стою сам не свой.

Почти из-под ног сорвался огромный беркут и закружил в высоте.

«Один в вышине стою над снегами у края стремнины...» — выплыли передо мной слова поэта, хотя я еще не отдышался.

— Седай, Ликсеич, давай пополуднуем! Ужо поглядишь.

Мы на утесе Степана Разина, и действительно:

На вершине его не растет ничего, Там лишь ветер свободный гуляет...

Отсюда он понятен. Снизу, с парохода, он не производит впечатления.

Когда я поднимался на него, видел, кроме кусочков дали горизонта, только камни под ногами и кругом камень голый. И думалось мне: «Чего такой атаман здесь нашел? Да хуже места и не придумаешь! Мало ли их по Волге, притонов? И Костычи с пещерами, и Столбичи с обрывами, и дикие, лесные Жигули... А то, на-ко, один плешистый камень да полынь-травка горькая!»

И вот только поднявшись сюда, понял я, что лучшего разбойного притона для атамана волжского не придумаешь.

Да, там был притон! Там он жил, никакой силе недоступный, со своей огромной ватагой, в лесах диких, о которых теперь только преданья остались.

Струга его разбойные внизу, в зарослях оврагов скрывались.

С утеса видна даль реки.

А ведь не легкое дело огромной ватаге спуститься по стремнинам по той самой дороге, известной теперь только Суслику! Нелегко перетащить струга из тайников на воду... Время и время на это нужно!

И здесь, на каменной площадке, где мы теперь, стоят, бывало, дозоры. Один глядит вдаль, на Волгу, на широкий горизонт, а другой — кверху, на Дурман-Гору, где тоже дозоры стоят.

Вот на этой самой лысине мы теперь с Сусликом выше всякого живого существа, кроме разве беркутов, что кругами выплывают из тумана и кружат над нами. В те времена там, где мы теперь после головоломной прогулки по не ведомым никому стремнинам опустошаем корзину с донскими лакомствами, стоял главный атаманов дозор, которому во все стороны даль беспредельная открыта.

Идут караваны по несколько судов — поодиночке тогда боялись ходить. И видны эти караваны отсюда за много верст. Есть время спуститься и струга приготовить к спуску на воду. И кроме дали, видна отсюда между отвесом утеса и водой реки узкая твердая полоса берега, сама дорога бурлацкая... Гладкая, всегда сухая, каменная...

И представляется картина.

Идут караваны под утесом... Бурлаки песню плачут... А сверху утеса громовой окрик: — Сар-рынь на кичку!

А струга уже на воду спущены — атаманова слова ждут.

И видят бурлаки на самом верху отвеса грозную фигуру в красном.

— Сар-рынь на кичку! — гремит с утеса. И падают сотни бурлаков лицом на песок.

А десятки легких стругов летят на громоздкие расшивы, и несут по горным тропинкам, где мы только прошли, добычу богатую удалы добры молодцы к ногам атамана.

— На золотом кресле сидел на этом самом месте Степан Тимофеич. И много золота-серебра зарыл он и заклил в этих местах, — рассказывает мне Суслик. — Вот гляди, гляди: все расковыряно, все ямы... ямы... Еще когда я мальчиком сюда бегал, так уже ямы были... Все поклажу атаманову искали. Сколько народу с ума посходило, и никто никогда ни копыя не нашел! Потому заклятие...

— Почему ни копыя? — спросил я.

— Ни копейки, значит... Бывали в старину серебряные монетинки, махонькие, вроде рыбьей чешуйки, а на них Егорий на коне, а в руках его копьё. Потом уже медные копейки пошли и тоже Егорий с копьём... Ну вот, значит, ни копыя нет — значит, ни копейки. Понял?

Понюхали табачку, и дальше он речь повел:

— Сказывают, что сам атаман их бережет, что он смерти лишен и осужден вечно, сколько ему положено, мучиться здесь в подземной каменной пещере, со своими золотыми. И нечистая сила в полночь выводит его сюда, обедом кормит — щи ему из горячей смолы варят, и пироги каменные грызет он... Вот я давеча тебя окликнул, когда ты камень поднял... А почему? Да потому, что ты поднял каменный пирог, наполовину

откушенный... Может, тот самый...

— Суслик, ты умный... Неужели ты веришь этому?

— Допреж не верил, а стал постарше — всему верю! И разум одно говорит, а ум-то другое... под старость разум-то уму на смену приходит. Разумом-то как пораскинешь — ну как можно человеку тысячу лет жить и мучиться, смолу хлебать да каменные пироги жевать? И что человек этот за грехи свои кровавые живет века в подземной пещере и когда-нибудь во всей силе встанет... И что встанет он тогда, когда весь народ такой же грешный будет, как он, и поведет он опять народ за собой... Вот, пожалуй, как не поверить, что он встанет... Мало ли чудес на свете... Вот, верю, что он встанет!

Сколько переговорено было за этот день на грозном каменном утесе, носящем имя грозного атамана!

Рассказывал он мне свою жизнь, и я ему много из своей. Прочел я ему еще отрывки из своей поэмы «Степан Разин», чем окончательно поразил его.

— Чудовина! Премудрость! Слушаю я тебя, и будто сказку сказываешь отроду неслыханную! Сказка, да и все тут! А ведь на деле-то выходит бывальщина... Расскажи мне кто другой про себя это, — в жисть не поверил бы... Ежели я сам расскажу про тебя, как встретил таперича, как ты из зимогоров, да еще из каких, в такие люди призошел, — скажут: сказку сказываешь, этого не могить быть! Можно сказку сплести, как зимогор в цари вышел, — и найдутся, поверят которые. А которые и бывальщине не поверят. Я сызмальства сказок наслушался да бывальщин. Да было от кого и послушать! Ведь мы, банновцы, коренные, здешние. Наши деды-прадеды этого бугра не минули. Оттого у нас и доселе, видел на пристани, народ-то какой — богатыри на подбор, урвать да уехать! Хлеба сеют мало, для себя только, а Волгой-матушкой кормятся... Так и лепится к ней полсела, в Волгу вдвинуто...

Эх, матушка Волга

Широка и долга, — замурлыкал старик.

Встряхнувшись, он продолжал: — Мой дед, материн отец, есаулом у Пугача был... Ой да и богатырь! До самой смерти избы не знал, только обедать и ужинать приходил, а спал всегда на дворе, и зимой. Язык у него вырезали... А где и кто вырезал, мы не знали. Пришел он, после того как Пугача на Москве казнили, домой, так и жил молча, рыбачил, а по зимам лапти да корзины плел... Отец в лямке ходил сызмала — на приокшане от холеры помер. Дядя один без вести пропал, тоже бурлачил, а другой, отцов брат, годов десять пропадал. Весь в него был, а отец в деда, а дядя повыше отца. Раз вернулся он домой клейменный и ноздри рваные. В баню я с ним еще мальчиком хаживал... Как слезет с полка, — глядеть страшно, как тигра полосатая, живого места не спине нет после сибирских плетей каторжных. Ноздри рваные, а табак нюхал.

Вспомнил про табачок Суслик, рванул тавлинку и мне поднес.

— И я от него занялся нюхать еще мальчиком. От него сказки и бывальщины перенял. Впрочем, он редко сказки, больше бывальщины рассказывал да про свои дела, про жизнь острожную, про побеги там... Бывало, всю ночь его слушаем. А сказки я от бабки. Та больше про богатырей, про нечистую силу, про царство подводное, где во дворцах у водяного царя живые люди живут, которые на кораблях утонули. Про Змея-Горыныча... Уж вот как ладно у нее все выходило... И сказывает и поет сама... Про Ягу-бабу и что с Иван-царевичем в ступе на Лысу гору летала — она сама помелом облака разгоняет, а он на гусях играет... А бабка и говорит и поет, а на губах трень-трень, как на гусях... Слушаешь, закроешь глаза — и все как живое видишь. Про змия огненного, который к колдунье по ночам в трубу летал и со всего света вести ей собирал для колдовства, рассказывала... Помнишь, Ликсеич, я на заводе все их рассказывал.

Остановился старик, глядя на меня.

Понюхал он табачку, меня угостил и спрашивает:

— Ликсеич! Скажи ты, напожалуста, как по-твоему? Откуда сказки родились, вот вроде Иванушки-дурачка и ковра-самолета? Ведь их не придумаешь... Так смекаю, что в старину

старинную все это было, а потом у кого-нибудь — уж у внуков-правнуков — отпрыгнулось? — А, ну-ка...

Не успел я ему слова ответить, как с поднявшейся левой бровью и сверкнувшими глазами ухватил меня за руку и шепнул:

— Слышишь?

— Что? Ничего не слышу...

— Нет, ты послухай... Будто кипит... Слухай сюда. Я приложил ухо и слышу, что под землей булькает и журчит, о чем сказал старику.

— Тот-то вот и оно-то. Смола кипит. Пойдем-ка на другое место... А ты говоришь...

Скажет слово, и губами пожует. Должно быть, слово подыскивает.

— Это вот среди бела дня... А ночью... Годов тридцать, а то и поболее, может, сорок, мы с одним бурлач-ком, тоже дурак, явились сюда клада искать. Ну рыли, рыли — целый день промучились и заночевали... Так насилу до утра дожили — и бежать. Вот гудело под нами!.. А потом треск — будто камень кто-то грызет... Пирог-то каменный ты нашел? А то кости вот каменные валяются... Вот видишь, ведь прямо-таки мосол перегрызанный — ан он каменный. Вот я тогда и поверил. Может, Степан-то его грыз...

Я не хотел его опровергать и читать лекцию об окаменелостях и подземных ручьях, а для перебоя разговора прочел, к его великой радости, опять «Утес» Навроцкого. Когда я закончил словами:

И утес-великан все, что думал Степан, Все тому смельчаку перескажет...

— Это правда, — сказал Суслик. — Может, он и говорит что, да не всякому дано понимать... Аль еще время ему не пришло... Такой человек не родился. Ведь все сюда приходили только с корыстью — клады искать...

Ишь расковыряли... Вот ты, Ликсеич, пришел сюда... Так пришел, из любопытства, потому что вон как про него песню написал. Тебе это и надо... Другого бы я ни за какие деньги не повел сюда... Ну скажи еще, как его казнили-то...

Я читал ему стихи. Потом перевел разговор на его прошлое, и опять он начал речь о сказках и бывальщинах, как они родились.

— Ты думаешь, я так везде все одно и то же сказываю?.. Как выйдет. В другорядь приплетешь к сказке и чего нового... И бывальщины тоже. У бурлаков одно сказываешь, у мужиков другое, а у раскольников свое надо говорить. Они охочи слушать, только не все, сказок не любят, да и бывальщину им надо про скиты да про то, как бедному человеку от начальства страдать приходится... Еще про осторожное житье каторжное любят... А видел-то я, старый бурлак, много чего... И Волгу от низов до Рыбны раз десяток смерял и в острогах сиживал — прямо тебе, Ликсеич, говорю, только тебе, и у раскольников не раз зимовал... И на Черемшане, и на Иргизе, и в вологодских лесах бывал у поморов благочестивых, что чашкой-ложкой отпихиваются от мирского греха... А зато как нашему брату вольно и отдохновенно у них! Сами они от начальства скрываются и нашу нужду потому понимают. Вольно у них! Придешь — не спросят, кто ты да откуда, — садись да обедай! Только табаку не кури в скиту, а нюхать так норови, чтобы не видали. Под носом чисто держи, а то заметят — беда! А тихо да мирно — живи да спасайся на покое да весны дожидайся! Ведь знают они, что только перезимовать пришел вольный человек, а весной утечет за первой водой по ручьям да по речке вилять до Волги-матушки, навстречу птице, туда норовишь, откуда на свое гнездовье птица летит. Никто не спросит. Скажут отцы седые-бородатые в ответ на поклон:

«Иди в сборную! Живи. Там ваших, что от начальства-антихриста спасаются, немало...»

И никто тебе в душу не заглянет. Понимают они по себе, что правду сказать тебе негоже, а тутошние люди все по правде живут и других вопросом неладным в грех не вводят. И на что им чужую душу ворошить, в чужой колодец заглядывать? Ведь все равно ничегошеньки в темноте глубокой не увидишь, а ежели солнышко осветит глубь водицы сверху, то еще как выйдешь! А то и свой лик косым увидишь, да скаженным. Вот они и не

заглядывают в чужую душу. — Иди, спасайся.

* * *

Придешь в сборную — на отлете, в самом лесу изба большая для нашего брата поставлена — как домой в нее идешь. А там уж свои люди знакомые, свои ребята, кто с борку, кто с сосенки. И живешь зиму-зимскую долгую, студеную, никто с нас ровнехонько ничего не спрашивает, отпускают хлеб и приварок не в проед, а кашевар из своих. Охотой своей идем мы в лес — работаем, дрова рубим, либо стройку какую, что покажут. День работаем, а ночи наши. Так и спасаемся до вешней воды. В ночи бессонные, когда лучина в светце погаснет, самые тут бывальщины и польются. Народ все такой, что каждому есть что порассказать. И кто что видел и кто что слышал, цел ли такой-то, сгорел ли такой-то, вернулся ли этот из-за бугров. С бывальщины на сказку, со сказки на бывальщину...

* * *

А то раз зимовал сторожем в женском скиту, где кружевницы и вышивальщицы жили... И все присматривался, как они на своих подушках с кружевами мастерили. Где нитки, где дырки, а выходит то, что век не забуду: то это на кружеве избушка, около нее елочка, и дымок из трубы курится... А то келейка, на келейке, на князьке петушок... Гляжу через ее плечо в окошко, а напротив стоит точь-в-точь такая келейка и петушок живой на князьке... То монашек в лодке плывет. А ежели это кружево положить на синюю нанку, так по морю синему он плывет... А ведь этот петушок да монашек в душе у той кружевницы жили! Вот она свою душу для других и выложила, — пусть живут они: и петушок и монашек!

Так и бывальщина вроде петушка на кровле, а сказка — монашек в лодке...

Так и сказки и бывальщины! Льются-вьются они в ночи темно-бессонные и ложатся в памяти у тех, кто их

слушает. Да не всякому дано кружево плести! Другая так сплетет, что вместо петушка-то Змей-Горыныч, чудище объявится, а вместо монашка в лодке не то кит-рыба, не то еще что страшнее. И выйдет тогда сказка из бывальщины! А который знаемый, в ней бывальщину увидит... Ведь видели же кружевницы петуха на кровле? Живой кукарекал, на солнышке крылышком хлопал! А у другой он чудовищем выходит!

Так-то из бывальщины сказки рождаются. А другой от себя чудовинное приплетет, что в голову взбредет.

Ходили и лазили мы на вершине утеса, показывал мне Суслик и ту яму, которую сам копал за кладом.

— Во, гляди, я ее махонькую оставил, а на место ее какая прорва — другие старались! А эта прорва уже дубком заросла...

Свежих ям не было — все позаросшие... А их много, много... Останавливались, опять сидели, и опять все о Стеньке Разине легенды он рассказывал... Теперь их повторять нечего — почти все они напечатаны в разных путеводителях и поездках по Волге, только не совсем так, как это у Суслика выходило, — всякий свое кружево плел. Никаких сказок он не рассказывал, только что о Разине да о разбойнике Рукше, который еще до Разина был и на этом самом утесе держал свой стан разбойный. О Рукше я помнил его длинный сказ еще на белильном заводе — это смесь Разина и Ермака. Рукша и в Персии был, и царицу персидскую увез, и ушел со своей ватагой Китай завоевывать. И во всех сказках о Разине говорилось только одно, что он живет то в том, то в другом подземелье, где нечистая сила терзает его, и когда он отмучится, грехи свои перестрадает, то опять встанет прежним и народ на царей и на бар поведет и уж на этот раз изведет всю неправду.

— А все-таки, что ни толкуй, а у нас его ждут... И дождемся, много греха пошло!

Вспоминали прошлую жизнь.

— Никого, думаю я, Суслик, из наших общих знакомых не осталось?

— Не говори... Балабурда жив, Пашка жив... Рука-то у него с тех пор отсохла... Все на тебя сердает, ежели, говорит, найду этого дьявола, я ему кишки выпущу и на локоть намотаю.

— Где ты его видел?

— Да у Балабурды годов семь назад я гнал плоты из-под Перми по Каме в Царицыно, как вот и теперь, да меж Осой и Оханской нас буря вдребезги разбила... Уж и буря была! Леса с кореньями выворачивала, избы по-снесло в деревнях... Меня выкинуло на берег около деревни Беляевки замертво. Очухался я, гляжу — в избе лежу, а около меня сидят Балабурда и Пашка. Они меня подняли на берегу и перевезли на лодке в свой лесной хутор, верст десять от Беляевки... С год я у них валандался, да сбежал, смертоубийств много. Выезжали на лошадях, грабили и убивали по дорогам, потом заманивали беглых из Сибири — здесь им путь был, обратни-кам, а кои с деньгами — убивали да с камнем в воду... Убежал я... Балабурда-то еще торговал в Беляевке, его за купца там почитали. Ну да вспоминать неохота...

И то чуть сегодня не попался.

— Как сегодня?

— Да на пароходе признал было меня один из Оханска: «Торговец, говорит, ты в Беляевке, кажется, жил?» Насилу отшилсЯ. Притворился глухим, а потом все за трубой лежал рылом вниз, пока не слез в Бан-новке...

Это он мне рассказывал уже на обратном пути, когда мы спускались вниз к реке.

— Глянь, Ликсеич, вот камень-то, кой ты кинул, пирог как есть.

— Так, думаешь, его Стенька глодал?

— А ты не смейся. — И вдруг остановился, прислушивается, бровь поднялась. — Слышишь?

— Чего?

— А в горе кто-то стонет.

И наклонился ухом к скале. Я тоже.

— Ничего нет.

— Нет? Значит, мне поблазнило.

Я взял камень и сунул его в карман.

— Бросил бы ты его, Ликсеич, ни к чему. Глянь — чистый пирог и угрызен. Кинь.

Я незаметно поднял другой камень и швырнул его в пропасть.

— Так-то лучше. И успокоился.

А камень я так и привез — пирог и угрызен. Вспоминаю...

Солнце было низко, когда мы подходили к нашей лодке. Издали был виден костер, а около него наши гребцы кашу варили. Мы присели в кустах и еще поговорили.

— Жаль мне расставаться с тобой.

— И мне жаль, Ликсеич!

— Мне бы хотелось твои сказки записать все.

— Их в месяц не запишешь, а я что же, я бы для те-5 я рад послужить.

— Так вот что, приезжай ко мне в Москву, погости у меня подольше, а то я тебе и местечко схлопочу. Приезжай как домой. Меня не будет ежели, все равно я дома распоряжусь. Ты только скажи, что Суслик, примут как моего друга. А я твои сказки напечатаю, и нам за них заплатят большие деньги. Навек обеспечен будешь...

— Ладно, коли так.

— Буду ждать. Вот тебе мой адрес, пиши, что, мол, приеду, а я тебе на дорогу тридцать рублей вышлю, на чье хошь имя, на какого-нибудь твоего знакомого, если на свое не захочешь... Да я, кстати, и не знаю твоего имени, да мне и не к чему. Суслик для меня

дороже...

Мы сговорились. Я дал ему двадцать рублей — насилу уговорил, не берет, — и мы расстались у лодки.

— Ну, прощай, Ликсеич... Я опять в гору пойду, в Данилиху.

Оказалось, Данилиха была почти рядом с вершиной утеса, но он проводил меня, во-первых, потому, что я бы дороги не нашел, а главное:

— Чтобы сумления не было. А ребята мало ли что подумать могут, привезли двоих, а назад один едет... Все можно подумать.

* * *

Шли года, а о Суслике ни слуху ни духу. И вот теперь, через десятки лет, я заканчиваю эти мои воспоминания о нем у себя в Картине. Передо мной лежит тот самый «угрызенный пирог» Стеньки Разина. Надо мной шумит аэроплан — через нас путь воздушной почты с границей — и вспоминаю слова Суслика: «То, что было сказкой, — стало бывальщиной, что бывальщиной было, чего люди не помнят, — станет сказкой...»

Если бы Суслик видел аэроплан — этот ковер-самолет!

Если бы он слышал радио и видел антенну, от трубы к сухой березе протянутую, а ночью в приемнике огоньки мелькают?..

А Репка, Балабурда, Пашка, сам Суслик, бурлаки, шагавшие тысячи верст в лямке и усеявшие своими костями прибрежные пески Волги-матушки, — эта моя пережитая бывальщина сказкой кажется.

Козел и «чайка»

В 1883 году начал в Москве издаваться И. И. Клангом журнал «Москва», имевший успех благодаря цветным иллюстрациям. Там дебютировал молодой художник В. А. Симов. С этого журнала началась наша дружба. Он как-то прислал мне свой рисунок, изображавший ночлежку Хитрова рынка. Рисунок точно повторяет декорацию МХАТа ночлежного дома пьесы Горького «На дне».

На рисунке дата и надпись: «Дорогому другу Дяде Гиляю, защитнику и спасителю души моей, едва не погибшей ради углубленного изучения нравов и невинно извлеченной из недр Хитровской ночлежки ради Дна в М. Х. Т. в лето 1902 года. В. Симов». Дата: 1933 год, 1 января.

Этот рисунок напомнил мне случай, о котором я и не думал писать, если бы не получил в 1927 году от одного студента с Волги письмо, в котором писалось:

«...совсем недавно мы прочли книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве». В этой прекрасно написанной книге мне запечатлелось место, описывающее скандал во время посещения артистами М.Х.Т. под Вашим руководством Хитрова рынка, нужного для постановки горьковского «На дне». Вот выдержка: «...посыпались ругательства, схватили — кто бутылку, кто табурет, замахнулись и ринулись на Симова... Одна секунда — и он не уцелел бы. Но тут бывший с нами Гиляровский крикнул громоподобным голосом пятиэтажную ругань, ошеломив сложностью и конструкцией не только нас, но и самих ночлежников. Они остолбенели от неожиданности, восторга и эстетического удовольствия. Настроение сразу изменилось. Поднялся бешеный смех, аплодисменты, овации, поздравления и благодарности за гениальное ругательство, которое спасло нас от смерти и увечья».

Далее автор письма писал:

«Мне и моим друзьям, отдыхающим студентам, просто ночи не дает спать это гениальное ругательство. Мы делали различные комбинации из ранее известного «лексикона улицы», но ничего подобного не получается. Ведь если эта импровизация смогла раз спасти от убийства или увечья, то, конечно, она спасет и другой, и третий раз. Спасите меня и моих

друзей от бесплодных исканий. Напишите эту импровизацию, чтобы она не умерла навсегда для нашего поколения...»

На письмо я не ответил, но рисунок В. А. Симова напомнил мне случай в ночлежке. Начало этого случая произошло в дни моей юности, на Волге в 1871 году.

* * *

В 1871 году в Рыбинске, переполненном грузчиками хлеба, с половины лета разыгралась вся холера. Народ поднимали на улицах, на пристанях во время работы, везли в больницу и в бараки. Бывали и случаи молниеносной холеры — станут поднимать, а он уж холодный. Таких везли прямо на кладбище.

Заработок был вдвое или втрое против обыкновенного, а у нас, в Репкинской артели, вдвое против остальных, которые работали у хозяев. У тех половина шла в пользу хозяина, а у Репки все, до копейки, валили в общий котел и делили все деньги: старшие «батыри» получали от 10 до 12 рублей в день, а «засыпки» не меньше трешницы.

Старшие «батыри» щеголяли в красных суконных жилетах с золотым галуном, с сафьянной «кобылкой» сзади, на которую куль становился. Так завел Репка. Через плечо железный крюк на сыромятном ремне и лапти липовые.

Из нашей ватаги, которая привела Пантюхинскую расшиву с Утки-Майны, с десятков бурлаков прямо из лямки, получив расчет, уехало на низовья, по домам к уборке хлеба, а с десятков бездомников осталось крючничать. У Репки ласково встретили своих старых друзей, бурлаков разудалых, спаянных на века бурным прошлым.

Не думали мы оставаться, тоже бы на низы подались, да не пришлось: надо было атаманушку своего, друга старого, удалого Репку выручать. Незадолго до нашего прихода его забрала полиция и крепко-накрепко в тюрьму усадила под строжайший надзор. А в это же время, на другой день как его взяли, два старших «батыря» поскидали красные жилеты, да и пропали без вести, смылись с пристани. И в артели, кроме самой головки, не узнали, куда они пропали, — знали, что Репку выручать, а «что и как, про то атаманам знать». Работа продолжалась по-прежнему, только три батырских пая: Репки, Хлюста и Суслика — каждый день откладывались в особую каламу. На их места заступили из нашей ватаги старик Костыга, Улан, да я, несмотря на свою безусую молодость, удостоился этой чести.

Работа шла по-хорошему, артель дружная, и запойных пьяниц не было: хаживали по праздникам мы пятеро погулять в Ермошкин кабак, да и то, главным образом, по делу: туда нам вести о Репке приносили от наших удалцов. Собственно говоря, один Суслик на вид не казался удалцом. Неуклюжий, коряжистый, с руками до колен, сутулый, небольшого роста, и притом лицо елейное, хоть святого пиши с него. Только брови мохнатые, и когда он сам говорил, так и брови его разговаривали... И великий мастер он был сказки да бывальщины сказывать — я это узнал много после, когда его увидал. А звали его Суслик потому, что когда рассказывал, то бровями договаривал — вдруг начинал как-то губами суслить, а брови, пока он суслил, останавливались, глаза почти закрывались. Родом волгарь низовый, дед его за Пугачева был клейменный, с каторги бежал. Большого ума был человек, непьющий, скромный, чуть с сединой, еще молодым при атамане Репке в есаулах состоял. А сам мухи не обидит, воды не замутит. На него в вызволении Репки и вся надежда возлагалась. Когда Костыга узнал об этом, то прямо сказал:

— Этот все дело облебастрит. Он да Федька — оба два, урви да брось!

А Федька уж действительно хлюст козырной. Он из дворовых, у барина в доезжачих был, да с барыней — красавец он из себя — спутался... Ну и отдал его барин в солдаты, а он с Кавказа задал лататы, добрался до Астрахани — это еще когда Севастополь воевал — да и попал на Волге в репкинскую станицу. Вот с той поры и дружба у него неразрывная с Репкой и с Костыгой... В те времена с путиной в лямке до Рыбны дойдут, разочтутся с хозяином, Репка там станицу соберет что надо, купят завозню, да и махнут на низы... А внизу либо в Жигулях, либо под Камой, в островках да воложках, свои ребята ждут... Раздобудутся

двумя-тремя косоушками — и держись, значит, хозяйская мошна да приказчиьи барыши... Пока Волга станет... А там по первопутку по большим дорогам, а то и в барские усадьбы наведаются. А на зиму в раскольничьи скиты, а там весной на пристани и опять в лямку на Рыбну... Так из года в год, пока пароходы бурлака не съели да сакма тальником не заросла. Все это рассказывал мне Костыга еще в путине.

* * *

Вот они и поселились по соседству с тюрьмой. Хлюст сразу спутался с кухаркой начальника тюрьмы и у нее на кухне стал своим человеком, а там всучил Суслика в больницу в служители. Паспорта у них были настоящие — тогда их в Рыбне сколько хошь из карманов умерших от холеры бывалые люди запасали. И Репке пришлось паспортом запастись, так как он артель крючническую открыл, то надо было — полиция вид потребовала. Много паспортов было добыто для него, да по приметам не подходили. Дело в том, что Репка был 2 аршина 12 вершков росту, а таких великанов не было. Попался один билет отставного солдата, по годам подходящий и надпись удобная: особых примет нет, — а все остальное, как вообще в те времена в солдатских «белых билетах» (белый давался только уволенным в чистую отставку), написано: «Волосы стричь, бороду брить, по миру не ходить»... Все хорошо, да одно беда: рядом с именем, отчеством и годами сказано: росту 2 аршина 2 вершка. Тут на выручку пришел Хлюст — один он грамотный в нашей артели тогда, до меня, был. Пошел он в трактир, попросил перо и чернил, да и прибавил единицу к двум. И стало 2 аршина 12 вершков. Да какой-то дошлый писаришко в квартале, не успевший получить на чай, увидал, что единица прибавлена другими чернилами — Репку посадили в острог как бродягу. А тут нашлись враги — хозяева, содержатели артелей крючников, наговорили на него, своего главного конкурента. Его в кандалы заковали. Так уж несчастный случай вышел, из-за этой единицы атаман в острог попал... И вот из-за этой же самой единицы и моя жизнь опять перевернулась.

Репку за единицу держали в тюрьме, а если бы он был на воле, он составил бы станицу и повел нас в Жигули, на работу... И вот благодаря единице я теперь и пишу это, а попади я в Жигули — было бы другое... Всего можно было ждать, а уж Сибирь наверняка...

В Спасов день пошел я со своим другом Костыгой под кабак в тальники. Кабак шумит. На поляне в орлянку, задрав головы, лупятся, а мы на пригорочке жуем горячие баранки, табачок мятый вахрамеевский нюхаем из берестяной костыгинской тавлинки да все о Репке сожалеем. А Костыга меня успокаивает. Хлюст поклялся — из-за меня, говорит, Репка попал и потому я либо голову свою положу, либо вызволю атаманушку.

— Ну, айда в кабак, скоро наши из города придут, порасскажут, как дела.

Петля, Балабурда и старик Улан в таких же красного сукна жилетах с золотым галуном, как и у нас с Костыгой, уж заседали за отдельным столиком у открытого окна, закусывали и ждали нас, чтобы порадовать добрыми вестями. Петля снес деньги Хлюсту и Суслику. Репка дал такое распоряжение, чтобы дня за три до Покрова мы расходились, кто куда знает, на зимовку, а в самый Покров он выйдет, да с Сусликом и Хлюстом ударятся в Пошехонский скит к «Чашкам-ложкам». Здесь нам оставаться нельзя: после побега станут его искать и первым делом до нашей артели доберутся. По-

бег наши ребята устроят через больницу, куда Репка ляжет, а там все готово.

— Я на низ не побегу, я тоже с атаманом, в «Чашки-ложки»... Я там зимовал раза три, — заявил Костыга.

— А ты, Алеша?

— В скит не пойду, вот жаль, что Репки нет, станицы не будет, жаль — Жигулей не увижу!

Улан встал и подошел к стойке. Над ней и бочонком с краном, из которого цедили в толстые, пузырьчатого зеленого стекла стаканы водку, на стенке красовались четыре казенные белого железа мерки с длинными ручками, с крючками на концах, чтобы их

вешать, широкие снизу и узкие сверху. Они были четырех размеров: штоф, полуштоф, косушка и шкалик.

По закону водка из бочонка должна была сперва наливаться для правильности в мерку «крючок», а потом уже — в посуду, но это не делалось, что давало большой барыш «целовальнику», не доливавшему в стаканы, узкие ко дну и широкие кверху.

На полках, сзади стойки, стояли в четырехугольных, грязно-зеленого стекла штофах, полуштофах и косушках, закупоренных сургучом и с наклеенными ярлыками, «очищенная» (лучший сорт водки) и готовые настойки: полынная, Ерофеич, листовка, зверобой и модная в тот холерный год — перцовка. На верхней полке сладкие наливки — малиновая, рябиновая, смородиновая и ром, пахнувший иногда сургучом, а больше клопами.

Но редко напитки в закупоренной посуде здесь употреблялись, потому что были подороже, здесь больше хлобыстали сивуху или по случаю холеры — из особого бочонка перцовку, наполовину разбавленную водой и напичканную красным перцем до того, чтобы рот обжигало, что считалось за крепость: горло так и дерет!

Все это сходило с рук кабатчику, платившему взятки полиции и акцизным.

В кабаках тогда запрещалось иметь не только что столы, но даже скамьи. Пугливое начальство больше всего трусило, чтобы кабак не обратился в народный клуб, и для этого заботилось, чтобы в нем не засиживались, а выпивали, стоя у прилавка, и отходили прочь или покупали посудину и выходили пить на улицу, как это полагалось в ренсковых погребях, торговавших только, как значилось на вывесках, «на вынос».

Трактиры торговали только «распивочно на месте», кабаки — «распивочно и на вынос». В кабаках, кроме иконы в углу, обязательно висел всегда в позолоченной раме царский портрет для того, чтобы в присутствии его величества не пели в кабаках песен, не буйствовали и не ругались «скверно матерными словами». Чуть что не так — кабатчик указывал на портрет, предупреждая, чтобы при царе «не выражались», а в ответ получал от пьяного буяна:

— На кой он нам? Ну, его...

А отсюда иногда политическое дело, и «за оскорбление величества» немало мужиков сгнило в Сибири за одно пьяное слово. Когда же в половине семидесятых годов по высочайшему повелению приказано было убрать царские портреты, то и «политические» преступления этого рода сами собой прекратились.

Улан возвратился к столу с полуштофом полынной и, угощая нас, приговаривал: «Степью пахнет, полынком!»

Кабак гудел. Столики были полны рабочим волжским людом, около стойки толпились босые и раздетые «зимогоры» в ожидании, кто поднесет стаканчик... То и дело прибегали за водкой «на вынос», распивали кругом кабака, где сидели кучками, где валялась пьяные... Песни, гармоника... Иногда драка. Тише всех вели себя в жажде наживы и азарта орлянщики. Их кучки то поднимали глаза к небу («дождя просят»), следя за полетом и жужжанием брошенного пятака, то нагибались к земле и делали ставки. Иногда бывали и там минутные галдежи, кончавшиеся иногда смертью.

Еще когда мы с Костыгой шли сюда из тальников, почти рядом с нами над кучкой играющих прогремело: «Чура!»

Один ловкач поймал на лету пятак, показал его толпе:

— Двухорловый!

С визгом и с ревом набросились кто на метчика, кто хватать деньги с кона — и через минуту окровавленный метчик лежал на земле, а кругом орлянщики, в десяти шагах от него, снова ставили деньги, снова метали и снова зачуровывали, если метка казалась неправильной...

По направлению к кабаку шел огромный рыжий козел — нам, можно сказать, хороший знакомый, больше всего обожавший крючников. Козел этот принадлежал пожарной команде и ежедневно к полудню приходил с пожарного двора на берег Волги, где крючники обедали.

Перед обедом обыкновенно около артельного котла появлялась четверть перцовки, по

случаю холеры, и едва наливается первый стакан — козел уж тут и не отойдет, пока не поднесут. Выпьет стакан, пойдет дальше и к концу обеда дрыхнет на берегу пьяный.

Вот он подошел к кучке пьющих на лугу, встал, завинтил хвостиком и, потряхивая бородой, заблеял. Пьют... и никакого внимания на козла. Наливают из четвертной второй стакан, третий... Он блеет, трясет рогами — и опять ничего. Парень в синей рубаше и синих узких портках, значит — костромич «узкая портка», опять берет четвертную, наливает стакан, который кто-то пьет, но в тот же миг козел налетает на парня, рогами бьет вдребезги четвертную, роняет парня и убегает при общем хохоте... Хохочет и весь кабак, хорошо знающий повадку козла...

К кабаку пылят и гремят четыре ломовых полка и останавливаются у колоды.

— Воротяжки наехали — холерных отвозили, — указывает Улан.

Воротяжками звали ломовых извозчиков, пьяниц и буянов за то, что они в драках употребляли воротяжки, толстые березовые палки, которыми закрепляли у задних осей чеку, чтобы колеса держались.

— Холерным карманы выгружали — пропивать на поминки приехали!

Этим холерным летом, когда люди умирали и на улицах, и на пристанях, ломовики зарабатывали огромные деньги, перевозя трупы днем на кладбище и ночью на берег Волги, к лодкам, на которых возили их за Волгу и там хоронили в песках и тальниках.

Пятеро ломовиков, здоровенных, краснощеких, ввалилось в кабак. На них были сверху надеты в рукава казенные грязные халаты из серой дерюги — в защиту при постоянном соприкосновении с покойниками. Кабатчик почетным своим гостям освободил стол близко к нашему, между окнами. У одного из них в руках была здоровенная березовая воротяжка, по всей вероятности, взятая с собой по привычке, на всякий случай.

Сам кабатчик им подал два штофа вина и стаканы. Они вынули из-под халатов каравай ситного, огурцы, рубец осерды и немытыми руками стали чистить печеные яйца и рвать куски хлеба и закусок.

Мы сидели и беседовали, главным образом о Репке. Все было мирно и тихо.

И дернула же нелегкая Петлю задеть ломовиков, которые выпивали и жрали — не ели, а жрали, обтирая руки о полы «холерного» халата, и лопали водку и закуску жадно и молча.

— Вы, храпоидолы, хошь руки-то бы умыли да халаты скинули в телегу, а то и сами заразитесь и другим занесете.

А те и внимания не обратили на слова, только один, с воротяжкой между колен, давясь кусищем рубца, буркнул:

— Ладно, опосля поговорим!

Они выпили по второму стакану, а мы продолжали свой пир. Только Костыга, старый бурлак, бывший первый есаул знаменитого разбойничьего атамана Репки, шепнул Петле:

— Охота тебе ввязываться, еще драку заведут. Человек ты бывалый, а язык у тебя зря... прежде ума твоего рыщет!

И действительно, Петля — человек больше чем бывалый: старый товарищ Репки и Костыги, немало «поработали» они вместе кистенем на низовьях. У Петли, как и Костыги и других наших, кроме прозвищ, своих имен не было. А может, и были, но никто их не знал, да и дела никому ни до кого не было.

— Садись да обедай, а кто и откуда — не твое дело... Весь народ из одних ворот!

Дадут подходящее прозвание, так оно и прилипает — не отдерешь. Костыга был еще исключением, его на самом деле звали Константином. А то вот Улан: он никогда в солдатах не служил, а давно-давно, когда он с Костыгой и Репкой еще в молодости остановили барина в карете на большой дороге под Казанью, то при дележке «сламу» ему достался кожаный ящик, а в нем оказалась только одна уланская каска... Долго смеялись над ним, а прозвище Улан прилипло.

Балабурду, огромного, несуразного, губастого и большеротого, звали так за то, что не поймешь сразу, что он говорит... Бала-Бала и бурда-бурда — ну и вышел навеки Балабурда. Силы он был необыкновенной. Раз сколачивал сруб для дома, венцов с десятков положили, а

плотники на чай просят у хозяина-купца. А тот, в лисьей поддевке и бобровой шапке, показал им кукиш:

— Накося — выкуси! Доделай сперва!

А один плотник набросился на хозяина, ругается, бормочет:

— Бала... бала... бурда... бурда...

— Говорить не умеешь, орясина стоеросовая, а еще лаешься! Эх ты, Балабурда!

Плотник сорвал у купца с головы шапку бобровую, взял ее в зубы, прыгнул к срубу, отсчитал венцов шесть сверху от земли да за выступившее бревно взялся обеими руками, приподняв с угла половину сруба, поддержал ее одной рукой, а другой сунул шапку между бревен и опустил на нее сруб.

— На вот, а то Балабурда! Пять рублей давай!

Втрое дороже обошлась купцу водка. Пришлось заплатить богатырю пять рублей, чтобы шапку достал, а прозвище осталось навеки... Еще Мамин-Сибиряк, когда рассказывал я ему это в 90-х годах, говорил мне, что этого самого Балабурду, седое чудище, ему как-то летом показали на Каме и этот рассказ он слышал о нем.

Алеша Бешеный — так окрестил меня в бурлацкой артели сам Костыга:

— Прямо бешеный! Мы лямки окинем, отдохнуть рады, а он разденется, бултых в воду и за Волгу сплавает... Это, говорит, для здоровья!

А вот и Петля — так уж другого прозвища лучше для него не подобрать... Петля и Петля... Из острогов бежал, с каторги ушел... А уж насчет баб — именно петля. Из-за них он и в острогах сидел.

Действительно, успех у женщин должен был иметь Петля. Ростом с Балабурду, стройный, ловкий, курчавая с проседью борода, а лицо правильное, и темные глубокие глаза то пытливо прищурены, то, когда увлечется или рассердится, — молнии мечут. Кулачище — пудовик.

Ломовики еще больше раскричались, галдят, на нас злобно поглядывают. Я сижу спиной к окну и чувствую, что меня кто-то тычет в спину. Наши ребята расхохотались. Оглядываюсь — рыжий козел меня мордой тычет, а копыта на подоконнике. И давай мы козла водкой поить. Уж третий стакан пьет, а тут ломовик с воротяжкой на нас, уж пьяный и злым голосом:

— Какое полное право имеете животную спаивать?.. Сволочи! — И выругал нас.

— А тебе что за дело, злая рота? Ваше дело — покойникам карманы разгружать, — рывкнул Петля.

Кабак поднялся на ноги. Галдеж.

Ломовик встал, стучит по полу воротяжкой, грозит, глаза сверкают, рот четырехугольным стал, зубы щелкают, как у волка...

Поднялся и Петля. Головою выше всех. Лицо спокойное — молчит и глядит на ломовика, прямо ему в глаза. Я невольно залюбовался этим удал-добрым молодцем... Кабак, глядя на него, замолк. Костыга и Балабурда кулаки сучат... Мы приготовились. А козел блеет — водки просит.

Сделал шаг вперед Петля... Ломовик перехватил поудобнее воротяжку.

Слово за слово. Кто стал за нас, кто за ломовиков. Завсегдатаи-босяки за них — мы гости редкие, а те каждый день их водкой угощают. Петля бросает отрывистые слова, дымя носогрелкой, — и каждое его слово не в бровь, а в глаз... Костыга не спускает со стола огромную берестяную тавлинку и поминутно нюхает — значит, волнуется.

Послышались голоса с дальнего стола по адресу наших жилетов с галунами, — это хозяйские крючники в рваных рубахах — в них говорила зависть...

— Кабацкие затычки! После Покрова заодно припевать с этой рванью здесь будете, зимогоры... — бросил им Петля.

В ответ злобное бурчание кругом. Мы приобрели новых врагов. Врагов-завистников. Запахло дракой. Ломовик стучит воротяжкой и тоже бурчит, прожевывая рубец. Глаза злющие. А козел все тычет меня в шею и затылок и нестерпимо воняет: водки просит.

Я взял со стола тавлинку, открыл за хвостик крышку и насыпал в ладонь полгорсти табаку, думаю — козла отгоню. Не тут-то было! Смачно слизнул он табак и еще пуще заблеял и затыкал в спину. Вдруг ломовик, показывая рукой на меня, заорал на весь кабак:

— Гляди, ребята, животину табаком травят! Измордую! — И вскочил с места.

В это время из толпы у стойки кто-то визгнул бабьим голосом на весь кабак:

— Крюки! Аравушка проклятая, обсери берега!

Это было старинное оскорбление бурлаков-крючников, сохранившееся от былых времен и особенно расцветшее в холерный год. Задело за живое.

Как рванется глубоко оскорбленный старый бурлак Балабурда, выше всех на голову своей косматой бородой, как забормочет, брызгая слюной из огромного рта, что-то непонятное, только отдельные слова прыгают.

— Много ли вас, такой сволочи, на фунт идет? Ну, выходи все, становись до разу, — наконец, выговорил он, звезданув кулачищем по краю неподъемного стола так, что угол с треском отлетел и штофы и полуштофы зазвенели на полу осколками.

Весь кабак на момент затих с не успевшими сорваться словами с ощеренных от злости губ.

— Ну выходи, дьявола! — гремел он. — Ну?

С безумными глазами вскочил ломовик, поднял воротяжку и ринулся к нам. Кабак еще не пришел в себя. Еще миг — и все рванутся, хлынут, и нас на куски разорвут... Послышались возгласы:

— Лупи их! Щеголей...

В этот миг вскочил Петля — одного роста с Балабурдой, за плечо усадил его на скамью, бросив ему: «Сиди!»

Зверем прыгнул на ломовика с воротяжкой. Ловким махом вырвал у него и выбросил воротяжку в окно, угодив в морду козлу. Поднял над головой побледневшего противника свой кулачище...

Тот так и сел на скамью.

— Ах ты, воротяжка несчастная! Карманная выгрузка... Да я тебя распроперена... — И начал, и начал без перерыва, выделяя только фантастические похабные слова, сыпать как горох...

Буйство окаменело. Рты закрываются. А Петля продолжал через голову ломовика, окончательно сдавшегося, без перерыва говорить ни ему, никому, а просто лил, как из пожарной трубы.

...Все в рифму! А потом опять ему в лицо:

— Да тебя что проучить... надо тебе... всучить... чтобы ты... мог понимать... мать... мать мерзлую собаку... чтоб она там выла... ныла... таяла... лаяла... скребла... ла... ла... и еще такого сукина сына... как ты...

И вдруг, взглянув в толпу, совершенно спокойным тоном сказал:

— А вы говорите — ко-озел!

Я видел только затылок Петли, но, должно быть, он улыбался.

Его улыбка отразилась, как в зеркале, в толпе. Кой у кого зашевелились губы, повеселели глаза...

Вдруг раздался ужасный вопль: «Ой, смертонька!» Кто-то упал на пол, начал корчиться у стойки, его стало рвать. В тот же миг, будто захлебываясь, беззвучно рухнул на пол совершенно посиневший ломовик — и с ним то же, что и с тем, у стойки.

— Батюшки, холера! — завопил кабатчик и заметался, схватив себя за напмаженную маслом голову.

— Холера! Холера! — загудел кабак и ринулся вон, сгрудившись в двери... Сзади напирали...

— Батюшки, холера!..

Все старались убежать. Кто в панике, а кто, бывалый, чтоб не заплатить... Ловкачи тащили штофы со стойки.

Когда все схлынули, вышли и мы. Пьяный козел спал у крыльца. Мы своей артелью пошли в тальники. У меня из головы не шла импровизация Петли, я его попросил мне ее как-нибудь повторить, чтобы записать.

— Да нешто можно? Хошь убей, ничего не помню. Само говорилось. Беда говорила! Пришло к гузну узлом и слова пришли. Ведь в клочья бы нас разорвали — их сотня... кто злой, кто пьяный, кто пограбить... Диво бы место было развернуться, сами бы накрошили, а там пошевелиться негде, к углу жали... Перво-наперво спасибо Балабурде — он их с места ошарашил... Тут минута дорога... А мое дело махонькое, легкое... Бери их голыми руками... А там, пока что, матерщина помогла. А главное, холера выручила. Она, голубушка, спасла.

Петля прекратил этот, по его, никчемный разговор, надвинул на затылок шапку и весело затащил одну-единственную разгульную бурлацкую песню:

Жить на свете чижало,
Ну, а впрочем ничаво!..

А у меня вертелись в голове целые тирады, вроде: выла, ныла, таяла, лаяла... всучить, проучить... понимать... мать... И понемногу еще долго-долго я восстанавливал Петлину речь, исправленную и дополненную, пока ею же не ошарашил самого Петлю.

* * *

В начале 80-х годов в Москве были только две театральные библиотеки. Одна, небольшая, скромно помещавшаяся в мебелированных в доме Васильева в Столешниковом переулке, а другая — большая, на Тверской.

Первую содержал С. И. Напойкин, а вторую С. Ф. Рассохин. Первая обслуживала главным образом московских любителей и немногих провинциальных антрепренеров, а вторая широко развернула свое дело по всей провинции, включительно до Сибири и Кавказа. Печатных пьес, кроме классических — да и те редко попадались, — тогда не было, они или переписывались, или литографировались, и этим специально занимался С. Ф. Рассохин. От него театры получали все пьесы вместе с расписанными ролями.

Библиотека на Тверской была в бельэтаже, а филиальное ее отделение, где велась вся переписка, помещалось в грязнейшей ночлежке Хитрова рынка в доме Степанова, где в нижнем этаже ютился самый разбойничий трактир «Каторга». В надворном флигеле, во втором этаже, в квартире № 6, состоявшей из огромной комнаты, разделенной сквозной дощатой перегородкой, одну половину занимали нищие, а другую переписчики С. Ф. Рассохина. Они работали в экстренных случаях ночи напролет. Огромнейшие деньги получала библиотека, наживая с заказчиков в десять раз больше, чем платила своим «писакам», как их звали на Хитровке. Роли расписывали они по 35 копеек с акта, а бывает акт и в 7 листов, и в 10. Работа каторжная, в день можно написать 6–7 листов, не больше. Заработок в день выходит от 20 до 30 копеек, а при самых выгодных условиях, то есть при малых актах, можно было написать копеек на 40.

— Если пишем с листа, — рассказывал хитрован, бывший суфлер, — то получаем по 5 копеек за лист, и тоже более 8 листов не напишешь. Эту последнюю работу мы считаем выгодной и очень рады, когда она нам попадает, но это бывает редко. Все было бы прекрасно, все можно было бы как-нибудь крутиться, да дело в том, что работа у нас непостоянная — нынче, завтра кое-что, а там дня два ничего нет. Куда хуже нищих! Они в другой половине нашей квартиры живут. Не житье им, а малина. Раза три в день пьяны бывают, выспятся и опять лопают. И кусочки им подают с купеческого стола и одеты тепло — даром, что с виду лохмотья. День гуляют, а ночью дрыхнут так, что писать нам нельзя — от их воздуха лампа гаснет. А мы сидим босые и полуголодные — и никак на одежонку не соберем... И покупать уже не стараешься — все равно пропьем. Я только что вырвался

оттуда. Дядя вчера нашел меня там босым, в одной рубашке и только... Сводил в баню, постриг, одел, как видишь... Послезавтра еду с ним в Казань, он меня в театр опять пристроит. Там суфлер плохой.

— Может быть, ты меня сведешь? — спросил я его.

— Никак нельзя, как попаду, опять застряну, оттуда выхода нет: придется все пропить. Так не выпустят... Со мной уж это бывало. А ты обязательно сходи! Придешь, увидишь, за столом сидят, или пишут, или водку пьют. Прямо к ним. Спроси там старшего, Ивана Артемьича, скажи, что тебя из библиотеки прислали, просят работишку дать тебе... Да оденься как можно похуже... Иван Артемьев у нас выборный, потрезвее других. Библиотека ему сдает на руки работу, ему и деньги уплачивает, а он уж рассчитывается с нами за работу, все деньги делим поровну, а ему 40 копеек за ходьбу с каждой получки даем, кроме заработанной доли.

На другой день, в воскресенье, я пошел на Хитровку под вечер. Отыскал дом Степанова, нашел № 6-й квартиры и только что отворил туда дверь, как на меня пахнуло каким-то портяночным, отвратительным, смешанным с копотью и табачным дымом, гнилым воздухом. Вследствие тусклого освещения я сразу ничего не мог разобрать: шум, спор, ругань, хохот и пение — все это смешалось в один общий гул и настолько меня поразило, что я, кажется, бывалый уж, в данную минуту не мог себе дать верного отчета в том, каким образом мой приятель суфлер мог попасть в такую ужасную трущобу.

Мой приход никого не удивил, и никто не любопытствовал о цели моего появления. Я стал осматриваться. Это была огромная квадратная комната в 5 окон; вокруг стен были сплошные нары, и на них в самых непринужденных позах — кто сидел, кто лежал, некоторые чинили свои отрепья. Соседняя ночлежка, нищенская, была еще хуже. Там под нарами на разостланных на полу грязных рогожках, ютились преимущественно женщины; на протянутых над нарами веревочках сушились грязные тряпицы, юбки и другие принадлежности женского туалета. Пол был отвратительно грязен и блестел от мокроты. Нога ступала в мокрую грязь так же мягко, как и на улице. Посреди комнаты писак, за большим столом, под висячей лампой, сидело человек шесть каких-то личностей, и, казалось, они очень спешили сшивать какие-то тетради. Я подошел к столу и спросил об Иване Артемьеве.

— Он болен, — усмехнувшись, ответил мне маленький рыженький человечек с быстрыми плутовскими глазками. — Нынче он не выходил из своих апартаментов, но труп его можете узреть вон там налево, под нарами, откуда — слышите? — раздается богатырский храп.

— Он справляет байрам, — пояснил мне другой, сидевший в темной рубашке с оторванным по локоть рукавом, — и если он вам нужен и вы в состоянии поднести ему стаканчик жизненного эликсиру, то он сейчас же явится к вам.

— Я послан к нему из библиотеки, — объяснил я, — и желал бы узнать относительно условий переписки.

— Ну, насчет этого вы сегодня вряд ли что узнаете, потому что Иван Артемьевич, говоря откровенно, нынче пьян; да и вообще, судя по вашему обличию и костюму, вы не согласитесь работать с нами.

В это время подошел к столу высокий мужчина с усами, безжизненного цвета лицом, одетый в коротенькую, не по росту, грязную донельзя рубашку, в таких же грязных кальсонах и босиком. Волосы его были растрепаны, глаза еле глядели из-под опухших красных век. Видно было, что он со страшного похмелья и только что встал от сна.

— Кто пришел из библиотеки? — спросил он хриплым голосом. — Деньги принесли? У кого деньги? Давайте порционные!

Между сидевшими за столом раздался смех. Высокий человек направился ко мне — я в нерешительности хотел было отступить, но он, обходя стол, поскользнулся и, падая, задел меня.

— Ах, pardon, — проговорил он, вставая с полу и протянув ко мне свои мокрые от

грязи руки, — я это нечаянно, *je suis un peu gris!* Мне слышалось, что кто-то пришел из библиотеки, и я думал получить свои порционные.

Мне не хотелось говорить с пьяным, и, к моему удивлению, кто-то из-под нар отозвал этого господина к себе. Через минуту он уже пел, сжимая в руках стакан с водкой:

Всему на свете мера,
Всему есть свой конец,
Да здравствует мадера,
Веселие сердец.

— Кто это? — спросил я. — Знакомое что-то...

— Один актер-любитель, из дворян... Второй год у нас околачивается... Три раза брали его родные, одевали, как барина, а он опять к нам... Говорит на всех языках. В Париже прокутился... Пишет хорошо.

«Кто же это! Неужели?!» — мелькало в памяти.

Перебила рассказ безносая нищенка — она высыпала на стол из мешка гору корок и ломтей черного хлеба и объедков пирогов.

— За все гривенник!

— Мы у нищих хлеб покупаем, вдвое дешевле лавочного. Окуски пирогов попадают... вот, смотрите, ватрушки уголок.

— Здесь и обедаете?

— Куда же мы, голые, пойдем. Одни опорки на четверых. У съемщицы харчимся, обед из четырех блюд четыре копейки, каждого кушанья на копейку: щей, супу, картошки — и на две каши. Хлеб свой, вот этот. За ночлег — пятак. Верит до получки, сейчас деньги из библиотеки пришлют — разочтемся...

Мы смотрели на пляску пьяных нищих.

Безносая топотала в стоптанных башмаках, развеивая над головой рваным платком, а за ней петушком, петушком засеменил босой нищий, бросив свои два костыля на нары и привизгивая:

Ходи, барыня, смелей,
Музыканту веселей...

Потом явился из соседней ночлежки гармонист, и разноголосый хор орал свою любимую:

Пьем и водку, пьем и ром,
Завтра по миру пойдем...

Изорин спал поперек нар, один опорок свалился на пол. Так и не пришлось мне поговорить со старым товарищем по сцене. Когда я зашел через месяц, его разыскали старые друзья и увезли к себе.

С этого времени я стал иногда заходить к писакам, и если меня друзья просили показать им трущобы, так я обязательно водил их всегда к писакам, как в самую скромную и безопасную квартиру, где меня очень уважали, звали по имени-отчеству, а иногда «Дядя Гиляй», как я подписывался в журналах и газетах.

На Хитровке, в ее трех трактирах, журналы и газеты получались и читались за столами вслух, пока совсем истрепляются. Взапас читалась уголовная и судебная хроника (особенно в трактире «Каторга»), и я не раз при этом читании узнавал такие подробности, которые и не снились ни следователям, ни полиции, ни судьям. При мне говорить не стеснялись, а тем, кто указывал на меня, как на чужого, говорили:

— Это наш, газетчик, он не лягнет!

На «Каторгу» к переписчикам раз я водил Т. Л. Щепкину-Куперник...

* * *

Я познакомился с Т. Л. Щепкиной-Куперник за кулисами театра Корша. Она играла гимназиста и была очень хорошеньким мальчиком. В последнем антракте, перед водевилем, подошла ко мне вся сияющая, счастливая успехом барышня, и я сразу не узнал после гимназического мундира Т. Л. Щепкину-Куперник.

Спустя долгое время я с ней встретился в Малом театре, и она, начитавшись моих статей о трущобах, просила показать ей их и пригласила меня зайти к ней.

Она занимала маленький флигелек на Божедомке вдвоем с артисткой Терьян и прислугой. Три небольших комнатки, уютных и почти роскошно, по-артистически, обставленных, картины, безделушки, портреты писателей. Вечера веселья, небольшой кружок одних и тех же знакомых молодых артисток. Чтение, музыка и пение. И только дамское общество. Я любил бывать там. Просьбу показать ей Хитровку я все отклонял — не хотелось ее окунать в грязь, но, наконец, уступил. Она оделась в очень скромную шубку своей горничной, на голову дешевый шерстяной платок, а на ноги — валенки. Я решил ей только показать переписчиков. Пока мы шли рынком мимо баб, торгующих с грязными фонарями на столах разной «благоухавшей» снедью, которую пожирали оборванцы, она поражалась и ужасалась.

Да еще бы не ужасаться после ее обычной жизни в уютном флигельке! Как-то, во время революции, вспоминая прошлое, я написал Т. Л. Щепкиной-Куперник:

...Я помню милый уголок
На незабвенной Божедомке!
Мускат-Розе, ликер, медок,
Икра и сайки на соломке.
Кипит веселый самовар,
До света тихие беседы,
Шумит поэзии угар —
Живой магнит для непоседы...
Вот развеселый день Татьян.
Скромна мечтательная Чайка,³²
Проникновенная Терьян
И именинница хозяйка... и т. д.

И тут:

— Иди, на грош горла отрежу!

— Тухлая!

— А тебе за семитку-то с лимоном?.. Дальше пьяная ругань и драка...

В трактире «Каторга» — драка. Кого-то вышибают за дверь. Звон стекол... вопли о помощи...

Мы исчезаем в темном проходе, выбираемся на внутренний двор, поднимаемся во второй этаж — я распахиваю дверь в № 6-й. Пахнет трущобой. Яркая висючая лампа освещает большой стол, за которым пишут, согнувшись, косматые, оборванные, полураздетые, с опухлыми лицами восьмеро переписчиков.

Подняли головы и радостно меня приветствуют.

— Мешать не буду... я вот зашел с молодой писательницей показать ей, как ее пьесы переписывают.

³² Роксанова — первая Чайка в первую постановку пьесы. Ее очень хвалил А. П. Чехов

Встали, кланяются.

— Очень рады... мы уже кончили, последнюю страничку... А кто она? — спрашивает старик из военных писарей.

— Щепкина-Куперник.

— Твердо — люди? Недавно переписывали!

— Да, Татьяна Львовна...

И все внимание обращено на нее. Усадили. Разговаривают о пьесах, о театре. В соседней комнате за дощатой перегородкой ругаются и спорят пьяные нищие...

Вернувшись домой, Татьяна Львовна переживала виденное.

* * *

Шли годы. Шагнули в двадцатое столетие. М. Горький ставил «На дне», и меня В. И. Немирович-Данченко просил показать Хитровку для постановки пьесы. Назначен был день «похода», а я накануне забежал узнать, в той ли еще они квартире. Тот же флигель, та же квартира во втором этаже, те же лампочки-коптюшки у нищих и большая висячая лампа с абажуром над рабочим столом. Кое-кто из стариков цел, но уж многих нет. Цепного опять увезли родные, и он больше не вернулся; тот самый актер, который пел под нарами из «Дон-Цезара де Базан», опять вернулся от своих друзей и снова исчез. Добронравов пропал без вести. Работы в этот день не было. За столом сидел голый старик и зашивал свою рубаху. Мы были знакомы по прежним встречам на Хитровке. Съемщица квартиры подала нам запечатанную белую бутылку водки «смирновки». Обыкновенно подавала она сивуху в толстых шампанских бутылках — они прочнее. Мы выпили по стаканчику. А перед нами

Скрестивши могучие руки, Главу опустивши на грудь,

глядя на нас жадным взором, стоял в одном нижнем белье и в опорках положительно Аполлон Бельведерский... Он был выше всех на голову, белые атлетические руки, на мизинце огромный холеный ноготь, какие тогда носили великосветские франты.

— Пригласи барина, — шепнул мне мой товарищ и поманил его рукой.

С улыбкой сквозь красивые усы и бородку он крепко пожал мне руку, сделал легкий поклон, щелкнул опорками пятку о пятку, как, по-видимому, привык делать в сапогах со шпорами, и отрекомендовался: поручик Попов. Думаю, что это был псевдоним. Уж очень он на меня свысока смотрел. Но когда мы выпили по четвертому стаканчику, закусывая соленым огурцом, нарезанным на газете с кусочками печенки, он захмелел и разговорился. А как изящно, двумя тонкими пальцами, красиво отставляя мизинец с ногтем, как бы боясь его запачкать о мокрую бумагу, брал он ломтики печенки. Он снизошел до меня и разговорился.

— А знаете, — обратился он ко мне, — вот здесь мы с вами водку пьем, а я через неделю должен был баллотироваться в уездные предводители дворянства, и мое избрание обеспечено. Мой отец губернский предводитель, уважаемая личность...

Я слушал, глядя на него: верю, мол!

— Кроме отца, никто не знает, что я старый хивинец. Я здесь третий раз. Раз прожил на Хиве три года, тоже пьесы переписывал. Отец разыскал меня и привез домой. Через год я опять попал сюда — и год прожил. Отец опять увез к себе в имение, и я уж было дома привык. Занимался хозяйством, танцевал, охотился, запой мои прекратились совершенно. Решил баллотироваться, а потом жениться. Я считался завидным женихом. Поехал на месяц в Крым — и там, кроме легкого вина, ничего не пил. И вот, возвращаясь из Крыма. Билет был прямо до Петербурга. Камердинер поехал с вещами в купе, а я пошел пешком с Курского к Николаевскому вокзалу. Поезд отходит через 2 часа, в 11 ночи. Пошел в «Славянский базар» поесть, да с Лубянской площади вдруг и повернул на Солянку. Думаю, зайду на Хиву, в «вагончик», где я жил, угощу старых приятелей и прямо на курьерский, еще успею. А на другой день проснулся на нарах в одной рубашке... Друзья подпустили мне в водку «малинки». Даже сапог и шпор не оставили... Как рак на мели. Теперь переписываю пьесы — и счастлив.

Надо заметить, что он слегка картавил букву «р», заменяя по-аристократически «г», пересыпал речь французскими словами, чокаясь, говорил «прозит» или «оль раит» (у него выходило «оль гайт»).

Он, видимо, захмелел.

— Ничего, приедет отец, выручит! — сказал я.

— К черту! Опять ходить по струнке! Настоящая жизнь здесь. Ведь это прелесть что такое: ничем не стеснять ни себя, ни других, распустить себя до состояния дикого человека, чувствовать себя во всех действиях свободным. Ведь это роскошь!

Он встал во весь рост, покачнулся, красивым жестом поднял стакан, сделал им приветственный полукруг, обвел всех сияющими глазами, чокнулся со мной и, грассируя, с улыбкой произнес:

— Алла вэгды!

От переписчиков я зашел в трактир «Каторгу». Меня радостно встретил буфетчик Семен Васильев, которого я знал еще мальчиком-половым. На моих глазах он превратился в буфетчика. Одет в пиджак, через шею серебряная цепь с передвижкой-подковой с голубой

эмалью, которую я еще помню на самом Кулакове, лет двадцать назад. Это его хозяйский подарок. Теперь Семка буфетчиком на отчете. Он увел меня в свою каморку за посудным шкафом, принес бутылку елисеевского портвейна, две рюмки и пару антоновских яблок.

Семка был здесь много лет моим «собственным корреспондентом» и сообщал все тайные новости Хитрова рынка, во-первых, потому, что боялся меня, как бы я не «продернул» в газетах трактир, а во-вторых, потому, что просто обожал во мне писателя. Словом, это был у меня здесь свой человек, и он старался изо всех сил сказать всегда что-нибудь интересное, похвастаться передо мной своим всезнайством. Говорил только одну правду.

Ему давно было известно, что у меня много знакомых среди самых отчаянных обитателей подземелий «Утюга» и «Сухого оврага», с которыми я за «семикаторжным» столом его трактира не раз водку пивал, и они меня не стеснялись: и Беспалый, и Зеленщик, и Болдоха, и Степан Махалкин, родной брат Васьки Чуркина. Они меня не стеснялись, сами мне давали наперебой материал и гордились перечитывать в газетах свои сообщения, от которых полиция приходила в ужас. Из-за этого и сам трактирщик Кулаков меня подобострастно принимал, а уже Семка прямо в нитку передо мной тянулся. Он первым делом заявил мне, что теперь служит на отчете, а хозяин живет в своем имении и редко приезжает. Рассказывал о старых общих знакомых — кто сослан, кто на высидке и кто где «дельце обделал». Во время рассказа он на минутку отрывался к кассе получить деньги. Все это меня мало интересовало — я от трущоб уже отдалился и давно о них не писал.

— А вчера ночью обход был... Человек двести разной шпаны набрали... Половина нищие, уже опять вернулись, остальные в «пересыльной» сидят... и эти придут... Из деловых, как всегда, никого — в «малине» отсиделись. А было что взять: с неделю назад из каторги вернулся Болдоха, а с ним Захарко Дылда, безухий... вместе тогда за убийство судились и вместе бежали... Еще его за рост звали «Полтора Захара, с неделю ростом — два дни загнулось». Вы помните их?

— Болдоху хорошо знаю... Он мне сам рассказал о гуслицком сундуке, а я с его слов напечатал подробности... Небольшой, с усами, звали Сергей Антонов, помню!

— Теперь не узнаете. Носит подвесную бороду, а Безухий и ходит, и спит, не снимая телячьей шапки с лопастями — ухо скрывает. Длинный, худющий, черная борода... Вот они сейчас перед вами ушли от меня втроем. Злые! На какой хошь фарт пойдут. Я их по старому приятельству сюда в каморку пускаю. Пришли в бедственном положении, пока что в кредит доверяю, Болдохе сухими две красненьких дал... Как откажешь?.. Сейчас!

Вернувшись от кассы, оказал:

— Приодеться надо, ищут фарта, да еще не наклевывается. Харчатся и спят у Бардадыма...

— Это в вашем Утюге, в подвале?

— Да, бывшая ночлежка Золотого... там сокровенно, туда лягавые не сунутся...

— Знаю, ход со двора, внизу. А постарел Бол-доха?

— Нет, все такой же бык... только седой — а бороду добыл рыжую.

Выйдя на площадь, под фонарем я увидел оборванца, лицо которого показалось мне знакомым.

— Игнат! — окликнул я. — Ты как попал?

— Как всегда, запил на две недели, запой прошел, а я уж месяц в Кулаковке околачиваюсь, не в чем на место явиться.

Обрадовался мне, слезы на глазах...

— Завтра утром заходи ко мне, я тебя одену...

— Не могу в этом виде днем. Позвольте вечером.

— Завтра вечером меня не будет дома, приходи послезавтра, а пока держи рублевку на харчи. Итак, до воскресенья!

Мы расстались. Игната я давно знал. Он был коридорным в номерах Фальцфейна, честнейший человек, хотя знался с самыми что ни на есть разбойниками Хитрова рынка, куда два раза в году попадал: запьет, в пьяном виде сейчас же на Хитровку в излюбленную ночлежку, угостит сперва, а потом сопьют с него все догола. Через две недели запой проходит, и если хитровские друзья сработают какой-нибудь фарт, то приоденут его, и он снова на службе. Его излюбленное место было в ночлежке Бардадыма и у шулеров, которые обыгрывают по рынкам и по притонам в «черную и красную» или «три листа» воров, всегда страстных любителей азарта. Сам же он в карты никогда не играл.

* * *

На другой день, как мы условились раньше, я привел актеров к переписчикам. Они, раздетые и разутые, сидели в ожидании работы, которую С. Ф. Рассохин обещал прислать вечером. Лампа горела только в их «хазе», а в соседней было темно — нищие с восьми часов улеглись, чтобы завтра рано встать и идти к ранней службе на церковную паперть.

Радость, когда я привел таких гостей, была неопишная. Я дал пять рублей, хозяйка квартиры подала нам «смирновки», а другим сивухи. По законам ночлежки водку обязаны покупать у хозяйки — это ее главный доход. Водка, конечно, всегда разбавлена водой, а за «смирновку» в запечатанном виде платилось вдвое. Художник В. А. Симов с карандашом и альбомом и еще кто-то сели за стол, а кто и стоял. Щегольские костюмы и рвань. Изящный В. И. Немирович-Данченко блистал своей красиво расчесанной бородой, благоухавшей бриллиантином, и с кем-то разговаривал. В гордой позе, на том же самом месте, как и вчера, с красиво поднятым стаканом, полураздетый, но гордый стоял рядом с К. С. Станиславским мой вчерашний собеседник, оба одного роста. Все писаки были еще совершенно трезвы, но с каждым стаканом лица разгорались и оживала беседа.

— Приветствую вас у себя, дорогие гости, — грассировал «барин», обращаясь к Константину Сергеевичу и обводя глазами других. — Вы с высоты своего театрального Олимпа спустились в нашу театральную преисподнюю. И вы это сделали совершенно правильно, потому что мы тоже, как и вы, люди театра. И вы, и мы служим одному великому искусству — вы как боги, мы как подземные силы...

И хлопнул залпом стакан.

К. С. Станиславский стал с ним говорить. Перемешавшиеся лохмотья и шикарные костюмы склонились над столом и смотрели на рисунок Симова. Слышались возгласы одобрения. Только фигура чайки вызвала сомнение: нешто это птица!

Ночлежка нищих нестерпимо зловонила и храпела. Я нюхал табак, стоя у двери, и около меня набралось человек десять любопытных из соседней ночлежки. Вдруг меня кто-то тронул за руку.

— Угостите табачком!

Оглядываюсь — Игнат. Он значительно смотрит на меня и кладет четыре пальца себе на губы. Жест для понимающего известный: молчи и слушай. И тотчас же запускает щепоть в тавлинку, а рукой тихо и коротко дергает меня за рукав. Это значит: выйди за мной. А сам, понюхав, зажав рот, громко шепчет: «Ну, зачихаю», — и выходит в коридор. Я тоже заряжаю нос, закрываю ладонью, чтобы тоже не помешать (будто бы) чиханьем, и иду за Игнатом. Очень уж у него были беспокойные глаза.

Он был уже у окна коридора.

— Владимир Алексеевич, выкидывайтесь скорее с вашими гостями отсюда, да скорее, скорее, сей минутою, а то беда!

— Что такое?

— Жизнью вы все рискуете. Уводите своих... Вам накроют темную, будет драка, вас разденут. Ну, уходите! Как я уйду, так и вы за мной все...

Дальше в коротких словах он рассказал, что к ним в «малину» под ночлежкой Бардадыма пришел один фартовый и сказал, что к писакам богатые гости пришли. Болдоха из «Каторги» сразу смикитил и шепчет соседу — Дылдой звать: «Ты, Дылда, как мы войдем и я тебе мигну, лампу загаси, и мы темную накроем». Это он сказал тому беглому, что с собой из каторги привел, а меня послал: сейчас, Игнашка, погляди, что и как и стоящее ли дело.

— Уходите, я бегу, меня ждут... — И нырнул на лестницу.

Я на минуту задумался — врет или не врет Игнашка? Я уверен, что он не врет, а может, преувеличивает... Но решил все-таки увести гостей и с этими мыслями пошел в ночлежку.

Вдруг слышу — по лестнице несколько человек, и сквозь решетки перил под лампой показалась длинная фигура в оленьей шапке. Подобные шапки носили в Вологде зыряне... Борода у него черная, как описал мне буфетчик. Да, это Безухий, которого называл Болдоха Дылдой. А вот и его широкая приземистая фигура с бородой набоку.

Уходить поздно. Надо находить другой исход. Зная диспозицию нападения врага, вмиг соображаю и успокаиваюсь: первое дело следить за Дылдой и во что бы то ни стало не дать потушить лампу — «темная» не удастся, при огне не решатся. Болдоха носит бороду, значит, трусит. Когда Болдоха меня узнает и я скажу ему, что узнал Безухого, открою секрет его шапки — и кампания выиграна. А пока слежу за каждым, кто из чужих полезет к столу, чтобы сорвать лампу. Главное — за Дылдой.

К. С. Станиславский все еще разговаривал с «барином». Бутылка сивухи гуляет и по рукам «припевающих», толпившихся у двери. Это набежали любопытные из соседней ночлежки, подшибалы и папиросники — народ смирный, — а среди них пьяный мордастый громила Ванька Лошадь. Он завладел шампанской, кой-кому плеснул в стаканчик, а сам, отбиваясь левой рукой, дудит из горлышка остатки...

Около В. А. Симова шум — кто-то задорным голосом упрекает его:

— Нешто это мой патрет? Пачиму такое одна щека черная? Где она у меня черная... Где? Гляди! А это нетто птица?

Кто за художника, кто за того... Голоса слились в споре. А пятеро делового вида «утюгов» протеснились ближе и встали сзади налегших на стол спорщиков. На них никто никакого внимания: не до того, на столе водка.

Болдоху я бы и не узнал, если бы не привесная борода, которую он поправлял то и дело. Я его помнил молодым парнем с усами — бороду брил, щеголь. Зато сразу узнал несуразного Дылду по его росту и шапке с ушами...

Я делал вид, что слушаю разговоры, а сам следил из-за чьей-то спины за «утюгами». Перешептываются, и глаза их бегают и прыгают по костюмам гостей: они делят заранее, кому и кого атаковать. Болдоха толкает в спину Безухого — тот боком, поднимаясь на носки, заглядывает на В. А. Симова через плечи наклонившихся над столом, а сам подвигается вперед к лампе. Встал сзади тех, что навалились на стол со стороны нищенской перегородки со стоящей вдоль нее широкой скамьей. Кое-кто стоит на ней коленями. Над ними тихо

подвигается черная борода и болтаются желтые лопасти шапки... Там шумят, пьют водку; «барин» со стаканом в руках что-то проповедует. А отдельно стоящие «утюги», видимо, волнуются и зиркают глазами. Только Болдоха исподлобья смотрит будто на пол и невозмутимо подкатывает внутрь длинные рукава рваного полушубка... Но центр внимания кучки и мой — Безухий. Все дело — в нем.

Если схватить и оттащить его — затеется борьба, в это время успеет кто-нибудь из кучки, пользуясь суматохой, погасить лампу, и свалки не миновать. Единственный исход — бесшумно уничтожить гасителя — Дылду, а Болдоху — словом ушибу. Безухий уперся пальцами откинутой правой руки в перегородку, чтобы удержать равновесие, потянувшись левой к лампе. Грудь открыта, шея вытянута... Так и замер в этой позе, как собака в стойке над дичью.

За столом галдеж. На В. А. Симова навалились с руганью. Кто за него, кто против... Он испуганно побледнел и съежился... Ванька Лошадь с безумными глазами бросился к столу, бешено замахнулся над головой В. А. Симова бутылкой. Я издали только успел рявкнуть: «Лошадь, стой!».

Но в тот же миг сверкнула белая рука в рваном рукаве, блеснул длинный, холеный ноготь мизинца. Как сейчас я вижу это, и как сейчас слышу среди этого буйства спокойное: «Паг-гдон!» Бутылка была в руках «барина»...

А под шум рука Дылды уже у лампы...

Я отдернул его левой рукой на себя, а правой схватил на лету за горло и грохнул на скамью. Он — ни звука.

— Затырьсь! Если пикнешь, шапку сорву. Где ухо? Ни звука, а то!..

Все это дело одного момента. Мелькнул в памяти рыбинский кабак, Петля... Я с поднятыми кулаками бросился и встал рядом с Болдохой, строго шепнув ему:

— Бороду сорву! — и, обратясь к центру свалки, глядя на Ваньку Лошадь, который не мог вырваться из атлетических рук «барина», заорал диким голосом (Петлю вспомнил):

— Стой, дьяволы!.. — И пошел, и пошел! Импровизация Петли с рядом новых добавлений гремела и даже разбудила нищих... А между новыми яркими терминами я поминал родителей до седьмого колена, шепча Болдохе:

— Степку Махалкина помнишь?.. ...Тра-та... та... мать перемать...

— А Беспалова?.. А дьяконову кухарку — на Кисловке?..

...Собачий... Жеребчий...

— А золото Савки? А гуслицкий сундук? ...Мерзлую собаку... выла... ныла... таяла... лаяла... — Ну, узнал ты меня, что ли, Антоныч?

Он глядит на меня безумными глазами, скривившаяся борода трясется...

— А Золотого? Помнишь, как я его прописал?.. Бороду поправь...

— Дядя?.. Это ты!

— Ну, и заткнись.

— К вам, сволочи, я своих друзей, гостей привел, а вы что, сволота несчастная! А еще люди! Храпоидо-лы! Ну!

Все стихли. Губы у многих шевелились, но слова рвались и не выходили.

— Небось, не лягну, — шепнул я Болдохе... и закатился финальной тирадой, на которую неистовым голосом завизжала на меня нищенка, босая, в одной рубаше, среди сгрудившихся и тоже босых нищих, поднявшихся с логова:

— Окстись! Ведь завтра праздник, а ты!

И тоже меня матюгнула очень сочно. Я снял с головы шапку, поклонился ей в пояс и весело крикнул:

— С праздничком, кума!

— Бгаво... бгаво... — зааплодировал первым «барин», а за ним переписчики, мои актеры, нищие, и вся шатия вплоть до «утюгов» заразилась их примером и хлопала в первый раз в жизни, не имея понятия о том, что это выражение одобрения. Только через два-три года они поняли значение аплодисментов, когда площади Москвы стали ареной митингов.

Тогда уже столица восторгалась пьесой Горького и вызывала художника В. А. Симова за декорации, которые были точнейшей копией ночлежки Бардадыма, куда я его еще водил не раз после скандала у переписчиков.

По следам Гоголя

От отца, свято чтившего книги Гоголя, с детства проникся я любовью и уважением к этому писателю, а прочитавши «Тараса Бульбу», а позднее и другие его произведения, на всю жизнь остался верным почитателем каждой его художественной строки.

Родство с запорожским казачеством, неостывающая любовь к степям и просторам питали это чувство, и я постоянно тянулся к Гоголю, к его книгам и ко всему, что было связано с его родными местами.

Понятен мой восторг, когда в конце 1898 года я смог поехать на Украину, чтобы повидать гоголевское окружение, а может быть, и современников, знавших его лично.

По делам коннозаводства, которым я издавна увлекался, в январе 1899 года я приехал на Дубровский конный завод близ Миргорода и остановился у заведующего Ф. И. Измайлова, который, узнав о моих увлечениях Гоголем, предложил мне поехать в Миргород и Сорочинцы, дал лошадей и посоветовал, к кому там обратиться за интересующими меня сведениями.

Лошади были готовы, и чудная дубровская тройка быстро, несмотря на занесенную снегом дорогу, домчала меня до Миргорода, до того самого Миргорода, где целиком, с натуры были списаны действующие лица «Ревизора».

При въезде почти во всякий русский уездный город обыкновенно наткнешься на острог. Миргород являлся исключением: это мир-город, где даже острога не существовало, а в предполагавшемся для острога здании едва ли не помещалась школа.

Но впечатление при въезде в город все-таки неприятное: слева от дороги — кладбище, а справа — казенная торговля водкой (монополия).

Пей — и умирай!

Зато далее глаз отдыхал на роскошных зданиях Гоголевского училища, расположенного в молодом саду.

— Гоголевское! — с гордостью говорили миргородцы и сорочинцы. Здесь Гоголем гордились и все бы, кажется, готовы назвать гоголевским.

— Наш Гоголь! — говорили здесь.

Только разве некоторые потомки героев «Мертвых душ» как-то неохотно вспоминали о великом писателе: так метко были описаны их деды и отцы.

Въехав в город, я направился в уездную земскую управу, к председателю С. И. Смагину, с которым еще давно познакомился у Ан. П. Чехова и не раз встречался в Москве. В управе я встретился с местным судебным следователем, старожилом Миргорода, М. В. Домбровским, и тотчас же разговорились о Гоголе. Между прочим, М. В. Домбровский показал мне только что полученное им объявление об издании «Истории русской словесности», составленной П. Н. Полевым, и обратил внимание на прекрасно исполненный рисунок с подписью: «Дом, где родился Гоголь, в сельце Васильевке».

— Прекрасный рисунок, и дом очень похож, — сказал М. В. Домбровский, — только одно неверно, а именно: Гоголь в этом доме только жил, а родился он в Сорочинцах, в доме Трахимовского; домик этот цел и теперь принадлежит становому приставу Ересью. Да не хотите ли проехаться в Сорочинцы? У меня, кстати, там есть дело; а вас познакомлю кой с кем из современников Гоголя. Итак, через час я к вашим услугам, а пока посмотрите Гоголевское училище.

С. И. Смагин провел меня в училище, директор которого С. И. Масленников показал классы, мастерские и музей.

М. В. Домбровский был аккуратен, и через два часа, сделав 24 версты по пустынной снежной степи, мы были в Сорочинцах и остановились перед хорошеньким одноэтажным

домом, принадлежавшим О. З. Королевой, современнице Гоголя.

Поднявшись на резное крыльцо с колоннами и пройдя сени, мы вошли в прихожую, где босая дивчина помогла нам раздеться, и затем очутились в большом светлом зале — уставленной цветами и украшенной картинами гостиной.

Нас встретила невысокая старушка в чепце и темном платье. Это и была Ольга Захаровна, небольшого роста, еще очень бодрая, несмотря на свои 75 лет, типичная украинка с добрыми серыми глазами.

Как родного приняла она моего спутника, друга ее покойного мужа, и ласково заговорила со мной, узнав о цели поездки.

Едва мы сели на диван, как в соседней комнате зазвенела посуда, и мы по предложению хозяйки встали и очутились в столовой, за накрытым столом, уставленным всевозможными наливками.

— Это что! — глубоко вздохнула хозяйка. — Разве теперь у нас в Малороссии живут? Да разве так было прежде? А вы удивляетесь на наливки? Чего-чего, бывало, на стол-то не наставят! Да и водки-то какие были, все перегонные: и на анисе, и на тмине, и на мяте, и на зверобое, и зорные от семидесяти болезней, и на ягодах, и на фруктах, и на цветах разных. Да и пили-то разве так? Пили и никаких катаров не знали!

— А вы, Ольга Захаровна, хорошо помните Гоголя? — спросил я.

— Эге ж! Часто и я у них в Яновщине бывала, и он к нам с матушкой своей и сестрицами в гости ездил. Моложавая была Марья Ивановна, матушка его! Бывало, принарядится — так моложе дочерей своих выглядывает. Она пережила своего сына знаменитого. Да, Николай Васильевич большую память о себе оставил, большую! А кто тогда думал! Смирный, тихий был. Сядет за стол, бывало, опустит голову, слушает, что говорят, да изредка нет-нет да и взглянет. А если кому что скажет — как ножом обрежет! Вот с парубками да с дівчатами — другой совсем: веселый, песни поет.

Ольга Захаровна оживилась и, по-видимому, с удовольствием вспоминала далекое былое.

— Бабушка у меня была, — продолжала она, — Софья Матвеевна Аксюкова. Та хорошо по-украински говорила, а Николай-то Васильевич хуже говорил, так он к ней часто ездил поговорить. Кроме того, бабушка знала множество рассказов и преданий из старины, из гетманщины, и сколько она рассказывала Гоголю! Подолгу беседовали, бывало, они. Все это я помню, хорошо помню: молода была тогда и всем интересовалась. Боялись его многие! Ужинать с ним боялись. Вот какой случай был. Собрались раз у одного помещика гости. Приехал сосед, помещик. Этот сосед, большой гастроном, любил больше всего голову коропа-рыбы. Никому, бывало, ее не уступит. Сказал хозяин гостю, что у него за ужином будет короп. Гость весь вечер только и думает, скоро ли ужин, скоро ли коропа подадут! Сели все за стол — вдруг дверь отворяется, и входит Николай Васильевич. Уж он тогда многое написал, все его знали у нас. Пришел, а некоторым ужин не в ужин. Мне уже много после сам гость рассказывал так:

«Вошел, поздоровался, да и сел, да на грех рядом со мной. Пошевелиться боюсь — вдруг опишет! Кусок в рот не идет. Подают коропа: жирный, зарумянился, головастый. А я дотронуться боюсь, как на иголках сижу. Так ведь и не ел я, и голова осталась. дождался конца ужина, да и бежать. Приезжаю домой и спрашиваю у жены ужинать, а та удивляется, как это из гостей да голодный приехал. Ну, и объяснил я ей, что Гоголя испугался». Вот какой был Николай Васильевич.

— А где родился Гоголь? — спрашиваю я.

— Здесь, в Сорочинцах, в доме Трахимовского, близ Преображенской церкви. Там его и окрестили. А Трахимовский был знаменитый на всю округу доктор, к нему много даже из других губерний больных съезжалось. При доме был у него флигелек для приезжих больных, где они останавливались. Вот в этом-то самом флигеле в две комнаты я много раз бывала, и Марья Ивановна остановилась да тут и разрешилась благополучно сыном. В этой же церкви его и крестили. Это мне и сама Марья Ивановна рассказывала, да и все знают.

— Не помните, не говорили вам, какого числа он родился?

— Нет, не упомяну.

— Это мы справимся в церковном архиве, если его здесь крестили, — сказал М. В. Домбровский.

И мы решили отсюда отправиться в церковь, но снова заговорились.

— Скажите, Ольга Захаровна, любили здесь Гоголя, после того как его произведения появились в печати?

— Далеко не все. Кто попал к нему под перо, те не любили, вот как не любили! Особенно миргородские чиновники ненавидели: ведь весь «Ревизор» с них списан.

— А вы помните тех лиц, с кого он писал?

— Двоих лично знала; городничий списан с миргородского городничего Носенка, а почтмейстер — с почтмейстера Мамчича. Умерли оба. Смешной этот Носенко был: худой, длинный, чудак такой. А Мамчич — стариком уж я его помню — бритый, седой, на клиросе пел. Все тогда себя узнали: портреты верные были.

— А какой самый лучший портрет Гоголя?

— Изменчивый он был лицом, и все портреты похожи. А самый лучший, самый похожий все-таки в Яновщине, у Н. В. Быкова. Вы помните, — обратилась хозяйка к Домбровскому, — в гостиной висел, в черном, с золотой цепью на шее? Да, это — лучший портрет, все говорят. Он работы Моллера, и снимков с него нет, ни одного напечатано не было. Там, рядом с портретом, есть еще гравюра с Рафаэля «Преображение господне», подаренная Гоголю в Риме профессором Иорданом. Интересна судьба этой гравюры. В Яновщине никто не знал о ее существовании. Она валялась в хламе, на чердаке. Вдруг пришло письмо из Москвы, кажется, от покойного П. М. Третьякова — наверно не помню, с просьбой продать эту гравюру, а о ней никто и не знает! Стали искать, искать и нашли на чердаке, подмоченную, попорченную.

Я посмотрел на Ольгу Захаровну. Она, видимо, утомилась, и мы, поблагодарив гостеприимную хозяйку, дорогую современницу Гоголя, откланялись и направились в дом, где родился Гоголь.

В гоголевские времена дом принадлежал доктору Трахимовскому, потом был продан помещику Чарнышу, а потом Александренку, и от него уже приобрел его настоящий владелец, становой пристав П. М. Ересько.

Шагая по глубокому снегу, мы добрались до Преображенской улицы, и М. В. Домбровский указал мне на маленькую, крытую железом мазанку, белевшую сквозь деревья сада.

— А вот и дом, где родился Гоголь. Зимой он заперт: владелец в нем живет только летом, а теперь П. М. Ересько обитает вот в этом большом, куда мы с вами и направимся, — сказал М. В. Домбровский.

Домовладелец, пожилой, небольшого роста господин, одетый в форменную тужурку, живой, энергичный, несмотря на изрядную седину. Он встретил с распростертыми объятиями М. В. Домбровского, который что-то ему сказал на ухо, после чего хозяин весьма любезно попросил нас в гостиную, где на столе моментально появились всевозможные наливки, которыми Павел Моисеевич славился на все Сорочинцы.

П. М. Ересько двадцать лет служил в Сорочинцах. Дом он приобрел уже несколько лет, и гоголевский флигель сохранил в том же виде, каким он был девяносто лет назад. Только крыша железная, а остальное все осталось по-старому, если не считать небольшой пристройки, сделанной к флигелю сзади.

Флигель был обыкновенная, чисто побеленная мазанка с дверью посередине. Дверь вела в большую комнату с глинобитным полом, в правом углу которой стояла большая печка, а рядом с ней — дверь, ведущая в пристройку. Налево — дверь в комнату, где когда-то доктор Трахимовский располагал своих пациентов и где родился Николай Васильевич Гоголь.

Нет ни Трахимовского, нет ни Гоголя, ни лиц, с которых он рисовал свои незабвенные

типы, а стены домика, слышавшие первый крик великого писателя, были целы.

Особое, совершенно особое чувство благоговения испытывал я в этой чисто выбеленной комнате с четырьмя окнами, два — по одной, два — по другой стене.

Пробыв несколько минут, мы вышли на большой двор, где осмотрели, между прочим, замечательно прочный подвал, сухой, чистый, оставшийся со времен гетманщины. Подвал этот принадлежал гетману Малороссии Даниилу Апостолу, а из подвала существовал подземный ход, ведущий до церкви, которая была выстроена Даниилом Апостолом. А когда она строилась, Апостол, по преданию, по ночам собирал рады в строящемся здании и сам являлся на эти рады через этот ход.

Поблагодарив любезных хозяина и хозяйку за гостеприимство, мы направились к священнику Преображенской церкви отцу Севастиану Павловичу. Было совершенно темно, когда мы подошли к его дому.

Отец Севастиан более десяти лет тому назад разыскал запись рождения Гоголя, прочел ее и опять положил книгу в архив, и с той поры, по его словам, книги никто не видал и не спрашивал.

— Кроме меня, знал об этом наш старый священник, отец Роман, но ему на девятый десяток, и он слаб: сегодня я его соборовал. Плох уж стал старичок, а еще помнит все!

Я обратился к священнику за разрешением посмотреть метрические книги за 1809 год, на что получил согласие, и мы отправились в церковь.

Это одна из древнейших церквей Украины, сооруженная Даниилом Апостолом. Церковь была о пяти главах, отделанная лепною работой и освященная вскоре после его смерти, 6 апреля 1732 года. Здесь было много старинных икон. В церкви обращал на себя внимание старинный резной из дерева иконостас замечательно тонкой, художественной работы.

Священник открыл архивный шкаф и вынул старую, но хорошо сохранившуюся метрическую книгу о родившихся за 1809 год. И здесь, в середине книги, на правой странице, внизу, старинным твердым почерком было написано: «20-го марта у помещика Василия Яновского родился сын Николай и крещен 22-го марта. Восприемником был... господин полковник Михаил Трахимовский... молился и крестил священнонаместник Иоанн Белопольский». Отец Севастиан выдал мне по моей просьбе форменную, с церковной печатью, выпись из метрической книги.

На другой день, рано утром, я гулял по Миргороду и глубоко сожалел, что теперь зима и все занесено снегом, и не видно даже знаменитой лужи, про которую у Гоголя сказано: «Удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа! Дома и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее!»

Мне тогда сказали миргородцы, что лужи этой больше не существует и что на месте ее разбит городской сквер, а что луж есть несколько и есть такие же большие, к великой радости гусей и свиней, может быть, идущих по прямой линии от той супоросной бурой свиньи, которая стащила и съела очень важную казенную бумагу из суда.

Видел я еще то, чего не было в доброе старое время: видел я казенную винную лавку, около которой стояла толпа миргородцев и пила из горлышка водку, закусывая снегом, а то и ничем, и запах от этой толпы напомнил мне тот момент в повитовом суде, когда Иван Никифорович со своей просьбой застрял в двери, и «тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей, причем канцелярский чиновник и его помощник — инвалид от дружных усилий дыханьем уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом». Такой же запах был от толпы близ винной лавки, находившейся в переулке, напоминавшем тот «переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они не могли уже разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, покамест, схвативши за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону, на улицу».

Таковым был Миргород зимой, Миргород, прославленный Гоголем, и весь этот край,

где каждое место напоминало Гоголя, — край, который смело можно назвать «Гоголевщиной».

Каждое правдивое слово о великом писателе, характеризующее и его и ту обстановку, которая послужила для его творчества, всякое подобное сведение есть уже ценность, которая должна принадлежать всем.

Это обстоятельство заставило меня сделать еще целый ряд поездок в Гоголевщину, тогда я старался главным образом обращаться к тем современникам поэта, которых никогда и никто не расспрашивал и которые без всякого желания рисовки правдиво поведывали мне то, что сохранилось в их памяти, нередко даже выказывая удивление, зачем у них спрашивают такие неинтересные, по их мнению, вещи.

* * *

Поведаю, о чем могу, в том порядке, как это видел я во время пути, который был хорошо известен Гоголю. Собрав материал по воспоминаниям о Гоголе, мне пришлось волей-неволей остановиться и на настоящем этих мест, сохранивших те черты, которые известны читателям Гоголя.

Все эти места поэтому и назвал я одним словом: Гоголевщина.

Не будь Гоголя, разве говорили бы о них? Разве говорили бы об Украине?

Конечно, говорили бы... А Полтавский бой? Разве он не прославил страны?..

Да, были герои-победители... Об этом свидетельствуют могилы, дела рук героев...

А после них прошли два мирных человека с записными книжками в руках, один обессмертил Полтаву в чудных стихах, а другой заставил весь мир полюбить милую, симпатичную Украину...

Ни Полтавы, ни Украины без них не знали бы...

От героев меча остались могилы, от людей — слова, правда и любовь.

Выехал я из Полтавы по исторической диканьской дороге и, проехав почти с версту, невольно оглянулся назад.

Украинская красавица, утонувшая в садах и тополевых аллеях, изменилась. Впереди раскинулись широкошироко поля, ярко-зеленые озими с желтыми оазисами, хуторскими садочками, золотом отливающими при ярком блеске сентябрьского солнца.

Резкой полосой прорезает изумрудную зелень черная дорога, по которой когда-то ездил Гоголь...

А ранее, еще ранее на этих полях, спокойных, изумрудных полях

Тяжкой тучей Отряды конницы летучей, Браздами, саблями звуча, Сшибаясь, рубятся сплеча, Бросая груды тел на груды; Шары чугунные повсюду Меж ними прыгают, разят, Прах роют и в крови шипят...

Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть, и ад со всех сторон.

Ужасное было время, и напоминают о нем эти зеленые курганы по сторонам дороги.

И воздвигла эти курганы прихоть и жажда славы одного человека...

Мне представлялось: вон там, в балочке, двое бледных, испуганных всадников боязливо скачут по очертам...

Нет уж давно-давно их сначала молниеносных, потом испуганных взглядов, полных отчаяния, нет уж их грозного воинства — ничего не оставалось на этих полях, кроме поросших травой могил, а поля все неизменны, свежи, зелены...

Да осталось еще народное название местности по дороге, характеризующее то время, а название это — Побиванка.

А за Побиванкой — Петрова долина, а дальше — Переруб, а там — и Диканька.

Вот при въезде — аллея из дубов, таких пятиобхватных да угрюмых, каких на свете, пожалуй, не увидишь.

Это те самые дубы, о которых Пушкин сказал:

Цветет в Диканьке древний ряд Дубов, друзьями насажденных; Они о праотцах

казненных Донуны внукам говорят.

А за дубами — Диканька с ее великолепным дворцом, окруженным парком, сливающимся с дубовыми лесами, в которых водились даже стада диких коз.

Я целый день провел в этом лесу, октябрьский солнечный день.

Тишина поразительная. Ни лист, ни веточка не шелохнутся. Если только смотреть на солнце — переливается в воздухе прозрачная, блестящая паутина между тонкой порослью, да если прислушаться — зашелестит на миг упавший с дерева дубовый лист. Земля была устлана плотно прибитыми накануне дождем желтыми листьями, над которыми стоят еще зеленые, не успевшие пожелтеть и опасть листья молодой поросли. Ни звука, ни движения. Только лапчатый кленовый лист, прозрачно-желтый на солнце, стоит боком к стеблю и упорно правильным движением качается в стороны, как маятник: то вправо, то влево. Долго он качался и успокоился только тогда, когда оторвался, зигзагами полетел вниз и слился с желтым ковром... Да еще тишина нарушилась двумя красавицами — дикими козами, которые быстро пронеслись мимо меня и скрылись в лесной балке... И конца-края нет этому лесу. А посреди него — поляны, где пасутся табуны... Вот Волчий Яр, откуда открывается внизу далеко-далеко необъятный горизонт, прорезанный голубой лентой Ворсклы, то с гладким степным, то с лесистым обрывистым берегом...

Великолепны окрестности Диканьки и великолепен дворец, в котором между драгоценностями хранилась в дорогом шкафу рубаша Василия Кочубея. Простая белая рубаша с пятном крови. После казни в Белой Церкви рубаша Кочубея досталась его родственникам и до последнего времени хранилась в церкви в селе Жуках. Несколько лет тому назад в Жуках ожидали архиерея, объезжавшего епархию, и попадья, решившая, что не подобает владыке видеть окровавленную рубашку, вымыла ее, но все-таки кровь отмыть не могла. Тогда владелец Диканьки, В. С. Кочубей, взял эту реликвию к себе и устроил ей помещение в своем дворце.

Сзади дворца — сад, а еще дальше, за прудом, и село Диканька, где кузнец Вакула так расписал свою хату, что приезжавший блаженной памяти архиерей даже спросил:

— А чья это такая размалеванная хата?

Та самая Диканька, где жил дяк Фома Григорьевич, «кажется, и незнатный человек, а посмотреть на него — в лице какая-то важность сияет; даже когда станет нюхать обыкновенный табак, и тогда чувствуешь невольное почтение; в церкви, когда запоет на клиросе, — умиление неизобразимое».

Прошел я из дворца и парка в Диканьку, для скорости пути едва пролезши в какую-то дверь в заборе, перешел мостик и стал подниматься в гору, к Троицкой церкви, которую расписывал Вакула и в которой Фома Григорьевич дяком был.

Остановился против церковной ограды у хаты, а на воротах написано: «Петр Андреевич Зеленский».

— Чья хата? — спросил я подошедшего человека, не молодого и не старого.

— Хата была Петра Андреевича, дяка, а как он умер, так перешла к новому дяку, его преемнику. То был дяк!

— Вроде Фомы Григорьевича?

— Вроде Фомы Григорьевича, да еще почище. Почтенный был, все молчал, да слушал, да табак с такой важностью нюхал, что шапку — увидишь — скинешь. А как на клиросе пел! По-старинному и даже невольно умирительно. А выпить мог — уму невообразимо. Бывало, праздником пьет, пьет — и не узнаешь. А как запоет «Волною морскою», да вскочит, тряхнет плечами, да гикнет, и пойдет, и пойдет!.. Вот это был дяк. Больше пятидесяти лет здесь прослужил.

Шли мы по диканьским улицам, и все мне мой спутник рассказывал, и видно, что читал всего Гоголя.

— А вот и Вакуленко, — указал он мне кузницу. Я поинтересовался:

— А что, все у вас так же, как вы, Гоголя знают?

— Да, Диканька должна знать и знает Гоголя, у нас неграмотных, кажется, совсем нет.

Диканька — это Гоголевщина... Как же нам не знать его.

В тот же день я выехал из Диканьки в Яновщину. Вот балка Пустовидка. Здесь когда-то сидел разбойник Пустовид. Вот Зозулина балка. Вот Дьячково. Вот хутор Задорожный. Владельцем его был казак Григорий Ефимович Задорожный, старейший в округе. Еще во времена Гоголя он был церковным старостой в Яновщине, и после каждой церковной службы Мария Ивановна Гоголь приглашала его в дом.

— Добрая была. Бывало, у меня в церкви разменяет десять рублей и все раздаст бедным. А паньч (Гоголь) еще добрее был. Помню, раз при мне говорил Марье Ивановне: «Смотрите, чтобы не обижали людей». Приедет, бывало, поговорит с народом ласково-ласково. Добрый паньч был.

От Задорожного я заехал в Невенчанную балку; балка эта на десяток верст по странной случайности искони была вся населена холостяками-помещиками, записывавшими своих многочисленных детей к себе же в крепостные. Приехал на хутор, которым владели братья Мироненки.

Мироненки были уже пожилые люди, родные братья. Жили они и прежде бедно, а потом умер их богат дядя

Шафранов и оставил им имение и деньги. Стали они делить такое богатство. Крупное поделили, а на мелком поссорились. Не поделили старую молотилку. И стоит она, гниет на дворе у обоих на глазах, чтобы никто пользоваться ею не мог. Старший брат Иван Иванович соглашался продать молотилку и деньги поделить и даже пожертвовать на школу, а младший Петр Иванович уперся и говорит:

— Нехай она сгниет! Або моя, або хай сгниет!

И поссорились из-за молотилки и друг друга видеть не желали и знать не хотели. Живут, будто и знакомы не были.

Великий Гоголь провидел этих двух братьев, которых так живо изобразил в Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче.

Я заехал в дом к Ивану Ивановичу, который жил вдвоем с сыном своим Спиридоном Ивановичем; оба хорошие хозяева и аккуратные люди. Иван Иванович очень интересовался стариной, много помнил и прекрасно рассказывал. Даже стихи на украинский язык переписывал. Я предполагал найти у него что-нибудь о Гоголе, но нашел только кипу старинных, еще блаженной памяти поветового миргородского суда, дел да несколько купчих крепостей на продажу людей. Живых людей... Ужасные документы, по которым живые люди переходили от одного владельца к другому, дети отнимались от родителей.

— Интересное имя в одной купчей упоминается, — сказал мне хозяин, — это Гришко-Горишевский. Он из села Устивиц, из-под Сорочинца, и я сам оттуда. Так этот самый Гришко-Горишевский — его уж я не помню, дед мне про него рассказывал — был сотником и принимал к себе всех разбойников и майданщиков.

— А что такое майданщики?

— А которых закуция на майдан посылала.

— Не понимаю.

— Закуция? Да это экзекуция, власти. Закуция состояла из головы, сотского, десятского писаря и добросовестного.

Идут они всей партией выколачивать подушное. Если не платит кто подушного в первый раз — арестуют. Если не заплатит во второй раз, а уже в тюрьме сидел, достанут сажу, натолкнут ее, помешают с водой — да и давай ляпать по стенам и по одежде, по чем попало. И водят за собой тех, кого измажут. В третий раз берут недоимщика и ведут на большую дорогу, на перекресток. А на перекрестке лежат сваленные длинные дубы, и надолблены в тех дубах дыры. И вот в дыру на дубе вставляют ногу неплательщика и прибавают ее брусом: вынуть нельзя. Много народу насадят и держат трое-четверо суток, даже зимой. Это называлось «на дубу».

В четвертый раз неплательщика забирают и ведут к дубу. А у дуба — ямы глубокие, над ямами перекинуты жердочки, а через жердочки перекинуты прутьяные плетни. И вот в

эту яму насадят битком недоимщиков, а затем навезут воды, и ходит «закуция» по плетням и поливает холодной водой тех, которые сидят в ямах. И продолжалось это от трех до пяти дней.

А уж если это не помогало, пороли жестоко и отправляли, пока не заработают подушного, на селитренные заводы на майданщину.

Так поступали с казаками.

Майданы были повсюду вокруг. Работа каторжная, каторжные порядки. Майданщик — было ругательным словом, уцелевшим и до меня. Единственный исход для майданщиков был побег в Таврию, или в донские и днепровские гирла, или к Гришко-Горишевскому.

В то время в Устивицах, близ села Сорочинец, Миргородского уезда, у него было большое имение. И стоял на сорочинской дороге столб, а в столбу проверчено шесть дырок. Это были условные знаки, которые понимали только те же майданщики.

Означали эти шесть дырок, что беглые, явившиеся в Устивицы, получают шесть лет панщины, если запишутся к Гришке в «пидсусидки», а через шесть лет переходят с потомством в крепостные: а бежать от Гришки было нельзя: у него были злющие-презлющие собаки, которые разрывали каждого прохожего. А ударить ни одной собаки нельзя: кто ударил — сам пропал.

Передававший это со слов своего деда родился в тех же Устивицах.

О себе Иван Иванович рассказывал так:

— Боялись мы школы. Учились мы в конюшне у попа. Учился со мной рядом же и теперешний кременчугский врач В. Сидим мы в конюшне на бревнах да и выглядываем из оконца — кто идет, а сами читаем: «Един бог во святой троице». Вдруг поп выхватит у кого-нибудь из рук книжку да велит продолжать наизусть. А чуть ошибся — линейкой по щеке. Во, с какими мордами ходили. А то раз спрашивает меня:

— Скилки було Ноев?

— Один, — говорю я, — праведный Ной.

— А як же Америка взялась? — Да по морде линейкой.

От И. И. Мироненка я выехал в Яновщину, чтобы повидать гоголевские места, сестру Гоголя, О. В. Головню, и старшего в роде Гоголей — Н. В. Быкова.

Не могу не сознаться, что в Яновщину ехал я с сердечным трепетом. Даже решил, что и заходить к владельцам не буду, постараюсь их не беспокоить, так как я слышал уже о том, как надоели им всевозможные интервьюеры и корреспонденты с фотографическими аппаратами и записными книжками, обладатели которых заносят каждое слово о Гоголе, сказанное тем даже, кто, живя на Украине, и понятия не имеет о Гоголе. Эти пилигримы страшно надоели владельцам Яновщины, и я не хотел уподобляться им, да и вообще думал там найти мало интересного: надоело людям отвечать, будут повторяться, говорить нехотя...

Вышло наоборот.

На подъезде расположенного в саду дома Н. В. Быкова я встретил хозяйку дома и попросил разрешения только пройти по гоголевскому саду, на что получил разрешение, и, откланявшись, назвал свою фамилию.

Меня попросили в дом. Оказалось, что Н. В. Быков знал меня по моим работам, а супруга его Мария Александровна, внучка А. С. Пушкина, слыхала обо мне от своих родственников, с которыми я был давно знаком.

Приятное разочарование: думал посмотреть сад, предполагал встретить сухой прием, не добыть ничего интересного, а оказалось, что весь-то интерес и был здесь.

Нашлась сотня общих знакомых, пошел разговор такой, будто встретились друзья после долгой разлуки.

Оказалось, что Н. В. Быков сам интересовался до мелочи всем, что касалось его гениального дяди, и сам владел еще многими интересными реликвиями, кроме тех, которые им уже ранее были пожертвованы в Румянцевский музей.

Передо мной раскрылся целый музей реликвий, рассмотрению которых я посвятил день и почти всю ночь. На другой день я посетил сестру писателя, Ольгу Васильевну Головню, и

застал ее в то время, когда она только что вернулась с пасеки из Яворщины, верстах в трех, в степи, где когда-то любил бывать и Гоголь. Любимым местом для прогулок Гоголя была Яворщина, где когда-то был старый дубовый лес, а также и Стенка (или Стенька) — урочище в пяти верстах от Яновщины, принадлежащее Н. В. Быкову. Гоголь часто ездил в Стенку — это лес, спускавшийся по обрывистому берегу Голтвы. Место весьма красивое, поэтическое. Здесь он задумал свое «Заколдованное место».

Ольга Васильевна была еще бодрой старушкой, интересующейся хозяйством и деревенской жизнью. Она плохо слышала, но любила поговорить о прошлом, хотя ей это было довольно трудно, почему я не позволил себе беспокоить ее расспросами, ограничившись тем, что осмотрел гоголевские вещи, о которых в свое время писал в газетах.

* * *

Хорошо в Яновщине! Кругом степь, прорезанная балками, усеянная хуторами с тенистыми садами.

Прямо от церкви начиналась степь. Подле церкви, между церковью и плотиной, которая разделяла два пруда и которая когда-то была усажена старыми-престарыми вербами, четыре раза в год собиралась ярмарка. Ее-то, говорят, Гоголь и описал и назвал ее «Сорочин-ской» потому, что Сорочинцы были известны по всей округе, а Яновщину в те времена и не знал никто. Какая, мол, такая ярмарка в какой-то Яновщине! Вот в Сорочинцах так ярмарка!

Назови Гоголь ярмарку не Сорочинской, которая знаменита, а Яновщицкой — и тоже бы подняли на смех.

Вот по тому же самому Гоголь и назвал свои рассказы «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Диканьку все знают. После Полтавы там это самое крупное имя.

А тут еще приглашение: «Когда кто из вас будет в наших краях, то заверните ко мне: я вас напою удивительным грушевым квасом». Так приглашал пасечник Рудый Панько.

Да я сам лет 35 тому назад знал уже Диканьку и всей душой стремился туда, где Богат и славен Кочубей, Его луга необозримы...

стремился посмотреть и хутор близ Диканьки, где Рудый Панько рассказывал такие страшные вещи, и посмотреть Полтаву и Побиванку, где побили шведов...

И вот только через 35 лет после первых моих мечтаний передо мной самый хутор близ Диканьки, дом, осененный деревьями, которые сажал сам Николай Васильевич Гоголь и отец его Василий Афанасьевич.

Это была новая усадьба Гоголей, принадлежавшая старейшему в роде их Н. В. Быкову.

Меня встретила группа детей. В них уже слились три фамилии. Это — Быковы, Гоголи и Пушкины.

Н. В. Быков был женат на дочери Александра Александровича Пушкина — сына Александра Сергеевича. Дети у Быковых росли в том саду, который сажал Николай Васильевич Гоголь, их дед.

Странно посажен сад на берегу пруда — только одна аллея, а там — все вразброс.

Таково было желание Гоголя. Он не любил симметрии.

Он входил на горку или просто вставал на скамейку, набирал горсть камешков и бросал их: где падали камни, там сажал он деревья. До того времени на месте сада был большой луг, и на нем-то Николай Васильевич образовал этот чудесный тенистый сад.

Впрочем, когда я был в Яновщине, сад не был тенистый: клены, любимое дерево Гоголя, уже облетели; уцелели листья на двух его также любимых деревьях: желтые, золотые при свете солнца — на липе и темно-зеленые, кожистые — на дубе.

Гоголь любил и сажал только три этих дерева.

Осень была ясная, солнечная. Осенний сад на меня не произвел впечатления умирающей природы, нет! Это природа освещается перед сном чистым воздухом, она

умоется холодными, здоровыми дождями, а затем под белоснежным одеялом уснет, чтобы проснуться свежей, полной жизни, готовой к деятельности, прекращенной зимой во время сна.

Я люблю осень с ее особыми, яркими тонами, с ее бодрящим воздухом.

Хорошо в саду в такую осень!..

Особенно было хорошо в гоголевском саду: с большой аллеи переходишь поперек сада длинной, узкой, извилистой дорожкой.

Эта дорожка неправильной линией разрезает сад: налево — пруд, а направо — дом.

На одной из полян сада, около дубков, красивый курганчик с густым сиреневым кустом, увенчивающим его вершину.

По поводу этого кургана ходила легенда.

Один из заезжих собирателей преданий разговорился с жившей у Быковых старой няней, Маланьей Дригой, которая еще хорошо помнила «паныча». Разговорился этот собиратель с няней и с ее слов, с добавлением своего, записал, что здесь, под этим самым курганом, Гоголь зарыл свои рукописи.

И пошла ходить легенда.

Говорил и я с няней.

— Так зарыл Гоголь бумаги в курган?

— Брат мой говорил, что когда паныча спросили, зачем это в саду горку делает, так он ответил: «Чтобы меня вспомнили».

— А видел брат твой или кто-нибудь, что паныч клал туда бумаги?

— Ни, только так говорили. А может, и нет. Тогда голод был, так паныч хлопцев собирал: они ему землю таскали на горку, а он им платил; и брат мой хлопцем был, тоже работал.

Такова была история этого кургана в саду. Вся легенда о бумагах была ложь. Гоголь, видимо, помогал в голодный год, давая эту помощь в виде оплачиваемого труда.

По ту сторону пруда находилось место старой усадьбы Гоголя, но она оказалась не в таком виде, какова была при жизни Гоголя: усадьба была перестроена вся заново, даже не были сохранены места старых построек, сад наполовину вырублен. От любимых Гоголем прямой аллеи и кленовой площадки сохранилось: от первой — только половина одной стороны, а от кленовой площадки — только два клена. На берегу пруда доживали гигантские пни столетних дубов, своей тенью покрывавшие в былые времена всю полянку, где когда-то Гоголь любил сидеть на берегу пруда.

Кроме сестры Гоголя, Ольги Васильевны, из современников его в Яновщине жили несколько человек, бывших в то время детьми, а из служивших Гоголю — только двое, супруги Юрченки: Петр — повар и Настасья — горничная Марьи Ивановны. Я видел их. Это были такие ветхие старики, каких я никогда нигде не видал. Они доживали свой век в маленькой хате. Я их застал, когда они, едва-едва двигаясь, выползали из хаты погреться на солнышке. Они при моем приезде остановились у порога, такие согнутые, скрюченные да сморщенные, будто в землю вросли. А волосы у обоих были целы, зато глаза плачут, еле смотрят, особенно у старика: это сказались десятки лет у плиты. Оба они мне напомнили старые деревенские хаты, вросшие в землю, с растрепанными, облезлыми соломенными крышами, со слезящимися, тусклыми окнами. И они такие же! У старухи еще глаза более живые, но зато лицо — совершенно печеное яблоко: кожи гладкой нет, одни сплошные морщины.

О Гоголе они мало помнили и ничего интересного не сказали.

Я припомнил им один факт из гоголевских времен, слышанный мною ранее. В Яновщине был священник отец Капустянский. В день св. Пантелеймона, или, как называют здесь этот день, «на Паликопу», работать не полагается, так как, по преданию, если хлеб убран в этот день, то его сожжет молнией.

И вот однажды в день св. Пантелеймона священник отец Капустянский увидел крестьян, которые везли возы хлеба. Он выскочил с восковой свечкой, зажег возы с хлебом, а

испуганные волю бросились в село и спалили хаты.

Своевременно это дело было в консистории, но не получило хода.

Вот и спрашиваю:

— Помните, старики, как поп на Паликопу спалил возы?

— Эге... Як же... Це пил Капуста... Це вин спалив, выскочил со свечой и спалил... На Паликопу було...

И, рассказывая подробности, оба они оживились, перебивали друг друга.

А потом смолкли, потускнели и замерли, потратив последние силы на рассказ о том, что было им близко и хорошо сохранилось в памяти.

* * *

Я объехал все места, где бывал Гоголь, и как мало осталось тех, кто его помнил. В Кибенцах, имении Трошинской, и в Миргороде — никого. В Шишаке современница Гоголя, г-жа Е. П. Петрова, указала только на один интересный факт. Мать Гоголя, Марья Ивановна, приехала в Миргород по делу в поветовый суд, после того уже, как появился рассказ об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. Миргородские чиновники были так злы на Гоголя, что Марье Ивановне не предложили сесть, и она простояла часа два, пока не получила нужную справку.

В Б. Сорочинцах жила М. Н. Кульбовская, хорошо помнящая Гоголя. О встречах с Гоголем Марья Никитична рассказывала с большой радостью. Видно, что эти воспоминания — лучшие в ее жизни. В первый приезд Гоголь был один, а во второй — совершенно изменился.

О первой встрече Марья Никитична говорила так (записано стенографически):

— Это было в 41 году. Марья Ивановна гостила у Трахимовских, а он и приехал, и пробыл больше недели. Дом, где я жила, был рядом с Трахимовским, и мы друг у друга постоянно гостили, и сразу, в первый день, познакомились с Гоголем. Любезный, приветливый, веселый! Как чудно говорил! Читал нам всем по вечерам... Не помню сейчас, что именно... Да никто не спрашивал, записать не догадались... Помню, вечером как-то сидим мы дома, а Гоголь пришел к нам, да и говорит: «Что тут засиделись, пойдем к Трахимовским!» И пошли, и танцевали вечером кадрили, и он танцевал, но только путал фигуры... Много смеялись... Тогда он мне в альбом институтский стихи написал, не помню какие: альбом в шестидесятом году сгорел во время пожара...

Самой разговорчивой и памятной современницей Гоголя явилась Марья Григорьевна Анисимо-Яновская, состоящая даже в дальнем родстве с Гоголями.

Я разыскал ее в Полтаве на Монастырской улице в доме Харитоненко. Она жила в маленькой, чистенькой квартирке, где я просидел у нее часа два. На мой вопрос о Гоголе Марья Григорьевна сказала:

— Помнить-то я его, конечно, помню. Только мы, дети, прежде на него внимания не обращали: молчаливый такой, угрюмый, ни с кем не говорит, поест и уйдет в свою комнату. Я часто бывала в Яновщине, а звука голоса Гоголя не слыхала. Помню, последний раз, мне было лет десять, видела я его в Яновщине. Он был бледный, волосы длинные, и глаз за обедом не поднял, поел немного и ушел. С тех пор я его больше и не видала. Уж после его смерти жила я долго в Яновщине; тогда Кулиш приезжал, бумаги разбирали... А ведь и не думал никто! После уже, читая его сочинения, мне многое стало ясно, с кого он писал. Впрочем, я не любила его читать: ничего для меня нового, написал то, что я сама знаю, что каждый день вижу, или уж выдумки вроде Вия. Ну, что это такое? Гоголь все это от старых баб взял: те все про ведьм да вовкулаков, бывало, нам страсти рассказывали. А какие ведьмы? Их нет. Помню, приезжал к нам дядя родной, брат отца... Отец мой был военный, заслуженный, потом разжалован из офицеров был, а там снова на войне отличился, и ему корнета дали. Тогда он вышел в отставку. Смелый был! А дядя еще смелее. За обедом раз мать жалуется отцу, что ведьма наших коров по ночам выдаивает, к утру никогда молока нет,

что прислуга даже видела ведьму у коров. А коровы стояли над балкой, в загоне. Ну, дядя и говорит отцу:

— Ходимо, застукаем ведьму!

И пошли. Спрятались под дерево около загона и ждут. Вдруг в самую полночь из балки лезет она, вся в белом, волосы распущены, то собакой ворчит, то свиньей хрюкает. Отец испугался, молитву творит, а дядя выскочил да ведьму за косу. Та на него собакой лаять...

А дядя кричит отцу:

— Сейчас ей уши и нос обрежу!

Да и вынул кинжал. Ведьма на колени. Посмотрели — соседка наша, казачка, целый год наше молоко ела!.. Вот они, ведьмы-то, какие!.. Вот и Вий тоже — бабьи рассказы. Не люблю я этих хвантазий у Гоголя.

Марья Григорьевна закурила папироску и еще раз повторила:

— Не люблю этих хвантазий! А вот чиновников да помещиков описывал хорошо. Я сама помню, как в Миргороде чиновники жили, получали два рубля в месяц и на службу из дома шли босиком по миргородской грязи; придут, обуются в сених — и в суд... Ось, як воно було! А важничали чиновники! Из последних сил тянулись, все богатство свое показывали. Жаль, что их Гоголь не всех знал, а то много бы еще написал. Был один у нас чиновник такой, сосед наш в Полтаве, три рубля в месяц получал, а вел себя богатеem: одежда — ни пылинки, сапоги — как зеркало, манишка — снеговая... Каждое утро, бывало, сядет у открытого окна с папироской, с газетой и ложечкой в стакане помешивает. Товарищи идут на службу и зовут его, а он отвечает: «Прочитаю газету, напьюсь чаю и приду». А какой чай? Квас-сырец за копейку кувшин купит, нальет в стакан да ложечкой и мешает... А газета старая — с чердака достал. И вот едва этот чиновник на богатой не женился. И женился бы, да колокольчик все дело сгубил.

Марья Григорьевна встала, прошла по комнате и продолжала:

— А тоже в Полтаве, в своем доме, жили два брата, помещики-миллионеры — дом их на базаре был, — а такие скупые, что по ночам поочередно открывали окна и с разных сторон по-собачьи лаiali. Один спит, другой лает... «Пусть, мол, знают, какая у нас псарня!» Их кто-то описал даже... А вот с колокольчиком писателям не попался... А було, було!

— Ну как же это было?

— А вот как! Начал этот самый франт-чиновник свататься к дочери богатого помещика и сам себя за богатого выдавать. Забыла я фамилию-то... А знала!.. Сквозь сон вспоминаю... А жили помещики за Ворсклой... Назначили они бал и его в качестве жениха пригласили. Ну, известно, он сапоги на палку, палку на плечо — и ходу! Грязь... Осень... Подходит к Ворскле — брод, а перебраться не знает как... Едут гости вброд в бричках. Попросить перевезти жениху — себя осрамить. Так он на корове верхом переправился и прямо в сад к ним. Вынул из кармана колокольчик — бежит и звенит, будто тройка едет. Добежал до подъезда, вошел в дом важно так... Спрашивают хозяева: «Где лошади?»

А он говорит!

— Обратно домой отправил, расковались.

Так бы и сошло, и женился бы, наверно, да одно беда, стали танцевать, а колокольчик-то из кармана на грех и вывалился. А тут хозяйский сын рассказал, как «дядя с колокольчиком по саду прыгал», а другие видели, как на корове через реку верхом ехал... Вышел скандал, драка, и жениха выгнали...

Ось як було!

И всю правду Гоголь писал, всю правду! Вот Коробочку взять... Сколько таких коробочек было! И теперь они есть... А ту Коробочку прямо, кажется, с моей тети, Пивинской, списал... А что мысль написать «Мертвые души» взята с моего дяди Пивинского, так это я наверно знаю, и знаю, как это произошло.

— Что же, Чичикова Гоголь писал с Пивинского?

— Нет. Чичикова с другого кого-то списал, а самую мысль «Мертвых душ» дал Пивинский. Это уж я достоверно знаю. Пивинские были мои дядя и тетя, у них я часто в

Федунках бывала: это 17 верст от Яновщины.

Об истории «Мертвых душ» Мария Григорьевна рассказала:

— У Пивинских было 200 десятин земли и душ 30 крестьян и детей пятеро. Богато жить нельзя, и существовали Пивинские винокурней. Тогда у многих помещиков были свои винокурни, акцизов никаких не было.

Вдруг, это еще до меня было, начали разъезжать чиновники и собирать сведения о всех, у кого есть винокурни. Пошел разговор о том, что, у кого нет пятидесяти душ крестьян, тот не имеет права курить вино. Задумались тогда мелкопоместные — хоть погибай без винокурни.

А Харламий Петрович Пивинский хлопнул себя по лбу да сказал:

— Эге! Не додумались!

И поехал он в Полтаву, да и внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых... А так как своих, да и с мертвыми, далеко до пятидесяти не хватало, то набрал он в бричку горилки, да и поехал по соседям и накупил у них за эту горилку мертвых душ, записал их себе и, сделавшись по бумагам владельцем пятидесяти душ, до самой смерти курил вино и дал этим тему Гоголю, который бывал в Федунках, да, кроме того, и вся миргородчина знала про мертвые души Пивинского.

Чудаки были эти Пивинские! И совершенно между собою противоположные люди: Пивинская Мария Ивановна — она родная сестра моей матери — важничала, выпяливалась, из последних кишок тянулась, а Харлам-пий простяк был! Ни на что внимания! Была у меня еще тетя, полковница Морская, муж у нее моряк был. Вот и приезжаем мы с тетей к Пивинским. Выходит сам в новой чумарке, как сейчас вижу: один рукав синий, другой — пестрый, одна пола синяя, другая — красная, а спина — диванной материи с турецкими огурцами.

Мы так и остолбенели.

И говорит ему Морская:

— Как тебе, Харламий Петрович, не стыдно таким чучелом одеваться?

А он стоит, пузатый такой, смеется, говорит: — Эге? Бачите? Добре... И ей-богу ж, гарно!

— Да стыдно...

— Абы новенько да чистенько... Гарный архалук! — И пошел к обедне.

А то раз за обедом собрались гости. Мария Ивановна подала безе. А Харламий попробовал да как закричит на нее:

— Що се таке! Да якие чорты-батьки, чого повиду-мывали! И нема лучше, как пшеняна каша, да еще молоком прилита... А що се таке: ни во роте, ни в животе!..

И вот выдумка этого самого чудака послужила темой для бессмертного произведения.

Биографы Гоголя доказывают, что Пушкин дал ему тему для «Мертвых душ».

Нисколько не отрицая этой версии, я смею полагать, что, может быть, Гоголь в беседе с Пушкиным рассказал ему под свежим впечатлением происшествие с Пивинским и Пушкин ему посоветовал воспользоваться этим материалом. Решить, откуда тема, предоставляю более сведущим людям, а мое дело было собрать о Гоголе то, что, не будь я на Украине, могло бы исчезнуть, и я рад, что помог установить более точно дату его рождения.

Шипка

В 1902 году исполнилось 25 лет со дня русско-турецкой войны 1877 года. Вместе со многими участниками этой войны я поехал на шипкинские торжества.

Мы прибыли на пароходе «Петербург» из Севастополя в болгарский порт Варну, откуда все участники шип-кинских торжеств должны были двинуться в глубь страны, на Шипку.

Из Варны на Шипку можно было попасть с юга Балкан и с севера.

Путь с севера был интереснее. Он давал более наглядное впечатление того, что

происходило на Шипке 25 лет назад.

И я выбрал путь с севера.

Пароход «Петербург» прибыл в Варну и стоял на рейде, совершенно открытый ветру, который в этот сентябрьский день, к вечеру, перешел в шторм.

Все, кто должен был ехать на Шипку с севера, на катерах и вельботах переехали на берег. Переправа была не из легких! Разгулявшееся море бросало лодочки, то скрывая их за волной, то вынося кверху. Через мол, который виднелся издали с нашего парохода, хлестала волна, сажени на две прыгая выше мола.

Большого труда стоило перевезти багаж с парохода на берег: стоять шлюпкам под бортом было невозможно, и матросы помучились изрядно. К вечеру, к семи часам, багаж все-таки перевезли; на последней шлюпке переехал и я, решив вопреки и наперекор всему сделать переход через Балканы по пути наших войск.

Море волновалось. Вещи почти невозможно было пускать по блоку на шлюпку. Весь «Петербург» собрался на борту и смотрел погрузку. Жестоко досталось шлюпке № 1 с «География Победоносца». Взмывавшееся добела море то опускало ее в бездну, то поднимало волной почти наравне с высокой палубой «Петербурга», а матросам нужно было ловить этот момент, чтобы схватить висевший громадный сундук или ящик и положить в шлюпку... Удивительные матросы! Спускают сверху сундук, только что приноровились его взять, как стоящий на корме рулевой, матрос Солнцев, душа всей шлюпки, улыбаясь, крикнет:

— Двенадцатый, погоди!..

На момент ловля сундука прекращается. Крючья упираются в борт парохода, чтобы предупредить удар, концы натягиваются, и необъятный двенадцатый вал, обливая нас всех в шлюпке пеной, поднимает ее почти до самой палубы. В это время матросы схватывают сундук — и, когда шлюпку бросает в бездну, сундук уже лежит на месте, и новый вал взбрасывает шлюпку за новым тюком кверху.

Во время одного большого броска мне канатом сшибло шапку, а одного матроса чуть не выбросило в море из шлюпки.

Нагрузка шлюпки, благодаря неловкости подающих сверху, продолжалась около полутора часов. Около полутора часов матросы шлюпки держались на стороне ветра, у работающего винта, у кормового трапа парохода.

От этих матросов требовали подвига, и они его сделали, продержавшись полтора часа при таких ужасных условиях.

Если я об этом говорю, так потому, что, праздная четверть века со времени войны, ничего не пришлось сказать о матросах, которые также отличались в турецкую кампанию, также совершали чудеса. Лично испытывая, как единственный пассажир в шлюпке, всю ловкость и смелость молодцов-матросов, я понимаю, что эти люди представляли из себя в военное время!..

Эти люди могут сделать все!

Рулевой Солнцев и его команда — потомки героев прошлой войны, и они сделают то же, что сделали их знаменитые предки.

А таких, как Солнцев и его матросы, сколько угодно! Весь флот наш таков.

Шлюпку, наконец, отпустили, и помчалась она к берегу по бушующему морю, мочившему багаж своими разбивающимися в брызги гребнями волн, а пароход «Петербург» двинулся к бухте из открытого рейда.

Невольно подумалось: «Что бы это сделать раньше за полчаса!»

Гребцы работают своими длинными веслами, ловя момент, когда можно поймать воду.

С парохода отдается приказание нашим матросам:

— Надеть дождевые!

Но невозможно оставить весла на момент! И обливает нас море соленой волной!

— Есть! — кричит Солнцев, взглянув на офицера с «Петербурга», неистово машущего на своем мостике двумя флагами.

— Что это?.. — спрашиваю я Солнцева.

— А еще подзывают к судну!

Как бы то ни было, но я попал на берег, в Варну, когда было темно. Схватив свои вещи, я бросился к поезду и положил багаж в коридоре.

Это было вовремя: через несколько минут поезд трогался. Прибывший на торжества генералитет занял свои места. Поезд состоял из 15 вагонов. Все новенькие, изящные, блестят.

Кругом толпы народа. Оглушительное «ура» провожало нас. Вокруг шпалерами в первой линии стояла учащаяся молодежь, то линия мальчиков, то линия девочек.

В поезде я ехал «зайцем», стоя в коридоре.

Было темно. Меня никто не опросил: русские меня принимали за болгарина, а болгары за русского, который имеет право ехать в поезде.

До полуночи по линии дороги горели костры, на станциях — толпы народа со свечками в руках, нескончаемое «ура».

Где останавливались на станциях — пели «Шуми, Марица!»

В вагоне-ресторане происходил ужин.

Как бы то ни было, но я, «заяц» экстренного поезда, ел, как волк, проголодавшись в море.

Нашлись знакомые.

Нашлось и купе — я чувствовал себя счастливым, когда положил под голову мягкую подушку и почувствовал себя пассажиром: ведь не будут же ночью паспорта спрашивать!

Проснулся в Ореховце, где поезд стоял довольно долго, и уже почетным гостем я приехал в Тырново.

Железная дорога, подходя к Тырнову, идет чудным ущельем, напоминающим дорогу из Ессентуков в Кисловодск. А дальше ряд глубоких тоннелей, где поезд погружается в глубокую тьму — в вагонах полное отсутствие света, так как в Болгарии в это время еще не освещали вагоны при входе в тоннель. Наконец, поезд вырывается из последнего тоннеля, мчится между скал по мосту над пропастью и останавливается у вокзала. Пересаживаемся в экипажи и поднимаемся в город. От вокзала до города, в городе — всюду шпалерами народ, ученики и ученицы, нескончаемое «ура», полный энтузиазм, радость непритворная при виде русских — освободителей Болгарии.

Через некоторое время я в Тырнове, где поразила в нижней части города древняя церковь. Удивительное здание! Где-то внизу, под скалами, вся в зелени садов, помещается церковка, существующая несколько сот лет, как-то осевшая в землю.

Внутренность — темная: стены все в древних фресках; высокие колонны, тяжелые своды — все в древне-византийском стиле.

В окнах — грубые железные решетки, напоминающие грозное и нетерпимое турецкое владычество.

Но уцелела церковка от турецкого фанатизма. Только на одно плакался мне старый болгарин, тырновский абориген, — плакался на то, что пропала драгоценнейшая священная библиотека, хранившаяся сотни веков под алтарем и пополнявшаяся постоянно. Библиотеку эту в половине прошлого столетия какой-то владыка из Константинополя разыскал, приказал вынести до последнего листа всю и всю ее сжег.

Оригинально снизу Тырново, амфитеатром прилепленное к высокой горе. Именно — прилепленное!

Оно напоминает пчелиный улей в разрезе: дом над домом! Все это близко сплочено, связано меж собой. Улицы узкие — едва разъехаться: до того слеplено.

Из Шейнова в экипажах по ущелью реки Янтры поехали в Габрово. Моим спутником в экипаже оказался художник А. П. Сафонов, тоже участник турецкой кампании, восторгается каждую минуту.

— Вот, посмотрите, посмотрите!.. — говорил он. — Ведь это чудо... Чего наши пейзажисты не едут сюда! Ведь с ума сойти можно!

На пути опять шпалеры народа, «ура», нас забрасывают цветами. Все дома узких, кривых улиц залиты зеленью и цветами: саженные олеандры в полном цвету.

И в Дренове, как по всей дороге, триумфальные арки из зелени и цветов, с симпатичными надписями: «Добре дошли наши освободители», «Братская любовь» и пр.

После отдыха в несколько минут поехали дальше и в пятом часу прибыли в Габрово.

Та же встреча, только еще больший энтузиазм, невероятный подъем духа, искренняя сердечность.

Утром мы выехали в экипажах на Шипку...

Опять чудные картины!

Отъехали верст пять до Червеного Брега, где последовала остановка. Дальше так круто, что лошади не берут. Идет перегрузка багажа в фуры; коляски, в которых ехали гости, не привыкшие к горной езде верхом, перепрягаются: вместо лошадей появляются буйволы!

Тихо — но возможно!..

Кавалерийские лошади к услугам желающих. Это — частью местная недурная горная порода, напоминающая наших кабардинок, частью — венгерские лошади с присутствием чистой крови.

Я взял первую попавшуюся лошадь из строя... Лошадь оказалась подходящей — она сослужила свою службу. Первым делом я приказал снять мундштук, несмотря на уверения, что без мундштука на ней ехать нельзя. Это оказалось неправдой, и она без мундштука шла великолепно, хотя приходилось немного работать и держать ей голову при крутых спусках, куда она рвалась, и — большое несчастье — спотыкалась нередко, что достаточно неприятно, особенно на узких карнизах каменных гор: с одной стороны скала, с другой — бездна!

С момента, когда мы пересели верхом, подъем становился все круче и круче...

Через какие-нибудь полчаса те вершины, которые казались нам из Габрова неприступными, были уже глубоко под нами,

Дорога шла зигзагами кверху...

Поднимаемся все выше и все выше... Уж облачко кое-где под нами...

Здесь что ни шаг — воспоминания прошлой войны...

Проехали местность около горного ключа, хорошо памятного защитникам Шипки, из-за которого дрались русские и турки, одновременно ходя за водой.

Выше, на дороге — памятник с надписью: «Братская могила». «В память павшим героям при защите Шипкинского перевала с 9-го августа по 28-е декабря 1877 года. 36-го Орловского полка капитан Клиентов, прапорщики Доценко и Дмитриев, шт. — кап. Гришанов и нижних чинов 482. 9-й артиллерийской бригады полковник Бенецкий, шт. — кап. Гречишников, поручик Зенькович, нижних чинов 35. Брянского полка майор Молоствов, капитан Брянцев, прапорщики: Гюне, Герасимов, Скородинский, нижних чинов 375». Все это написано на четырех сторонах памятника.

Много виделось по пути таких братских могил! 12 000 выбыло из строя в шипкинских боях, не считая погибших в пропастях и замерзших!..

Я уехал вперед всех. При подъеме к Стальной батарее меня остановила толпа стариков-болгар, георгиевских кавалеров, и один из них спросил меня: едет ли генерал Столетов? Все весьма обрадовались, когда я дал утвердительный ответ.

Это старые дружинники — герои, вышедшие из Шипки встречать своего любимого командира.

А вот и Стальная батарея с ее двумя памятниками. Выше — самый высокий пункт горы св. Николая — Промежуточная батарея, и Орлиное гнездо над нами.

Это груда скал, каким-то чудом держащаяся на заоблачной вершине, — скал, торчащих кверху, висящих над безднами.

Это высшая позиция русских войск...

Мы остановились на этом пункте дороги. Красивая группа образовалась на вершине: группа военных всадников, покрытых пылью, остановилась над стремниной, на самом

обрыве, — группа боевых генералов и полковников с белыми крестиками, заработанными здесь, а впереди всех могучая, стройная фигура молодого генерала. Последний, сдерживая коня на краю стремнины, указывает бывшие позиции и дает объяснения.

Это был генерал Романов, который знал все позиции. Каждый из героев войны знал только то место, где он был. Генералу Романову судьбина судила иначе. Он был тогда саперный подпоручик и укреплял всю Шипку. Всюду, днем и ночью, он посещал позиции и знал все. Два раза был ранен, оба раза оставаясь после ран на позициях и продолжая свое дело. Он рассказал присутствующим историю каждого боя, демонстрируя свой рассказ на этой раскинувшейся перед нами и под нами рельефной карте горной природы...

Это был высший пункт дороги, и отсюда мы ринулись вниз по страшно крутому пути, карнизами идущему над бездной. Путь трудный, все время приходится держать коня на коротком поводке... Спускались очень быстро...

А вот под нами и знаменитая Долина роз, долина реки Тунджи. На необъятное пространство раскинулась она. Под нами заблестели главы шипкинского храма.

Там, вверху, грозные скалы Орлиного гнезда, нависшие над дорогой, обрывисто сбегаящей с упитанной кровью горы св. Николая на Долину роз. Внизу эта дорога заканчивается каменной площадкой, на которой и сооружен храм-памятник, воздвигнутый на костях героев, павших за свободу соплеменников.

Яркое, блестящее, с золотыми главами здание храма оживляет серые скалы — кладбище героев, переносит мысли очевидца к грозному времени войны, к томительным годам рабства и турецких зверств над соплеменниками, и солнечный луч, играющий в золотых главах, успокаивает сердце, говорит о счастливом будущем страны.

Нависшие над церковью-памятником стремнины были усыпаны тысячами народа, не нашего места внизу, на площадке.

Горы жили!

Жила дорога, ведущая с высоты св. Николая... Она металась, двигалась... Это была узкая извилистая черная полоса, движущаяся, как громадная змея, переливающая искорками... Двигалась она потому, что была переполнена войсками, которые поднимались на заоблачные позиции для маневров, и сверкали искрами на ярком солнце их штыки, кровавые и грозные четверть века тому назад, блестящие и мирные теперь.

И под торжественный благовест двигались темные массы войск к Орлиному гнезду.

Множеством черных точек по козьим тропинкам спускались вниз балканские горцы, собранные на великое торжество.

Колокольный звон переливался в ущельях Балкан, как бы говорил теперь:

«На Шипке все спокойно!»

* * *

В 4 часа утра пришлось встать, чтобы успеть подняться на гору св. Николая. Лагерь к этому часу уже зашевелился. Ночью спустился туман, земля была сыра, сапоги, стоявшие на земле в палатке, настолько отсырели, что с трудом их можно было надеть. Около 5 часов утра головы Балкан были в белых мохнатых шапках, а бока гор местами казались обложенными ватой. Облака были густы, ждать хорошего дня было трудно.

У палаток нашего Шейновского лагеря уже стояли оседланные кони, и я ранее других поскакал на Шипку, до которой от Шейнова версты три.

Долина роз, через которую шел наш путь, была одета легким туманом, ущелья гор заволокло облаками. Одна освященная вчера церковь-памятник горела яркими главами у подножия Балкан.

Какая прелесть, какой необъятный простор эта Долина роз, ограниченная с севера Большими, а с юга Малыми Балканами. Гладкая, ровная. Вся местность заставляет думать, что это было когда-то дно моря. Вдоль долины, ближе к северу, совершенно правильной линией тянется ряд громадных курганов, напоминающих наши южнорусские скифские

могилы, только эти несравненно больше. Говорят, что они существовали еще до римского владычества, но здесь никогда и никто еще не раскапывал их. Самый большой курган, вправо от нашей дороги, знаменит тем, что на нем выкинул белое знамя и сдался Скобелеву Вессель-паша 28 декабря 1877 года.

Прежде, во время войны, эти курганы были связаны траншеями, но теперь траншеи давно распаханы, и там, где лилась кровь, мирно растет хлеб.

Налево от дороги вчера был громадный лагерь, а теперь он снят — войска ушли в горы. Они изображают южный отряд, турецкий. Северный отряд еще вчера ушел в горы, в то время, когда происходило освящение храма. Стройные колонны, блестя на солнце штыками, ползли вверх, на Балканы. За ними с великими трудами везли артиллерию, чтобы занять позиции вокруг горы св. Николая, изображая русские войска.

Я остановил лошадь и решил сделать подъем пешком, по тем горным тропинкам, по которым тогда пробирались турки, охотники Сулеймана. Кстати, нашлось несколько человек горцев болгар, которые знали каждую козью тропу, а один из них — старик дружинник, который все время войны провел на Шипке.

Мы поднимались сначала по дороге, снизу доносился неясный шум переполненной народом деревни Шипки, но ее не было видно за облаками. Где-то в стороне раздался крик. Это один из офицеров сорвался с лошадью под кручу, но, как потом оказалось, отделался только ушибом.

Несколько раз мы бросали дорогу, сворачивали в сторону и выгадывали пространство, перегоня конных, много ранее нас уехавших из Шипки. Это выгадывание пространства было утомительно. Зато я постиг те невероятные трудности, которые испытывали турки, осаждавшие Шипку, и пришел к тому убеждению, что они совершали невозможное! Каменные скалы, усыпанные острыми обломками кремня, давали себя знать. Особенно в одном месте, уже в виду Орлиного гнезда, висевшего над нами своими серыми скалами, приходилось трудно.

Возьмите ломоть черного хлеба, поставьте его в глубокое блюдо так, чтоб узкая корка его равнялась с краями блюда, и вы можете представить тот переход, по которому провел меня мой старый горец.

Громадная пропасть была перегорожена каменным узким гребнем поперек, и вот по этому гребню, на котором местами едва можно уставить ногу, пришлось пройти, чтоб выгадать пространство.

Но благодаря этому мы, выйдя на дорогу, перегнали перховых. Я догнал ехавшего на горном коне донца, войскового старшину В. В. Мержанова, и он, видя мою усталость, сказал мне:

— Отдохните по-драгомировски, как нас в горах Михаил Иванович отдыхать учил!

И, наклонившись, сунул мне в правую руку ремень от стремени. Я взялся за ремень и, опираясь на него, пошел за конем совершенно легко. Вся усталость прошла, только платье промокло в облаках и чувствовался серьезный озноб, тем более, что ветер усиливался к вершине. Но появлялась надежда, что ветер прогонит облака, настолько густые, что в нескольких шагах не узнать человека.

Так и случилось.

Когда мы поднялись на высшую точку дороги, на то место, где была Стальная батарея, ветер достиг силы урагана, и облака обрывками мчались к северу. Горизонт начал открываться.

На высоте на месте Стальной батареи стоял памятник на братской могиле. Немного ниже мы также миновали братскую могилу, каменный крест которой солдатик-пионер обвязывал при нас для сегодняшнего дня черным крепом. Много таких братских могил и памятников было по всему Шипкинскому проходу.

А главный — на Стальной батарее. Это громадный каменный обелиск, на нем рельефом орел и надпись: «7-го июля 1877 года. Занятие Шипкинского перевала под начальством генерал-адъютанта Гурко. 28-го декабря 1877 года пленение турецкой армии.

Генерал-адъютант Святополк-Мирский, генерал-лейтенант Скобелев, под главным начальством генерал-лейтенанта Радецкого».

Я поднялся на высокую точку, на каменное Орлиное гнездо. Здесь ни куска земли, ни признака растительности. На высшей его точке крест. Отсюда вид был поразительный. Балканский хребет с сотнями отдельных вершин лежал подо мной, и смотришь на эти горы сверху, как на рельефную карту.

Только наравне кажется один Бедек, лесистая вершина которого была занята грозной для Шипки турецкой батареей, прозванной тогда нашими героями Девятиглазой. Ниже, на том же хребте, другая батарея — Воронье гнездо. И теперь на той и другой копошились люди, устанавливая орудия...

Через час должен был начаться бой — повторение боя 11 августа 1877 года.

Блестит стальной щетиной подъемный карниз Орлиного гнезда, и далее, по гребню скал, на самой Стальной батарее сплошной линией лежат стрелки, повиснув над бездной. Так было и 11 августа 25 лет назад. Их дула обращены на грозный хребет Бедек, покрытый лесом. На высшей точке Бедека — грозная Девятиглазка и ниже немного — не менее грозное Воронье гнездо.

Вот с Бедека грянул выстрел... Другой... Белые клубы порохового дыма на минуту забелили черневшийся лес... Это заговорили орудия Девятиглазки. Откликнулась им наша Стальная батарея. На противоположной стороне Центральная загремела по неприятелю. Зарокотали ружейные залпы у ключа, внизу, в пропасти, зашумела и Волынская горка, с которой отступать русским войскам. В защиту им грянули горные орудия Промежуточной батареи, находящейся на уровне Орлиного гнезда, недалеко от него.

Орудия стояли под крестом братской могилы, на высшем пункте батареи. На памятнике надпись: «Братская могила. 14-й артиллерийской бригады князь Мещерский, 14-й пехотной дивизии поручик Годилю-Годлевский, подпоручик Сапожков и нижних чинов 314». Недалеке я нашел между камнями две человеческие кости, почерневшие и пожелтевшие от времени, и положил их под крест... И в других местах грозной позиции попадались кости... Вот пожелтевший череп с пробитой пулей лобной и затылочной костью... Много костей...

Промежуточная батарея — удобнейший пункт для наблюдения: все позиции открыты с нее.

Бой кипит... На всех горах клубы орудийного дыма и узкие пояски ружейных залпов или учащенного огня стрелковой цепи... Особенное внимание обращается на Волынскую горку... К выбитым войскам уже спешат подкрепления, строятся в колонны к атаке, начинают наступать на Волынскую горку. Им помогают орудия Промежуточной батареи.

Все кругом в огне и дыме выстрелов. То здесь, то там, глубоко под нами, на краях стремнин, на лесных скалах, на желтых брустверах блещут штыки, лезут люди, гремят орудия. Вот уже пробуют штурмовать Стальную батарею.

Черные точки лезут на кручу, белые стреляют в них сверху. Черные солдаты изображают турок, белые — русских и болгар.

Черные уже спустились. Они добрались на расстояние 200 шагов до северной цепи. Левее от меня турки лезут на Центральную батарею... Забрались уже на северный склон св. Николая, но там натываются на болгарскую дружину Л. Д. Вяземского и летят назад...

Левее — Волынская горка вся в дыму... Наступление идет по всем позициям...

А все эти позиции, раскинутые подо мною, — грандиозная могила 12 000 убитых... Не считая замерзших зимой и без вести пропавших в бездонных пропастях...

Неприятель лезет на Круглую батарею Бенецкого, но Брянский полк и картечь отбрасывают его вниз... Лезет неприятель на Зеленую гору Липинского — плохи Липинского дела, народ перебит, но позиция еще держится... Он просит о поддержке, но дать нечего... Генерал Н. Г. Столетов посылает часть своей удалой дружины, ослабляя себя...

Так и воскресало передо мной в эти минуты все прошлое... Вокруг меня участники былой кровавой бойни, они рассказывают о прошлом.

От серьезного до мелочей.

— Вот здесь, — указывает один генерал по направлению к Круглой батарее, — денщик командира охотился за зайцами и угощал нас кулешом... Там перестрелки, турки — а он свое: бьет и бьет зайцев...

— А вот там Бенецкого убили... Только высунулся из-за бруствера — и пуля попала ему в рот...

А турки лезут и лезут по всем линиям... Положение русских становится отчаянным. Потеря Волынской горки ужасна...

Но вот вдали, по габровской дороге, на казачьих лошадях прибывает 16-й стрелковый батальон, спешивается и строится... Вот еще надвигаются снизу резервы 4-й бригады.

Фланг и тыл обеспечены, дух поднят... теперь с севера турки не страшны.

Рисуется полная картина шипкинского боя...

Вдруг все затихло... Грозное затишье! Только с Бедека громыкает батарея. Но затихла и та...

Страшно становится: чувствуется конец!

Неприятель молча двигается на позиции.

Ожидание томительное...

Только стрелки с гребня Промежуточной батареи сделали три залпа по показавшемуся внизу турецкому батальону и рассыпали его... Вот грянула Стальная батарея... Где-то внизу загремело «ура»... Около шоссе, близ Волынской горки, строятся колонны, рассыпается цепь... С Волынской горки гремят выстрелы... Белые полосы цепи перебегают открытое место, за ними стройно, широким шагом, движутся колонны — и опушка Волынской горки пестреет белыми живыми картинами: русские готовятся к атаке... Правее турки устремились на дружинников, но все их атаки отбиты. Эти войска спустились с Бедека и полезли на наши батареи.

Атака по всей линии... «Ура», и выстрелы слились... На всех позициях стремительно атакуют русских, на Волынской горке русские атакуют турок и, наконец, занимают горку.

Турки отбиты. Горка занята. Бой кончился победой русских.

Картина шипкинского боя как живая! Горнисты дудят отбой. Бой окончен. Войска сползаются со всех сторон к Стальной батарее, к Зеленому шатру.

Шипкинские орлы спускаются с неприступных заоблачных вершин.

Проходит час. Войска выстраиваются по скалам св. Николая вокруг памятника. К памятнику возложены венки — от каждой части участвовавших на Шипке войск, а чешская депутация из Праги принесла свой венок от чешского народа.

Туман прошел. Только горы синеют от дыма выстрелов, да сквозь дым этот там внизу, под нами, виднеются Долина роз и Малые Балканы за ней, окутанные синей дымкой.

Время от времени налетают порывы урагана.

Вот началась и панихида.

Десятки тысяч народа и войск опустили на колени... Старики плачут... Кругом выстрелы салютов — залпы батарей и грохот ружей...

А над нами солнце, яркое южное солнце, так же беспристрастно светит над нами, переживающими торжественную минуту, как 25 лет тому назад оно освещало трупы героев на этих заоблачных высотах.

На завтра назначался шейновский бой.

Шейновский бой 28 декабря 1877 года был повторен 17 сентября 1902 года.

И с полной иллюзией.

Около девяти часов утра вправо от Шейнова, если смотреть на Шипку, уже дымились ружейные залпы. Это отряд Святополк-Мирского отстаивал свои позиции, взятые накануне.

За ночь молодцы-саперы укрепились — все шло для укреплений: и мерзлая земля и неприятельские трупы.

Стрелки уже заняли виноградники и розовые плантации деревни Шипки, и выбить их оттуда было не так-то легко.

Бой справа все разгорался сильнее и сильнее. Русские уже заняли курган Острицу. Гремели орудия.

Слева, у Иметли, строились боевые колонны Скобелева, как и тогда, 28 декабря 1877 года, строились около того самого кургана, на котором стоял Скобелев, руководя боем.

На этом самом кургане, осыпaeмый гранатами, Скобелев отдал приказание:

— Если меня убьют — слушаться графа Келлера, он знает все!

Граф Келлер заступил в этот день место начальника штаба полковника А. Н. Куропаткина, раненного накануне на Иметлийском перевале.

Здесь Скобелев решил окружить Шейново кавалерией, взять его и отрезать отступление туркам.

Так и сделал.

Пока выброшенная под выстрелы горная артиллерия билась с шейновскими батареями, войска были выстроены в боевые линии, знамена развернуты, кавалерия Дохтурова брошена в обход Шейнова.

И сейчас, через 25 лет, я поражаюсь той же картиной, став на опушке шейновского леса.

Направо все поле у гор в дыму: турки сбивают Мирского с его позиций, переходят в наступление, но их снова отбрасывают, и снова они успешно атакуют курган Шишмицу.

Вот русские бросаются на курган. Вессель-паша принимает атаку и начинает отступать к самому большому кургану, где сосредоточивает войска. Дым, гул выстрелов.

Смотрю на гору св. Николая. Сегодня она безоблачна. Каменные громады Орлиного гнезда блестят на солнце.

Сегодня там никого нет.

А 25 лет назад, в этот самый час 28 декабря, там было страшное, кровавое дело.

С утра день был туманный. Облака скрыли горы. Радецкому все время не было видно, что творится внизу. А внизу творилось неладное: дела Мирского были плохи.

Радецкому оставалось одно: не допустить турецкие полки спуститься вниз, на помощь Вессель-паше — тогда дело русских окончательно бы погибло.

И старый боевой генерал не допустил этого. Он бросил в лоб туркам сверху свои войска и задержал турок.

Дорого это стоило орлам Орлиного гнезда.

Об этом мне рассказал полковник М. А. Надеин, тот самый Надеин, который, командуя охотниками и стрелками, десять раз бросался с верхней позиции на турок, в атаку.

— Был полдень. Мы тихо спускались по опасной круче в тумане, — говорил мне Надеин, — и бросились на турецкие окопы через глубокий ров. Гранаты из орудий с Девятиглазки и Вороньего гнезда разрывались среди нас. Мы шли по трупам. Турки били на выбор. Сзади надвигались новые колонны. Люди падали. Несколько раз мне приходилось бросаться в атаку. Почти никого не оставалось кругом... Трусами завалили ров, дорогу. А мы все наступали, все дрались. Занимали один окоп за другим, устилая трупами, уливая кровью. Но это было необходимо.

Да, эта жертва тысячи храбрецов была необходима.

Выбыло из строя в полчаса 1700 человек!

Самое ужасное было отступление из взятых завалов вверх, опять под Орлиное гнездо.

Не успели успокоиться, как на Николае опять услышали «ура». Испугались: думали, контратака.

Но на этот раз их ждала радостная весть: бежит мимо них казачий урядник и кричит, что Вессель-паша и все турки сдались. Это был урядник Абадзиев.

Теперь наверху никого не было. Там только предполагаемый бой: все равно, тогда были облака, и ничего бы снизу видно не было. Зато внизу, в долине, сражение кипело на громадном пространстве.

Слева скобелевцы двигаются под горячим огнем орудий и громами залпов на окопы Шейнова.

Турки начали отступать.

Вот мимо меня промчалась турецкая кавалерия.

Черной массой промчалась она мимо кургана Весселя-паши, мимо Шейнова, которое с другой стороны окружала кавалерия русская.

Но башибузуки в числе трех тысяч успели ранее русской кавалерии и, прорвавшись, умчались к Казанлыку.

Это единственное войско, спасшееся тогда от плена бегством.

Казакам это не удалось. Когда штурмовали Шейнов с севера, генерал Дохтуров с I Донским казачьим полком обскакал Шейново наперерез бегущим к Казанлыку турецким войскам и ударил в шашки.

Донцы I полка, в стремительной атаке изрубив несколько сот турок, взяли два знамени и шесть тысяч солдат в плен. И сейчас за Шейновом повторена была эта атака...

А скобелевцы налегают на окопы. Сзади меня в Шей-нове загремели залпы — это выбивают турок из улиц и садов.

Вся долина в дыму, грохот непрерывный.

В самые серьезные минуты бывают курьезы: перед отступавшими турками выскочил заяц и помчался по полю. Это произвело временное оживление, кто-то даже бросился за ним бежать... Хохот... Веселье...

А черные турки все стягиваются к Вессель-паше.

Скобелевцы, взяв окопы с боя, много потеряв убитыми, идут с развернутыми знаменами под музыку, как на параде, по вспаханному полю... 25 лет назад они так же шли по снегу.

А Мирский с его измученными войсками в положении тяжелом, потеряно 2500 человек. Вессель-паша держится крепко, и слухи о подходе Сулеймана стоят упорно.

У Радецкого наверху слышны залпы: там тоже кипит дело.

А у Скобелева сквозь гром выстрелов слышна музыка, перерываемая время от времени «ура» атакующих.

В этом деле многие винили Скобелева за то, что будто бы он не поддержал вовремя Мирского и хотел приписать победу одному себе, что вел в атаку войска под музыку, как на параде.

Многие мне в глаза говорили это и теперь. А другие говорили, что если бы командиры отрядов поменялись, то победа была бы еще легче: Скобелев сумел бы справиться!

Как бы то ни было, что бы там ни говорили, а я скажу только одно: когда турки узнали наступающего Скобелева, они закричали:

— Ак³³ паша! Шайтан³⁴ паша! — и бросились бежать.

А Скобелев скакал уже через Шейново и, отдав приказание графу Келлеру, чтобы в деревне прекратили кровопролитие, остановился на опушке, у красного полумесяца.

В это время на самом большом кургане Вессель-паша выкинул белый флаг.

И теперь турки отступали к кургану, а белые русские и болгарские войска окружали их стальным кольцом.

Еще выстрелы гремели, как слышались звуки отбоя.

Последний акт великолепных маневров был кончен.

Начальники скакали по направлению к Вессель-кургану.

Я ехал с есаулом Абадзиевым, горевшим на солнце своей конвойской черкеской, увешанной десятками орденов, среди которых скромно виднелись и три георгиевских креста, и блестело золотое оружие «за храбрость».

И много интересного рассказывал мне хабрец есаул, бывший во время всей прошлой

³³ Ак — белый

³⁴ Шайтан — черт

кампании урядником-ординарцем Скобелева. Последний умел выбирать людей!

Когда белый флаг был выкинут, Скобелев со штабом и все командиры окружили Вессель-пашу. Он сдался.

А наверху, у Радецкого, еще слышались выстрелы.

Повторяю рассказ Абадзиева.

— Надо уведомить Радецкого! — сказал Скобелев и крикнул: — Абадзиев!

Я подъехал.

— Марш на Орлиное гнездо, передай Радецкому, что Вессель-паша сдался, и скажи там турецкому коменданту, чтобы он тоже сложил оружие, и передай ему, что если я через два с половиною часа не получу от него ответа, так все они у Магомета в раю будут.

Я повернулся и поскакал исполнять приказание.

Передо мной высились от самой подошвы покрытые снегом Балканы, голова св. Николая была закутана облаком. Не успел еще я доехать до Шипки, как за мной скачет адъютант и передает мне записку от Весселя-паши с приказанием сдаться для паши, коменданта шипкинских высот. Я спрятал записку и поскакал через Шипку, по дороге вверх.

Вскоре так стало круто, что я слез с коня и повел его в поводу. Я горец, но скажу, что идти было не легко... На половине горы меня остановили два черкеса, один взял коня, другой схватил меня. Я потребовал, чтобы меня вели к паше. Мы стали подниматься вверх, миновали цепь, шли мимо войск, которые мало обращали внимания на меня, одетого в бурку и папаху. Наконец черкесы привели меня к землянке. Один вошел в нее, потом вышел и толкнул меня в дверь. Посередине стоял громадного роста паша. В углу сидел человек, оказавшийся потом переводчиком. Я дословно передал слова Скобелева и записку.

Этот громадный человек, прочтя записку, опустил на скамью, положил перед собой эту записку и, опершись на локти, горько заплакал...

Потом он встал, оправился и, пригласив меня следовать за собой, пошел из палатки. Не помню, как это вышло, но я схватил его рукой за шашку. Паша остановился, отстегнул шашку от пояса — я хорошо помню только одно, что он был подпоясан, — и отдал мне шашку, которую я взял в правую руку. Мы вышли. Паша подошел к брустверу, мы вошли в него. Под бруствером сидели и лежали солдаты и офицеры. Он им начал говорить, что приказано сдаться. Внизу, под нами, начался страшный гул голосов. Из-за бруствера высунулся до половины тела офицер с горящими глазами, страшным выражением и начал что-то дерзко возражать паше. Снизу ему вторили и гудели.

Жутко стало!

Паша сверкнул глазами, его за минуту грустное лицо блеснуло гневом, он быстро обернулся ко мне, и не успел я ничего сообразить, как он выхватил эту мою шашку из ножен, взмахнул ею, и дерзивший офицер покатился за бруствер с разрубленным черепом.

Сразу все смолкло.

Паша далеко отбросил мою шашку на снег, где она проложила кровавую полосу, и энергично отдал приказание.

Все успокоилось. Войска молча стали складывать оружие. Не знаю, как это вышло, но я взял в ножны мою шашку, снова подошел к паше и снова передал приказание Скобелева, прибавив, что я еще должен сообщить о сдаче Радецкому.

Паша молча показал мне рукой на верх горы, и я отправился пешком по дороге. Через несколько минут я был у Радецкого. Он сидел в землянке. Я передал ему о взятии Весселя-паши. Он сначала не верил, а потом спросил: «Где начальник штаба?»

Я выскочил из палатки и закричал начальнику штаба. Собрались офицеры... Вышел Радецкий. Радость была неописанная. «Ура» грянуло кругом. Я плохо соображал, что со мной, рассказывая мое происшествие с пашой-комендантом, а потом подал ему шашку.

— Вот оружие паши!

Радецкий взял у меня эту шашку, подержал ее в руках, посмотрел и потом, возвратив мне ее, сказал:

— Молодой человек, — и купил меня Радецкий этим словом на всю жизнь, как отец,

дорог он мне, — возьмите эту шашку себе, вряд ли повторится в жизни вашей такой случай, что паша при таких условиях отдаст свою шашку!..

Я, не помня себя, оставив шашку в чьих-то руках, бросился вниз уведомлять Скобелева. В турецких ложементх солдаты уже сложили оружие. Я разыскал в их лагере свою лошадь и поехал вниз. Навстречу мне поднимались с уведомлением к Радецкому Столетов и Хоранов.

— Раньше нас попал! — выругались мне вслед.

Я вернулся к Скобелеву, когда уже стемнело.

Внизу шло ликование... А наверху, на заоблачных позициях, крутила метель, но сквозь свист и вой урагана слышалось радостное, могучее «ура» победителей.

Они знали, что теперь «На Шипке все спокойно!»

Борцы за свободу! Я видел вас всюду: на вершине Орлиного гнезда с дымящимися винтовками в руках, видел коленопреклоненными со слезами на глазах на заоблачной панихиде у памятника горы св. Николая. Я видел, как вы мочили свои длинные седые запорожские усы в вине за обедом в день открытия памятника; я видел ваш железный строй на шейновском параде и, наконец, я видел вас кучками, идущими по горным дорогам к своим домам после шипкинских торжеств!

Спокойны и могучи эти богатыри, дети Орлиного гнезда, борцы за свободу!

Грудь каждого блестит орденами за храбрость.

И между этими орденами почти у каждого имелись комитские медальки.

Это — знаки отличия, показывающие, что обладатели их 26 лет назад первые, еще до сербской войны, восстали против своих угнетателей турок и первые своей кровью купили освобождение родины.

Не будь их — и не было бы этого шипкинского памятника, не стекло бы 15 сентября к подножию Балкан столько почетных гостей. А гости эти любят старые дружинниками, которые выстроились вокруг памятника-храма.

Все они помнят турецкое иго, зверства башибузуков, разоренные села свои, похищенных жен и дочерей, поруганную святыню...

Это люди, у которых была разбита жизнь, отнято все дорогое, близкое сердцу...

И этот гнет создал освобождение. И брал тогда каждый из них нож, привязывал на крест кусочек земли из-под развалин своего дома и шел в горы с одной целью: мстить за своих погибших, добывать свободу живущим!

Около каждого из них собирались такие же юнаки, выбирали воевод и дрались с врагом.

Западная Европа окрестила этих борцов за свободу разбойниками, турки — мятежниками...

Так звали тогда этих вестников свободы Болгарии...

Воеводы и юнаки мстили своим угнетателям за своих поруганных жен и дочерей.

Началось мстью — кончилось освобождением.

И чем больше бесчинствовали турки, тем больше осиротевших юнаков уходило в горы, тем больше лилось крови.

Трудна была жизнь юнаков-мстителей и их отважных воевод!

Зимой, когда Балканы одеты снегами, юнаки скрывались по селениям и ждали благовещенского колокола. Вместе с первым его звуком оживали горы.

Я видел их в дыму, в пыли,
Как лезли на вершины,
Как стройно, как отважно шли
Их вольные дружины.
В крестах и ранах старики —
Герои дней далеких,
Движенья быстры и легки,

И на скалах высоких,
Среди туманной, белой мглы,
Вздымаясь по стремнинам,
Сплетались горные орлы
На их гнезде Орлином...
Грохочут выстрелы вдали,
Вокруг в дыму долины...
Привет, привет вам, соль земли,
Геройские дружины!

Торжественна и задумчива была встреча русским гостям в Болгарии.

Проезжая Болгарию, я видел всюду задумчивые встречи, я вглядывался в самые мелочи общего, захватывающего восторга народного.

И особенно радовались нам мужчины и женщины пожилые, которым памятен турецкий гнет и неистовства башибузуков.

Сколько искренних слез блеснуло на их старых лицах! Они помнят прошлые ужасы и смотрят на русских гостей, как на людей, беззаветно проливавших свою кровь за их свободу. Как только они не выражали своего восторга!

Дети вторили им.

Молодежь с любопытством смотрела на невиданное зрелище, на не виданных ими людей, на которых им указывали как на героев, дравшихся за свободу Болгарии. Чем дальше — тем сильнее восторги.

За домашним очагом старики рассказывали молодежи и детям о бедах юности своей, воскрешали тяжелое прошлое и поселяли любовь к освободителям, братьям русским.

Не будь этих празднеств — умерли бы старики, и забыла бы молодежь, и не знали бы дети, как досталась им свобода их родины...

А теперь все поколения видели своих освободителей, видели любовь к ним своих отцов и матерей, поняли взаимную братскую любовь.

Всею душой принимал нас народ болгарский, всем сердцем!

И русские гости остались довольны сердечным приемом, искренней любовью народа болгарского.

Через день мы отправились в Россию.

На обратном пути те же душевные проводы, как и встречи, те же шпалеры народа около триумфальных арок из зелени с надписью «Освободителям»...

Наши коляски буквально забрасывали цветами, венками, фруктами, совали в руки корзины с виноградом и со слезами прощались при остановках...

Прощайте, заоблачные Балканы, прощай, Болгария, симпатичная и многострадальная Македония!..

Моя табакерка

Если бы моя табакерка могла рассказать все, чему она была свидетелем, — это была бы история эпох.

Кто из нее не нюхал! Все классы и нации. В разных краях России и за границей. И в мирное, и в военное время. И во время холерных бунтов, и на гуляньях в роскошных парках, на баррикадах и в окопах. Нюхали боевые генералы на позициях, нюхали дружинники на Пресненских баррикадах.

Перед табакеркой были все равны. Ни чинов, ни рангов, ни классов, ни пола, ни возраста.

Нюхал из нее Антон Павлович Чехов. Только по-особому нюхал. Он брал табакерку у меня из рук, хлопал по ней, открывал, угощал меня, а потом подносил ее к носу и долго наслаждался, поворачивая голову.

— Боюсь, как бы не привыкнуть. А хорошо.

А Лев Николаевич, тот нюхал заправски.

Пришел как-то я с историком Украины Эварницким к Льву Николаевичу. Сидим у него в Хамовниках наверху, в кабинете, разговариваем. Я по обыкновению открываю табакерку и подношу Льву Николаевичу.

Он берет здоровую щепоть, сначала в одну ноздрю, потом в другую, богатырски чихает и говорит Эварницкому:

— Я только у него одного изредка и нюхаю. В старину нюхивал... Ведь это не курить... Если бы вся Россия не курила, а нюхала, наполовину меньше бы пожаров было и вдвое больше здоровых людей...

Эварницкий, бывший со мной иногда у Толстого, мне говорил, что он записал всю нашу тогдашнюю беседу.

* * *

Эта табакерка, которую я в первый раз увидел и в первый раз в жизни понюхал табаку еще во времена крепостного права.

Она изображена на моих портретах Малютиным, Лебедевым, Герасимовым и Струнниковым. Первый портрет в Государственной галерее в Астрахани, а второй — в Московском музее имени Чехова. Табакерка же находится у меня с 1878 года, когда мне ее подарил мой отец после моего возвращения домой прямо с боевых позиций из Турции.

— Береги ее, она счастливая, — сказал он.

Табакерка отцу досталась после моего деда, а у деда всегда она стояла на рабочем столе бабушки, и из нее он нюхал только дома и с собой ее никогда не носил. Вне дома он курил люльку величиной с кулак, окованную медью, доставшуюся ему после отца, славного запорожца Ивана Усатого, пришедшего на Кубань из Сечи вместе со своим атаманом Чепыгой. В трубку влезала горсть махорки, и дым от нее был, как из трубы. Вот почему он дома и не курил. Раз, мне было лет семь, на рыбной ловле я попросил у него покурить. Он, улыбаясь сквозь громадные седые усы, молча подал. Я видел, как дед затягивался, и сам, набрав полный рот дыму, тоже затянулся, закашлялся — и больше ничего не помню.

С тех пор я никогда не хотел курить, и до сих пор не курю, а если и приходилось по обстоятельствам не отказаться от папироски, то только дым пускал, для видимости, а не затягивался.

Табакерка меня, ребенка, привлекала больше, и я иногда подбирался, брал щепотку и радовался, чихая на весь дом.

Это было в конце 50-х годов, еще при крепостном праве.

Вот эта самая табакерка и досталась мне, и с 1878 года я с ней не расстаюсь. Были года, когда я бросал нюхать, и она лежала у меня в письменном столе, а уж с 90-х годов я почти не выпускал ее из рук. Она помята, на углах протерлись дырки, и мой приятель слесарь Евдокимыч залил эти дырки оловом. Теперь табак не сыплется в карманы.

И вот эта самая табакерка три раза спасала меня от неминуемой смерти...

И теперь, сидя у себя в Столешниковом переулке, я опять переживаю давно забытые радости, свидетельницей которых, даже участницей, была эта самая табакерка, которая состарилась, как и я, и которая утратила свою красоту в виде золотой монограммы, вместо нее осталось только три отверстия на ее крышке, и чернь вся почти слезла с нее.

Репортажи

Орехово-Зуево

1 июня

(От нашего корреспондента)

28 мая, в половине двенадцатого часа ночи, в спальном корпусе № 8, где находились денные рабочие с семьями, а равно семейства отсутствовавших, вспыхнул пожар и в одно мгновение охватил все здание. Люди в страшном испуге бросились к выходу, но немногие успели спастись этим путем. Остальные начали бить и ломать оконные рамы и бросаться с высоты второго этажа на землю. Ужасную картину представляло горящее здание: в окнах, из которых, прорываясь в разбитые стекла, валил дым и языками поднималось пламя, зажигая наружную часть стены, метались рабочие, тщетно стараясь выбить крепкие, наглухо заделанные рамы... Вот в одном из окон, на виду всех, высокий мужчина отчаянно бьет самоваром по раме, но тщетно! Несчастный задыхается в дыму и падает мертвым... Огонь окончательно охватил окно... В другом окне появилась женщина с грудным ребенком на руках... волосы и платье ее пылают... Ей успели подать лестницу, спасли ее, и всю обожженную отправили в больницу вместе с ребенком... Это жена крестьянина Сычевского уезда Смоленской губернии Сорокина. Муж ее в это время лежал без чувств на руках своего сына, только что возвратившегося со смены. Сорокин тоже обезображен донельзя... На лице и руках у него кожа и мясо болтались лохмотьями. Дочери его, Марфы, одиннадцати лет, и до сих пор найти не могли. Из одного окна отец бросил свою малолетнюю дочь, которая была поймана кем-то на руки и осталась невредимой, а вслед за ней, весь в огне, прыгнул и сам несчастный... Лестниц было немного, да и те не имели никакого значения, потому что окна были забиты, не отворялись, и выбить их было чрезвычайно трудно, так как здание было новое. К счастью, быстро прибывшая фабричная пожарная команда с паровыми трубами отстояла соседние казармы и бараки, или, вернее сказать, темные чуланы, где помещались рабочие, и жертвою пламени сделался только один верхний этаж корпуса № 8.

Вот как рассказывает жена рабочего Кулькова о начале пожара:

— Спали мы в чулане, сзади казармы, а проснувшись, отправились на смену, часу в двенадцатом. Только что я вышла — вижу, в окне третьей каморки, вверху, огонь и дым валит. Максим! — мужа зову, — гляди-ка, никак пожар? Он вышел из чулана, и мы побежали в корпус — вещи наши там были. Только прошли через кухню в коридор, а уж огонь-то в нем. Крикнули: «Спасайтесь, горим!» Ну, народ начал выбегать, а уж коридор сразу со всех сторон горел. Как я выбежала на двор — не знаю — муж мой из окна выскочил, скамьей его вышиб и кричит, помощи просит... Народ из окна лезет, падает, кричит. Казарма уж сразу вся в огне была...

Действительно, корпус загорелся сразу, и к утру весь второй этаж представлял из себя развалины, под которыми погребены были тела погоревших. В субботу найдены были трупы, обуглившиеся, потерявшие человеческий вид; некоторые из них валялись сверху обломков, а некоторые под ними. Особенно трогательную картину представлял труп женщины с двумя обгорелыми детьми на руках. Это жена сторожа, разрешившаяся в момент пожара... Далее были найдены еще два ребенка, сын и дочь отставного солдата из Динабурга Иванова. Сам же Иванов, получивший страшные ожоги и ушибы, лежит в больнице.

В груде пепла и обломков найдено пока одиннадцать трупов, которые и похоронены в тот же день. Детей клали в один гроб по несколько человек. Похороны представляли печальную картину: одиннадцать гробов были положены в простые телеги и отвезены на кладбище!.. Обломки на пожарище не все разобраны. Предполагают, что найдутся сгоревшие, так как, по словам рабочих, несколько человек недостает.

Причины пожара объяснить никто не может, но ввиду того, что громадная казарма, имеющая семнадцать окон по фасаду в каждом этаже, вспыхнула моментально, загоревшись в разных концах, предполагают поджог, тем более что, по уверению фабричных, все лестницы в корпусе были облиты керосином.

Получивших ожоги и ушибы при прыжках со второго этажа насчитывают до тридцати

человек, из которых большая часть находится в больнице...

Пожар навел страшную панику на рабочих. Так, например, в понедельник, 31 мая, в казарме № 5 при раздавшемся крике «горим! пожар!» произошел не поддающийся описанию переполох, но тревога оказалась напрасной-пожара не было. Теперь рабочие, для безопасности, привязывают у окон веревки, чтобы избежать страшного несчастья быть заживо поджаренными.

Орехово-Зуево 4 июня

Упавшую крышу и обгорелые бревна на погоревшем корпусе Морозовской фабрики сняли, но до сих пор не разрывают землю, свалившуюся с накатов и покрывшую уцелевший пол второго этажа здания. Между рабочими носятся упорные слухи, что под этой землей есть еще трупы сгоревших. В больнице из числа помещенных туда обожженных шесть человек умерли и были похоронены на так называемом Мызинском кладбище. Кладбища здесь два: одно около церкви, близ села, называемое Ореховское, а другое Мызинское. На первом хоронят только жителей известных деревень и сел или тех умерших, для которых откупят место, а на другом всех без исключения. Мызинское кладбище находится в полуверсте от церкви в небольшом сосновом лесу, на песчаном кургане. Тут же похоронены и одиннадцать человек сгоревших. На днях еще привезли из больницы несколько человек на кладбище, но на вопросы: «что это, из числа пострадавших?» ответ последовал отрицательный. И уже потом выяснилось, что «запрещено» говорить, что умирают погорельцы. Вообще происшедшую катастрофу и все ее последствия здесь хотят прикрыть почему-то непроницаемой завесой...

Так, например, желая узнать и проверить ранее добытые нами из уст посторонних и пострадавших фабричных известия, мы обратились с этой целью к местному надзирателю, старику, получающему жалованье от Морозовской фабрики, но от него получили полнейший отказ сообщить нам необходимые сведения.

Не добившись ничего от блюстителя порядка, мы обратились к фабричному врачу. Но и этот последователь Эскулапа настолько пропитался тем же фабричным духом таинственности, что решительно отказался отвечать на наши вопросы.

— Скажите, по крайней мере, доктор, сколько у вас в больнице обгоревших? — спросили мы.

— Ничего-с, ничего-с, ничего-с не могу сказать! Обратитесь или в контору, или, самое лучшее, к следователю, — был ответ.

— Не можете ли вы сказать, удовлетворительно ли их здоровье, поправляются ли они после обжога?

— Ничего-с, ничего-с, ничего-с не могу сказать! Обратитесь в контору, или...

— Но скажите, пожалуйста, умер кто-нибудь из них? Ведь это же не секрет!

— Ничего-с, ничего-с, ничего-с не могу сказать! Обратитесь лучше... — и, не кончив речи, врач ретировался.

Между тем, несмотря на молчание врача, известно, что в больницу после пожара труднобольных поступило 29 человек. Но сколько из них поправилось и сколько умерло — неизвестно.

В настоящее время на фабрике идут переделки. К не-растворяющимся рамам начали приделывать петли, по стенам казарм наставили несколько деревянных лестниц... и только! Почти все корпуса, и даже самый громадный — прядельный, снабжены лишь старыми деревянными лестницами, снаружи, да и то по одной или по две... Вообще нельзя не сказать, что г. Морозову, считающему у себя на фабрике до 15 000 рабочих, следовало бы серьезнее позаботиться о них. Нелишне было бы, например, посократить усилившиеся за последнее время штрафы, подумать о предупредительных мерах на случай пожара и распорядиться, чтобы по ночам в коридорах корпусов дежурили сторожа, а в «каморках» спали бы не по 15

и 17 человек, как это делается теперь, — а поменьше, сообразно величине этих «каморок».

Страшная катастрофа на курской железной дороге

Сильный дождь, продолжавшийся в Москве целый день во вторник, 29 июня, лил и в отдаленных от нее Тульской и Орловской губерниях и при этом сопровождался там страшной бурей. Поэтому к вечеру на многих местах полотно Московско-Курской дороги было размыто, и рельсы или разошлись, или совсем свалились. Оказалось это близ станций Сергиево и Скуратово, но в третьем месте, именно, не доезжая 1 1/2 версты до станции Чернь, ночью повреждения не заметили. Между тем это место, окруженное болотистой трясиной (285-86 верст от Москвы), одно из опаснейших на всей дороге. Ночью, в третьем часу, на этом месте встречаются почтовые поезда; идущий из Москвы, № 3, и из Курска, № 4. В эту ночь с 29 на 30 июня почтовый поезд, шедший из Курска, благополучно прошел над этой трясиной в 2 часа 32 минуты ночи; спустя лишь четверть часа подошел встречный ему почтовый поезд, шедший из Москвы. Машинист и поездная прислуга ни о какой опасности на предыдущей станции, Крестцах, предуведомлены не были, поэтому поезд шел очень быстрым ходом. Между тем за эту четверть часа насыпь от сырости опустилась, рельсы разошлись одна от другой, и вот здесь-то почтовый поезд потерпел страшное крушение. Десять вагонов с пассажирами разбились вдребезги, четыре вагона, в том числе и почтовый, оторвались и уцелели. Страшное зрелище представляли эти обломки поезда и массы убитых и тяжело израненных! Поездная прислуга убита почти вся. По первому исчислению, более 50 пассажиров убиты и до 80 человек искалечены так ужасно, что многие едва ли останутся в живых. К утру приехали врачи из Черни и из Тулы, а в 3 1/2 часа дня с почтовым поездом отправлены врачи из Москвы. Это небывалое еще у нас в железнодорожной хронике несчастье случилось в 2 часа ночи, а депеша правлением дороги получена была только в 10 часов утра: ее задержала гроза. Поезда, шедшие к Москве, были задержаны.

С места катастрофы на курской железной дороге 15 июля

(От нарочного корреспондента)

К утру 14 июля раскопки в жерле могилы были окончены, трупы и части вагонов вынуты; докопались до самого грунта. Оставалось поднять три колена трубы, попавшие в глубокую, выбитую водой яму. Это стоило громадных усилий, так как каждое колено (звено) весит до 160 пудов. Наконец, с помощью нескольких сот рабочих, под песню традиционной «Дубинушки», колено это вытащили. Прокурор палаты С. С. Гончаров, лично осмотрев это место, отправился далее, вниз по дну оврага и по течению соседнего ручья, производить окончательный осмотр местности. При осмотре присутствовали: инспектор дороги г. Шуберский, тульский губернский инженер Иванов, инженер Б. Домбровский и Клемчицкий, товарищ прокурора Федотов-Чеховский, судебный следователь г. Висневский и местный исправник г. Козловский.

На расстоянии 120 сажен в сторону от места катастрофы была сплошь перекопана вся наносная земля, осмотрено каждое место, где можно предполагать присутствие трупов. К 10 часам утра все было кончено, и С. С. Гончаров, честно выполнивший свою задачу, отправился в Москву.

В тот же день, к вечеру, по распоряжению чернского исправника было произведено сожжение морга и всех удобостгораемых вещей, оставшихся после адской катастрофы; земля насквозь пропитана дезинфекционными средствами и засыпана толстым слоем извести. Теперь уже все замолкло, никого нет на этой ужасной могиле... Нет ни инженеров,

мечущихся по насыпи и орущих на рабочих, в грязных рубахах, с лопатами и тачками в руках, нет разнокалиберной публики, нет и помещиц — барынь и барышень, разодетых в богатые пестрые, не вяжущиеся с общей грустной картиной костюмы. Нет и родственников, горько плачущих по убитым... никого нет... Пусто и безлюдно на этом отныне вековеченном адском месте...

Дальше же внизу, справа и слева, продолжаются другие работы: постройка насыпи обходного пути... Работа идет быстро. На дне проклятого оврага начинают уже класть трубы, которые уцелели после катастрофы...

Проходя по мостику, устроенному для перехода пассажиров, я увидел несколько железнодорожников из мелких служащих, ведущих между собой следующий разговор:

— Да вот опять на работу сейчас, и отдохнуть не дадут, анафемы! — промолвил один из них...

— Куда это еще? — спросил другой, одетый в синюю блузу.

— Да гробы перетаскивать...

— Какие гробы? С ума сошел? Вчера последнее тело отправили...

— Да не тела, а гробы, тут вон дорогих свинцовых гробов по случаю накопили, тел-то мало оказалось, а гробы остались...

— Куда же их теперь, дяденька? На что покупали? — обратился молодой, почти мальчик, рабочий к старику, стоявшему рядом.

— Куда?! Ты думаешь, зря их покупали... Начальство-то, брат, знает, что делает, — вот трубы-то старые ставят, а гробы-то новые... Смекнул?!

Далее я не мог расслышать разговора, так как в это время мужики, накатывающие трубы под насыпью, затаили «Дубинушку»...

Ой, робя, ворочай туже, Видны косточки наружи!.. Ой, дубинушка, ухнем...

Катастрофа на фабрике Хлудова

Во всех слоях егорьевского общества только и разговору, что о катастрофе 9 января. Толпы горожан стремятся на фабрику, но туда не пускают, и редко кому удается прорваться сквозь цепь сторожей-церберов в эту окруженную стенами крепость, куда в обыкновенное время даже местная полиция неохотно допускается. Нам удалось осмотреть местность, разрушенное здание и последствия катастрофы и узнать все подробности ее на другой день частью от пострадавших лиц, частью от многочисленных очевидцев, которые говорили под свежим впечатлением виденного и испытанного, нисколько не стесняясь и не скрывая самых малейших обстоятельств.

В обществе же рассказы всех были тождественны. Из виденного и слышанного нами мы сообщаем следующее: на фабрике, между прочим, имеется высокий, старый четырехэтажный корпус, часть которого занята сортировочным отделением, где сортируется хлопок, лежавший во всех этажах в день катастрофы в количестве около 6 тыс. пудов. Масса хлопка в кипах от 15 до 20 пудов каждая хранилась на четвертом этаже. В семь часов утра, во время разборки хлопка и спуска его сверху по особым деревянным трубам, послышались крики «пожар», и густой едкий дым от горевшего хлопка наполнил весь корпус и повалил из окон. Упавший по трубе воспламенившийся хлопок зажег на одной из женщин платье, опалил ее и еще двух ее товарок. У всех троих ожоги были настолько сильны, что их отправили в больницу при фабрике. Сила огня была вскоре прекращена прекрасной паровой фабричной пожарной трубой. Хотя, благодаря близости воды, в горящее здание было налито ее огромное количество, но тем не менее огонь все-таки временами прорывало и снова приходилось его гасить. Этим бы по-настоящему и кончилось все, но администрация фабрики распорядилась иначе. Дело в следующем: спустя часов пять после окончания пожара администрация фабрики командировала 50–60 человек рабочих под надзором почтенного человека, общего любимца всей фабрики, приказчика сортировочного отделения Михаила Титова, человека пожилого, прослужившего 33 года на этой фабрике, для

скидывания с четвертого этажа вниз тяжелых кип с хлопком. Титов отправился в верхний этаж через чесальное отделение, и рабочие, долго боявшиеся вступить на качающийся пол четвертого этажа и побуждаемые администраторами с угрозой «отказаться от места» и т. п., наконец решились, скинули шесть кип, стоявших наверху, вниз и сбросили на пол седьмую. В этот-то самый момент раздался страшный грохот от падающих масс, от которого, по словам очевидцев, «земля дрогнула», и все четыре потолка четырех этажей с массой хлопка, намокшего во время тушения огня, и работавшими людьми рухнули вниз. Затем все на момент смолкло, и потом раздалось стоны раненых и изувеченных людей. Окна нижнего этажа, заложенные кирпичами, начали разламывать, затем приставили лестницу ко второму этажу (лестниц железных у этого корпуса нет), и рабочие поместились на окнах. А внизу, под ними, откуда слышались стоны, среди массы обломков и груд хлопка, еще местами курившегося, торчали — там голова, там нога, там человек, засыпанный по пояс и взывающий о помощи. Некоторые были стиснуты обломками бревен и не могли пошевелиться. Молодой парень из деревни Холмов, прядильщик Семен Петров, зацепившись фартуком за какой-то обломок у чугунной колонны, висел в ужасном положении между этажами на высоте нескольких сажен и молил о помощи. А помощь было подать опасно: потолок и висевшие груды обломков могли уничтожить, задавить своей массой смельчака. Тем не менее такие нашлись между рабочими: какой-то молодой парень привязал себя веревкой за пояс, перекрестился и прыгнул вниз. За ним другой, третий... Принялись кое-как с неимоверными усилиями освобождать несчастных, из которых некоторые лишились чувств, некоторые невыносимо стонали. Освобожденных или клали в корзины и в них вытаскивали наружу, или прямо привязывали под мышки веревками и вынимали. Долгое время старались рабочие вынимать несчастных и отправляли их в больницу при фабрике. Искали Титова, но ни между живыми, ни между ранеными его не оказалось. Нашли труп какого-то рабочего... Наконец из-под грязи и песку блеснуло что-то. Это оказался золотой перстень, надетый на руке, с которым Титов не расставался, и вскоре был вынут его труп, снаружи не изуродованный, но раздавленный между массами кип хлопка. Еще два трупа нашли в этот день: а на другой еще два. Все шесть трупов положили в квартиру фельдшера на пол, в здании больницы, рядом с палатой больных. 11 числа, т. е. через два дня, мы видели эти трупы на том же месте, грязные, необмытые, изуродованные и уже издающие легкий трупный запах. Пять трупов лежали в этой комнате, а труп Титова — в другой. Станным кажется, по чьему «разумному» распоряжению трупы несколько дней лежат в больнице, рядом с палатами, переполненными больными и изувеченными, а не в часовне при больнице.

Всего в больнице находилось 11 января 19 человек, в том числе 3 пострадавших от пожара женщин и 16 раненых и изувеченных при катастрофе. Найденные более здоровыми не были положены в больницу. Так, например, на улицах города нам пришлось встретить хромавшего и согнутого от невыносимой боли спины и шеи Семена Петрова, того самого, который, как выше сказано, висел на колонне.

На месте происшествия 11 января, утром, в присутствии местного исправника, начали растаскивать кипы хлопка и обломки внутри здания и разыскивать трупы, но к 12 часам дня эта работа была прекращена ввиду могущего случиться несчастья. Обрушившаяся внутренность здания представляет нечто ужасное, но вместе с тем эффектное: это громадные, высокие четыре стены, освещенные светом, падающим из закоптелых выбитых окон, усыпанных ледяными сосульками, горящими разными огнями при дневном свете. Наверху этого здания навис обитый изнутри листовым железом, каким-то чудом держащийся на чугунных колоннах потолок, ежеминутно грозящий рухнуть. Половина здания до самого верха загромождена стоящими, лежащими и висящими переломанными балками, деревянными решетками, кусками железа, сплошь, как толстым слоем битого стекла, покрытыми блестящей ледяной корой, переходящей на краях каждого предмета в каемку из ледяных сосулек, между которыми сверкают обледенелые серебристые волокна белого хлопка...

А внизу, под этими ледяными сталактитами, образовавшимися от обильного поливания водой, груды хлопка, грязи, песку, смешанного с водой, и, по общему мнению, есть еще трупы, так как некоторых из рабочих недосчитываются.

В больнице лежат трупы: Михаила Титова, 45 лет, оставившего после себя жену, мать и восемь человек детей. По словам знающих эту семью, «у них нет денег на фунт восковых свечей для панихиды». Затем трупы крестьян деревни Голубевой: Михаила Петрова, 20 лет, Егора Петрова, 20 лет, оставившего жену и двоих детей, Василия Алексеева, 23 лет, мещанина города Егорьевска Василия Яковлева, лет 35, и Василия Степанова из деревни Ширяевой, оставившего в крайней бедности троих детей. По случаю катастрофы в Егорьевск приехал из Зарайска товарищ прокурора и приезжал 11 января чиновник из Рязани от губернатора, но уехал в тот же день...

Подземные работы в Москве

Как уже известно нашим читателям, в Москве производятся подземные работы по переустройству Неглинного канала. Сильные дожди, не раз затоплявшие водой мостовую Неглинного проезда от Трубной площади до Кузнецкого моста, в особенности страшные ливни в 1861, 1870 и 1883 годах, когда мостовая была заливаема до 2 1/2 аршин, убедили в несостоятельности Неглинного канала как водоотвода, а также и в необходимости или переустройства этого канала, или изобретения каких-либо других средств против затопления мостовой Неглинного проезда и прилегающих к нему местностей.

С этой целью производились городом не раз нивелировки и обмеры бассейна, а также и исследования самого канала, и результат этих работ выяснил, что площадь всего бассейна Неглинного канала равняется в круглых цифрах 1324 десятинам, из которых 1 125 000 квадратных сажен, составляющих загородную часть бассейна и проезда по Камер-Коллежскому валу, совершенно не замощены и с малыми уклонами; 810 000 квадрат. сажен, от проезда по Камер-Коллежскому валу до верхней самотецкой трубы, мало застроены, мало замощены и также с незначительными уклонами, и остальная часть бассейна, от верхней самотецкой трубы до Москвы-реки, в 1242 000 квадратных сажен сплошь замощена и застроена и имеет местами уклоны, доходящие до 0,03. Самый Неглинный канал получил свое название от речки Неглинной, русло которой и есть самый канал. Речка Неглинная начинается за Камер-Коллежским валом, невядалеке от Бутырской заставы, имеет на протяжении своего течения до Самотеки несколько прудов. Около трех верст она протекает в собственных берегах по огородам, затем около версты до Самотецкого пруда по замощенной местности, по деревянным лоткам и в каменных трубах и здесь, в Екатерининском парке, в нее впадает ручей Напрудный, берущий свое начало за Марьиной рощей и также имеющий на протяжении своем несколько прудов. От Самотеки до Москвы-реки Неглинка уже течет по подземному каналу, начало постройки которого относится к концу прошлого столетия.

В 1878 году при очистке Неглинного канала ряд осмотров, произведенных особыми комиссиями, показал, что стены канала находятся большею частью в удовлетворительном виде, за исключением нескольких поперечных трещин. Свод трубы довольно хорошо сохранился, но в нем местами имеются продольные трещины, особенно большие под Театральным проездом и близ сандуновского фонтана, на протяжении 60 сажен. Местами же свод осел и сузил канал. Канал суживается также сетью газовых и водопроводных труб, пересекающих его. Канал имеет на своем протяжении извилины и крутые повороты, особенно частые на пути от Малого театра до театрального бассейна. Здесь канал проходит под зданием Малого театра и д. Чельшева. Стены канала имеют толщину 4 кирпича, а свод — 2 кирпича. Пол состоит из двойного ряда досок, настланных вдоль канала. Стены канала лежат своим основанием на трех рядах свай, а пол укреплен на поперечных бревнах, врезанных концом в эти сваи. Пол местами сгнил; доски его отрываются течением и загромаждают канал. Высота канала до настоящего времени была не одинакова. Местами

человек высокого роста мог идти свободно по дну канала, местами же, благодаря заносам, почти невозможно было проползти лежа. Из всех этих данных причины затоплений Трубной площади сводятся к следующему: 1) неправильность уклона дна канала с существованием даже обратных уклонов; 2) недостаточность поперечного сечения; 3) дощатый половой настил, способный делать запруды; 4) скорость гниения этого настила, зависящая от того, что местами, когда нет дождей, настил этот не покрывается водой; 5) невыгодная форма дна и поперечного сечения и отсутствие отстойных колодцев.

Для устранения этих причин могло быть выбрано два средства: или устройство нового канала, или же приспособление существующего ко всему бассейну Неглинной. По составленным сметам устройство нового канала обошлось бы по 375 рублей за погонную сажень, а приспособление старого — по 138 рублей за сажень. Следовательно, разница в стоимости равна 237 рублей на сажень. Считая же на все протяжение 1524 сажени, общая экономия равняется 361 000 рублей. Приспособление старого канала заключается в увеличении сечения канала, углублении его дна, с подводом стен снизу, выставке обратного свода на всем протяжении канала из тарусского камня и отштукатурки стен свода. Лучшим временем для этих работ можно считать зиму, когда воды в канале бывает очень мало даже в банные дни. Работы, начавшиеся осенью прошлого года, поручены инженеру Н. М. Левачеву. Все расстояние канала последний разделил на три участка, из которых на каждом для производства работ поставил своих помощников, инженеров. Первый участок, от Самотеки до Кузнецкого моста, поручен Ф. В. Данилову, второй — Н. Г. Шилову и третий — г. Сергалеvu. Для удобства работ в каждом из трех участков сделано по 12 отдушин, для чего разобраны свод канала и мостовая на две сажени в длину. Для безопасности движения по улице экипажей и прохожих, а также для сохранения инструментов и защиты рабочих в непогоду над каждым разобранным местом свода устроены деревянные бараки. Всех их 36. Так как канал, особенно при начале осенних работ, переполнялся зловонной водой, поступающей в него из всех решеток по его протяжению и боковых труб, посредством которых спускаются банная вода и нечистоты из многих домов, то вода была отведена и дно канала осушено. Для отвода воды устроены были на всем протяжении канала деревянные, обшитые железом, с непроницаемым дном, лотки. Лотки эти подвешены на проволоках аршина на 1 1/2 выше дна канала, и посредством насосов, поставленных в каждом из 36 барачков, со дна канала перекачивалась вода и текла по лоткам до самой Москвы-реки. Едва ли не самым трудным для рабочих было устройство лотков. В продолжение с лишком месяца им приходилось работать то по колено, а то и да пояс в зловонной воде, пока были устроены лотки. Каждая сажень лотка ставилась под наблюдением г. Левачева или его помощников, почти не выходивших в это время из канала.

Рабочих постоянно, считая в том числе земляников, плотников, каменщиков и возчиков, работает около 1000 человек в день. Впрочем, количество их меняется, смотря по степени надобности, равно как меняются и ча-сы работы. Надо, впрочем, заметить, что большинство времени переустройства канала работы производились день и ночь и рабочие делились на две смены — дневных и ночных. Во время очистки насосов в канале попадает масса битой посуды, перержавевшие ножи, перегнившие кости, обрывки платья, трупы собак. Встречались и более интересные находки: так, близ Цветного бульвара найдены были очень старинной работы граната и бомба, находились также старые монеты и кости, похожие на человеческие.

Ловля собак в москве

По обязательным постановлениям городской думы, напечатанным в № 147 «Ведомостей московской городской полиции» за 1886 год, разрешается водить собак по улицам и другим местам, находящимся в общественном пользовании, при условии, чтобы собаки были в ошейниках и на привязи. Собаки же, появляющиеся на улицах, бульварах и других местах, находящихся в общественном пользовании, считаются бродячими и подлежат

уничтожению по распоряжению полиции.

Городская дума на этот предмет отпустила московскому обер-полицмейстеру 1000 рублей, и последний предложил содержателю живодерни в деревне Котлах, за Даниловской слободой, Грибанову, принять на себя обязательство ловли и уничтожения бродячих собак, причем Грибанову были предписаны следующие условия: с 21 июля 1886 г. Грибанов будет производить ловлю бродячих собак по улицам, бульварам и в др. местах общественного пользования через нанятых им для этого людей и собственными его сетями и другими снарядами, не допуская никакой жестокости с собаками. Ловля будет производиться ежедневно от часа ночи до 6 утра, пойманные собаки в сырейное заведение Грибанова в дер[евню] Котлы будут отправляться в клетках и содержаться на его счет трое суток, с тем, что если кто-либо из владельцев собак пожелает получить свою собаку, то должен за каждый день прокорма собаки уплатить по 25 к. с, по истечении же трех суток собаки возвращаемы не будут, а поступают в собственность Грибанова. Грибанов накануне дня ловли уведомляет запиской пристава 2-го уч[астка] Серпуховской части о той местности, где на другой день намеревается производить ловлю, и участковый пристав в свою очередь сообщает телеграммой приставу того участка, где будет производиться ловля. Делается это для того, чтобы «по получении означенных телеграмм вменить в обязанность полицейским чинам оказывать ловцам всякое содействие, ограждать от могущих возникнуть с чьей-либо стороны помех и столкновений; наблюдать, чтобы ловцы не обращались с собаками жестоко и чтобы отнюдь не касались собак, находящихся во дворах и вообще в местах, не подлежащих общественному пользованию».

Ловля, содержание и откуп собак производятся следующим образом: около 11 часов ночи из деревни Котлы в Москву выезжают две запряженные клячами грязнейшие фуры, с зловонными клетками в них, сопровождаемые оборванцами самого зловещего вида. Это — помощники Грибанова по ловле собак. Хотя по приказу г. московского обер-полицмейстера и полагается ловить собак, не употребляя жестокостей, в том только участке, о коем заявлено Грибановым накануне, но это не исполняется, и ловчие продолжают ловить собак на пути «ходом»: для этого они, заметив собак, расставляют, перегораживая улицу в двух местах, сети и гонят в них собак, стараясь, чтобы последние не ушли на какой-нибудь двор.

Когда собака попадает в сеть, они особого рода железным ухватом прижимают собаку самым безжалостным манером к земле и усаживают в клетку. При этом ловчие стараются поймать всегда хорошую, породистую собаку, а не действительно бродячую, которую они обязаны ловить и которую никто не выкупит. Чтобы уловить породистую собаку, ловчие не брезгуют никакими средствами; они выманивают собак со дворов различными способами, то прикармливая их, то прямо выгоняя, для чего ловчим приходится забегать во двор. При этом не обходится иногда и без неприятностей: если дворники заметят, то непрошенных гостей бьют, как это было, например, в прошлом году на Арбате, в доме Львовой, но ловчие «за тычком не гонятся». Ловчие измыслили еще более ловкий способ выманивания собак — «подлаиванием». С этой целью в деревне Котлах они ежедневно практикуются в лаянии, и некоторые из них действительно лают не хуже звукоподражателя Егорова, лающего, как говорят, «лучше собак». Ловчие употребляют, впрочем, и более бесцеремонные способы для добывания ценных и породистых собак: таков был случай, как сообщалось уже газетами в прошлом году, на Никитском бульваре, где ловчие, увидав дорогого пойнтера, бежавшего за дамой, шедшей в мясную лавку к Арбатским воротам, несмотря на протесты дамы, насильно отняли у нее собаку и увезли в фуре, в Котлы, в свое заведение, удачно названное «собачьей морильной». Прославленные Котлы находятся за Даниловской слободой, верстах в двух от нее. Здесь, недалеко от зловоннейших боен, стоит и живодерня Грибанова: обширный грязный двор, где под навесом на шестах просушиваются окровавленные, вонючие шкуры убитых на живодерне или павших животных. Тут же и квартира Грибанова, в которую приходится обращаться владельцу пропавшей собаки, совершившему десятиверстное путешествие, а то и далее, из Москвы в Котлы.

Но здесь собаки нет, и ищущего ведут на гору, к развалине какого-то завода, где на

широком, поросшем бурьяном дворе есть длинный узкий дощатый сарай, при одном приближении к которому со свежим человеком может сделаться дурно от зловония. Около двери сарая трава и стена покрыты бурыми, жирными пятнами крови, и тут же стоит толстая окровавленная дубина: это место, где бьют собак, и орудие, чем их бьют. Непородистых, никому не нужных собак выводят из фур, надевают им петлю на шею и душат, а если собака очень сильна и живуча, то бьют ее палкой по переносью и с полуживой еще тут же сдирают шкуру, которую сушат и продают от 6 до 12 коп. за штуку. Как видно, доход от бродячих собак не велик, а хлопот с ними много: поймать, убить, шкуру содрать и продать. Зато породистые собаки выручают. Они содержатся в этом зловонном сарае, в вонючих, грязных, с постоянно мокрым полом клетках. В сарае только два выхода, узенькие двери и ни одного окна. Тут же, на голой земле, валяются рогожи и полушубок — это постель, одеяло и подушка неотлучно находящегося при собаках сторожа, молодого парня, занимающегося кормлением, убиением и продажей собак и спокойно живущего в зловоннейшем сарае. Впрочем, здесь не всегда содержатся хорошие, породистые собаки. Прежде, при начале деятельности Грибанова, сарайчик этот был переполнен догами, пойнтерами, сеттерами и т. п., а теперь большинство собак, содержащихся в сарайчике, принадлежат к неаристократической породе «дворняг».

При моем посещении заведения Грибанова я заявил, что у меня пропала собака, и меня привели в этот сарай, где я мог выбрать любую из собак, даже чужую, и, заплатив за нее, сколько потребует доверенный Грибанова, получить ее. При подобном способе получения действительные владельцы собак ничем не гарантированы. Книжки о том, где и когда и какая именно собака поймана, не ведется. В три дня — срок выкупа собаки, назначенный полицией, — владелец пропавшей собаки едва ли, если он человек занятой, успеет совершить путешествие в «Котлы»; а между тем по прошествии трех дней, согласно условию с полицией, собака делается собственностью Грибанова. Кроме того, в соседнем «с морильней» трактире всякий, отыскивающий собаку, может, если тихо поведет разговор, узнать, что хорошие собаки, которых невыгодно отдать за 75 коп. владельцу, т. е. за содержание трех дней по 25 коп. в день, и не попадают вовсе в «морильню», а каким-то манером попадают к собачьим барышникам, занимающимся покупкой «случайных» собак. Тут же в трактире можно узнать, что хорошую собаку у Грибанова, пожалуй, не всегда достанешь и надо идти к барышнику, и при этом указывают на стоящую под горой отдельную хижину, недалеко от трактира. Хижинка эта окружена забором, за которым на привязи и так ходит с лаем и визгом масса других, породистых собак всех возможных пород, от болонки до громадного дога включительно. Барышник предлагает купить собаку и продает их разное: и дешево, и дорого, кто как сумеет купить. Откуда эта масса собак у гриба-новского соседа — с достоверностью неизвестно, хотя есть слухи, что ловчие лучших собак продают подобным барышникам за бесценок и что последние, не решаясь выводить их на рынок, держат в глухих местах, вроде Котлов, и особенно охотно сбывают приезжим из других городов покупателям.

Солнечное затмение под Москвой Клин. 7 августа

(От наших корреспондентов)

К вечеру 6 августа сотни москвичей наполнили Николаевский вокзал. Обыкновенно пустующий в это время года дорогой курьерский поезд наполнился пассажирами, взявшими билеты до Клина, одного из лучших пунктов для наблюдения солнечного затмения. Но далеко не все поместились в вагоны. И после отхода поезда все столы громадной буфетной залы были заняты, негде было найти места сесть. Следующий, пассажирский, поезд также битком был набит пассажирами: даже дамы стояли на платформах, к крайнему удивлению

поездной прислуги. Пришлось собрать еще экстренный поезд до Завидова, и в этом только нашлись места для всех желающих наблюдать затмение. Поезд отошел около половины двенадцатого и часа через три был в Клину. Я с трудом нашел место в одном из вагонов, битком набитых публикой. Уснуть, даже прилечь, места не было, и пришлось целую ночь не спать. Наконец, поезд остановился в Клину. Большинство пассажиров вышли, остальные уехали на следующую станцию, Завидово.

Я вошел в вокзал. Кругом стоял гомон невообразимый: стук шагов, движение мебели, бряцание посуды, разговоры — все это слилось в один общий гул. Около столов места брались с бою: если кто-нибудь вставал с места и отходил, оставляя на стуле свою вещь, — вещь эта сбрасывалась, и место бесцеремонно занималось. Измученные, сбитые с ног лакеи не успевали исполнить требований и половины пассажиров. Последние сами с тарелками в руках шли на кухню, заказывали себе кушанье и собственноручно приносили его в зал.

В самый разгар этого ужина-завтрака кто-то громко крикнул, что «шар готов», и толпа начала понемногу сбывать. Вслед за другими я отправился к шару. Было около трех с половиной часов, еще довольно темно. Впрочем, на востоке небо было чисто и виднелись розовые золотистые отблески зари на узких грядках легких облаков. Перейдя полотно железной дороги, вправо от линии есть пустырь, между линией дороги, станцией и Ямской слободой гор. Клина. Этот пустырь, посередине которого имеется прудик, называется Ямским полем. Подле прудика в виде огромной круглой массы, слегка движущейся, покачивался чуть заметно во тьме воздушный шар, напоминавший собой издали голову в «Руслане и Людмиле». Чем ближе мы подходили к шару, тем выше и выше он вырастал перед нами.

Вокруг него стояла загородка, а с правой стороны, с юга, его защищал от ветра занавес, из брезентов. На противоположной стороне стояли аппараты для приготовления водорода для наполнения шара. Это целая баррикада. На платформе из старых шпал установлено три чана для смеси серной кислоты с водой. На чанах помещается холодильник для охлаждения газа и рядом с ним два химических сушителя, наполненные хлористым калием. Внизу платформы расположено 5 медных генераторов, наполненных железными стружками. От них прокопана канава, по которой стекает в яму железный купорос. На платформе стоят человек десять солдат в прожженных кислотой рубашках и мундирах. Солдаты работают частью около котлов, частью накачивают насосом воду из пруда. Газ, идущий из генераторов в холодильники, поступает потом в сушитель, а оттуда уже по резиновому шлангу, совершенно сухой и холодный, поступает в шар. Шар привезен сюда со станции еще накануне, рано утром, и с 11 часов утра 6 августа наполняется газом под руководством механика г. Гарута при помощи нескольких солдат гальванической учебной роты. Весь день вчера и начало ночи на сегодня шар наполняется неудачно. Мешал ветер, ударявший шар о землю и выбивавший из него газ, и мелкий дождь, намачивавший материю. Лишь с 12 часов ночи шар начал наполняться как следует, и, когда я пришел, был уже почти полон. Только нижняя часть его лежала на земле, раздуваемая ветром, и держалась на веревках от сетки, прикрепленных к мешкам с балластом.

Становилось светлее, и шар ясно был виден.

Он напоминал собой по цвету и форме огромный, желтый бычий пузырь, оплетенный веревочной сетью. Низ все еще не наполнился газом. С одной стороны шара крупными буквами написано «Русский», с другой мелко: Paris Lachambre. Как мы уже сообщали, шар сделан из бумажной материи, пропитан не льняным маслом, как это делалось прежде, а гуттаперчевым лаком. Он имеет 640 кубических метров емкости и может поднять, считая собственный вес, балласт и сидящих, до 50 пудов, если сух и хорошо наполнен. Около шара стояла плетенная из камыша корзина для воздухоплатователей, с обручем сверху, к которому прикрепляются веревки сети. На корзине прикреплен железный якорь — «пятилапая кошка», сделанная по системе г. Кованько. Собравшаяся публика с любопытством толпилась около шара. Часов с четырех публика все продолжала прибывать с вокзала из города и соседних слобод и деревень. Ямское поле, всегда пустынное, обратилось в какой-то табор. Вокруг шара — густое кольцо народа, далее, группами, зрители расположились по пригоркам и на

поляне, разместясь на скамьях и стульях, которые то и дело возами подвозили из города и слобод. Владельцы скамей умело воспользовались моментом и уступали скамьи на время затмения по рублю и более за штуку. Еще далее, кольцом же, кругом публики стояло множество экипажей, на которых сидели разряженные дамы и кавалеры. Это — подгородные помещики и купцы. Около них стояло три-четыре столика с самоварами, с молоком и водами. На возвышениях со всех сторон шара фотографы расставили камеры, стояли телескоп и подзорные трубы, обращенные к востоку. Приехали 6 членов московского Общества велосипедистов-любителей, сделав накануне все расстояние между Москвой и Клином, 84 версты, на велосипедах.

Публика была, видимо, не весела, молчалива. Кое-где слышались отрывочные слова. Особенно удрученное состояние духа замечалось между крестьянами и клинскими мещанами. Как говорили, многие из них накануне исповедались в грехах, надели чистое белье и приготовились к смерти, ожидая светопреставления или землетрясения. Все молчало. Оживлял сцену лишь бегавший с прибаутками торговец трубками для наблюдения затмения, появляющийся всюду и кричавший: «Покупайте, господа, торопитесь, затмение будет через минуту!» Его появление вызывало улыбку, и он торговал прекрасно. Да еще солдаты местной команды развеселили, или скорее удивили на момент публику: во время тишины, в исходе пятого часа, вдруг послышалась солдатская песня. Это шла местная команда и отхватывала лихую песню...

Наконец половина шестого. Солнце давно уже взошло, но его все не видно за туманом, который все становится гуще и гуще. Подул с востока ветерок, туман слегка начал исчезать, показались яснее избы Ямской слободы, и публика как будто повеселела. Но признаков, солнца не было... Стали даже сомневаться, полетят ли Менделеев и Кованько в шар.

Чувствуя, что погода не прояснится, надежды всех обратились на шар.

Наконец явился г. Кованько. Это молодой, высокого роста красивый поручик, в форме лейб-гвардии саперного батальона. Он подошел к шару и приказал крепить корзину. Было 6 часов утра.

— Сдавай! — раздалась звучная команда, и человек десять солдат взялись за балластные мешки, державшие шар на земле.

— Шаг вперед!

Солдаты сделали шаг вперед, шар качнулся в воздухе и рванулся кверху.

— Два шага вперед! — и еще выше рванулся шар. Балласт и солдаты уже очутились под шаром, поднявшимся сажени на две. Еще десять солдат ухватились за боковые веревки наружной сети, за «оттяжки». Начали прикреплять корзину. В нее положили инструменты: барограф, два барометра, бинокли, спектроскоп, электрический фонарь, сигнальную трубу и другие вещи, необходимые для наблюдений. На шаре предполагалось зарисовать корону солнца, наблюдать движения тени и произвести спектральный анализ.

К 6 часам 20 минут шар совершенно готов, хотя видно, что он намок, тяжел, несмотря на двойное количество (1200 куб. метров) против требуемого потраченного газа.

Становится темнее. Пошел мелкий, чуть заметный дождь; начался ветер, красиво покачивавший шар.

Ждали профессора Менделеева. В 6 часов 25 минут раздалась аплодисменты, и из толпы к шару вышел высокого роста, немного сутулый, с лежащими по плечам волосами, с проседью и длинной бородой человек, с симпатичным, располагающим лицом. Это и был профессор. Он одет в широкополой шляпе, длинном, подпоясанном драповом коричневом пальто, в охотничьих сапогах. Он поздоровался с Кованько и Гарутом и начал готовить инструменты.

— Деша получена? — спросил он одного из присутствовавших, члена технического Общества.

— Да, сегодня ночью; вот она. — И спрашиваемый прочел следующую депешу из главной Петербургской физической обсерватории: «На прояснение надежда слаба. В Псковской губернии стационарный минимум. Ветер ожидается южный. Срезневский».

Шар так и рвался под ветром. Гг. Менделеев и Кованько сели в корзинку, попробовали, — шар не поднимается, он слишком намок.

Тогда профессор Менделеев предложил подняться один, видя, что двоих шар не поднимет. Публика была поражена предложением почтенного профессора, отваживающегося совершить свое первое воздушное плавание без управителя шаром.

Г. Кованько был принужден согласиться на предложение профессора, вышел из корзины и передал г. Менделееву тоненькую бечевочку от клапана шара.

Последний раз три попробовал бечевку, выслушал объяснение Кованько, как управлять шаром, и начал прощаться. Первым подошел к нему профессор Краевич. Они поцеловались. Затем подошли дети профессора. Потом стали подходить знакомые, все жали руки. Профессор улыбался и был, по-видимому, спокоен. Он попросил перечесть опять телеграмму и крикнул; «Дайте мне нож!» Ему Кованько подал складной ножик.

— До свиданья, друзья! — попрощался профессор, громко скомандовал «прочь», и шар, отпущенный солдатами, плавно поднялся вверх и полетел на север, при громком «ура» и аплодисментах присутствующих.

В это время стало более и более темнеть.

Шар поднимался серой массой, как в густом тумане.

Видно было затем, как воздухоплаватель начал высыпать быстро один за другим мешки балласта, и шар, освобожденный от груза, ринулся вверх и исчез в темноте, в тени затмения.

Это было в 7 часов 46 минут.

Не более минуты шар был виден; полное затмение наступило вдруг.

И неожиданный полет г. Менделеева одного, без управителя шаром, и трогательная сцена прощания с ним, и исчезновение шара в темноте, и мрак, моментально охвативший землю, удручающе подействовали на всех.

Как-то жутко стало.

С несколькими дамами сделалось дурно.

Толпа крестьян, за минуту перед тем мне в лицо говоривших с усмешкой, что «уж господа больно хитры, раньше знают про затмение, и что никакого затмения не будет», ринулась почему-то бежать от места, где был шар, к деревне.

Смолкло все. Лошади стояли смирно и продолжали по-прежнему жевать траву. На собак тоже мрак не произвел никакого действия. Они были спокойны.

Я оглянулся по направлению станции. Там горели огни платформы и паровозов ярко, как в темную ночь. Потом огни начали краснеть, исчезать, забелелся дневной свет и так же быстро день сменил ночь, как ночь сменила день.

Все молчали. Прошло не менее 10 минут, как начали расходиться. День продолжался серый, туманный.

Катастрофа на Ходынском поле

Причину катастрофы выяснит следствие, которое уже начато и ведется. Пока же я ограничусь описанием всего виденного мной и теми достоверными сведениями, которые мне удалось получить от очевидцев. Начинаю с описания местности, где произошла катастрофа. Неудачное расположение буфетов для раздачи кружек и угощений безусловно увеличило количество жертв. Они построены так: шагах в ста от шоссе, по направлению к Ваганьковскому кладбищу, тянется их цепь, по временам разрываясь более или менее длительными интервалами. Десятки буфетов соединены одной крышей, имея между собой полторааршинный суживающийся в середине проход, так как предполагалось пропускать народ на гулянье со стороны Москвы именно через эти проходы, вручив каждому из гуляющих узелок с угощением. Параллельно буфетам, со стороны Москвы, т. е. откуда ожидался народ, тянется сначала от шоссе глубокая, с обрывистыми краями и аршинным валом, канава, переходящая против первых буфетов в широкий, сажень до 30, ров, — бывший карьер, где брали песок и глину. Ров, глубиной местами около двух сажен, имеет

крутые, обрывистые берега и изрыт массой иногда очень глубоких ям. Он тянется на протяжении более полуверсты, как раз вдоль буфетов, и перед буфетами имеет во все свое протяжение площадку, шириной от 20 до 30 шагов. На ней-то и предполагалось, по-видимому, установить народ для вручения ему узелков и для пропуска вовнутрь поля. Однако вышло не так: народу набралась масса, и тысячная доля его не поместилась на площадке. Раздачу предполагали производить с 10 часов утра 18 мая, а народ начал собираться еще накануне, 17-го, чуть не с полудня, ночью же потянул отовсюду, из Москвы, с фабрик и из деревень, положительно запруживая улицы, прилегающие к заставам Тверской, Пресненской и Бутырской. К полуночи громадная площадь, во многих местах изрытая ямами, начиная от буфетов, на всем их протяжении, до здания водокачки и уцелевшего выставочного павильона, представляла из себя не то бивуак, не то ярмарку. На более гладких местах, подальше от гулянья, стояли телеги приехавших из деревень и телеги торговцев с закусками и квасом. Кое-где были разложены костры. С рассветом бивуак начал оживать, двигаться. Народные толпы все прибывали массами. Все старались занять места поближе к буфетам. Немногие успели занять узкую гладкую полосу около самих буфетных палаток, а остальные переполнили громадный 30-саженный ров, представлявшийся живым, колыхавшимся морем, а также ближайший к Москве берег рва и высокий вал. К трем часам все стояли на занятых ими местах, все более и более стесняемые наплывавшими народными массами. К пяти часам сборище народа достигло крайней степени, — полагаю, что не менее нескольких сотен тысяч людей. Масса сковалась. Нельзя было пошевелить рукой, нельзя было двинуться. Прижатые во рве к обоим высоким берегам не имели возможности пошевелиться. Ров был набит битком, и головы народа, слившиеся в сплошную массу, не представляли ровной поверхности, а углублялись и возвышались, сообразно дну рва, усеянного ямами. Давка была страшная. Со многими делалось дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть: лишенные чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они колыхались вместе с массой. Так продолжалось около часа. Слышались крики о помощи, стоны сдавленных. Детей — подростков толпа кое-как высаживала сверху и по головам позволяла им ползти в ту или другую сторону, и некоторым удалось выбраться на простор, хотя не всегда невредимо. Двоих таких подростков караульные солдаты пронесли в большой № 1 театр,³⁵ где находился г. Форкатти и доктора Анриков и Рамм.

Так, в 12 часов ночи принесли в бесчувственном состоянии девушку лет 16, а около трех часов доставили мальчика, который, благодаря попечению докторов, только к полудню второго дня пришел в себя и рассказал, что его сдавили в толпе и потом выбросили наружу. Далее он не помнил ничего. Редким удавалось вырваться из толпы на поле. После пяти часов уже очень многие в толпе лишились чувств, сдавленные со всех сторон. А над миллионной толпой начал подниматься пар, похожий на болотный туман. Это шло испарение от этой массы, и скоро белой дымкой окутало толпу, особенно внизу во рву, настолько сильно, что сверху, с вала, местами была видна только эта дымка, скрывающая людей. Около 6 часов в толпе чаще и чаще стали раздаваться стоны и крики о спасении. Наконец, около нескольких средних палаток стало заметно волнение. Это толпа требовала у заведовавших буфетами артельщиков выдачи угощений. В двух-трех средних балаганах артельщики действительно стали раздавать узлы, между тем как в остальных раздача не производилась. У первых палаток крикнули «раздают», и огромная толпа хлынула влево, к тем буфетам, где раздавали. Страшные, душу раздирающие стоны и вопли огласили воздух... Напершая сзади толпа обрушила тысячи людей в ров, стоявшие в ямах были затоптаны... Несколько десятков казаков и часовые, охранявшие буфеты, были смяты и оттиснуты в поле, а пробравшиеся ранее в поле с противоположной стороны лезли за узлами, не пропуская входивших

³⁵ Одно из специально построенных антрепренером Форкатти зданий для увеселительных зрелищ. (Прим. сост.)

снаружи, и напиравшая толпа прижимала людей к буфетам и давила. Это продолжалось не более десяти мучительнейших минут... Стоны были слышны и возбуждали ужас даже на скаковом кругу, где в это время происходили еще работы.

Толпа быстро отхлынула назад, а с шести часов большинство уже шло к домам, и от Ходынского поля, запруживая улицы Москвы, целый день двигался народ. На самом гулянье не осталось и одной пятой доли того, что было утром. Многие, впрочем, возвращались, чтобы разыскать погибших родных. Явились власти. Груды тел начали разбирать, отделяя мертвых от живых. Более 500 раненых отвезли в больницы и приемные покои; трупы были вынуты из ям и разложены кругом палаток на громадном пространстве. Изуродованные, посиневшие, в платье разорванном и промокшем насквозь, они были ужасны. Стоны и причитания родственников, разыскивавших своих, не поддавались описанию... По русскому обычаю народ бросал на грудь умерших деньги на погребение... А тем временем все подъезжали военные и пожарные фуры и отвозили десятками трупы в город. Приемные покои и больницы переполнились ранеными. Часовни при полицейских домах и больницах и сараи — трупами. Весь день шла уборка. Между прочим, 28 тел нашли в колодезе, который оказался во рву, против средних буфетов. Колодезь этот глубокий, сделанный опрокинутой воронкой, обложенный внутри деревом, был закрыт досками, которые не выдержали напора толпы. В числе попавших в колодезь один спасен был живым. Кроме этого, трупы находили и на поле, довольно далеко от места катастрофы. Это раненые, успевшие сгоряча уйти, падали и умирали. Всю ночь на воскресенье возили тела отовсюду на Ваганьковское кладбище. Более тысячи лежало там, на лугу в шестом разряде кладбища. Я был там около 6 часов утра. Навстречу, по шоссе, везли белые гробы с покойниками. Это тела, отпущенные родственникам для погребения. На самом кладбище масса народа.

Пора бы...

И возит извозчик седока, и оба ругают московские переулки.

Седок проезжий, и извозчик, старик, тоже недавно в Москве.

— Да тебе сказано в Кривой переулок!

— Да они все тут кривые! — оправдывается извозчик... И действительно, сколько кривых переулков в Москве!

Кривые переулки есть в частях: серпуховской, городской и хамовнической. Потом следуют Кривые с прибавлением: Криво-Ярославский, Кривоколенный, Криво-Никольский, Криво-Арбатский, Криво-Введенский, Криво-Рыбников!

Пересматривая указатель Москвы, я поражаюсь!.. Вот Астра-Дамский переулок! Вот Арнаутовский!

Какой грамотей придумал такие названия!

Вот семь Банных переулков, и все в разных частях города.

Поди ищи!

Живу, мол, в Москве, в Банном переулке в своем доме!

Кажется, адрес точный: московский домовладелец — найти не трудно.

А Банных переулков семь! Безымянных — де-вят-над-цать! Благовещенских — 4, Болвановских — три!

Только три.

Мало по нашим грехам! Ей-богу, мало!

И Брехов переулок только один.

Бутырских, Вознесенских, Дербеневских, Золоторожских и Монетчиковых — по пяти.

А вот Грязных — два.

Врут, больше! Все грязные и кривые!

Денежных — 2, Дурных — не хочется верить — тоже 2. Дровяных — 3. Задних — 2. Полевых, Грузинских, Ивановских, Краснопрудных, Красносельских — по 6. Лесных и Огородных — по 7. Кузнечных и Спасских — 8. Ильинских и Космодемианских — по 9.

Знаменских — 12. Покровских — 10. И Никольских -13. Далее, Коровых — 4, Кладбищенских — 5. А сколько тупиков? Что может быть глупее тупика?

Идешь, видишь улица, идешь дальше и, в конце концов, упираешься в забор!

И это не старая Москва, нет! Масса переулков создавалась за последние два десятка лет, а названия одно глупее другого.

И в общем выходит такая путаница, что разобраться нельзя.

Это повторение одних и тех же названий путает и почту, и публику.

До сих пор в Москве нет ни Пушкинской, ни Гоголевской улицы!

Хоть бы в память пушкинских и гоголевских празднеств назвали!

Да, наконец, мало ли знаменитых людей дала Москва, имена которых можно бы повторить хоть в названиях улиц.

Это — почтит память деятелей.

Во-вторых, название улиц именами знаменитых людей имеет и громадное воспитательное значение.

Господа городские деятели, пекущиеся о благоустройстве Москвы, обратите на это внимание, пора бы!

Да постарайтесь, чтоб названия не повторились, чтоб прекратить путаницу.

Принимайтесь же за это дело, не стыдясь, — дело доброе!

На память оставьте по одному, только по одному старому названию.

Оставьте один Кривой, один Болвановский, один Коровий и один Брехов...

Для будущих историков оставьте.

Пусть думают: отчего и почему!..

Люди четвертого измерения (Вечер смеха и забавы)

За правду не сердятся.

Русская поговорка

Реферат С. В. Потресова имел успех несомненный.

Все московские «Скорпионы» показались вторичной публике и заговорили.

Не будь этого реферата, никто бы их не видел и не слышал...

А вышло интересно.

Реферат о «символистах» прочитан.

Объявлены, после перерыва, прения.

Сцена наполнилась. Налево сели гг. К. Д. Бальмонт и В. Я. Брюсов — солидные, серьезные. Напротив, в глубине, на семи стульях поместились семь «новых поэтов», семь «подбрюсков».

Г. Брюсов начал опровергать референта, указавшего на пристрастие «новых поэтов» к самообожанию, любви к грехам и эротомании. Он доказывал, что новая поэзия — это свобода творчества и отвращение к пошлости. Он говорил, что новые поэты не любят скуки, пошлости и серединности и протестовать против новой поэзии — протестовать против свободы творчества.

Против обвинения в самообожании, эротомании и любви к грезам г. Брюсов не возражал.

После речи ему аплодировали.

Вышел волосатый «новый» поэт г. Волошин, заявивший, что за последние годы он не читал ни одной книги русской и что символическая поэзия родилась в 1857 году в Париже, в кабачке Черной Кошки.

Третий «подбрюсок», г. Шубин, вынул из кармана книжку и прочитал довольно безумное предисловие г. Пшебышевского, выругав всех нас за «буржуазный мозг, за плебейскую боязнь быть обманутыми».

Четвертый вышел «подбрюсок» лет 17, типичнейший, изломавшийся и... простите... развязный. Перевирая русские слова и уродуя их легким акцентом, подпирая бока руками, «подбрюсок» г. Шик начал упрекать референта в незнании заграничных и «новых поэтов», неведомых миру, и говорил это таким тоном, что публика и возмущалась, и хохотала неудержимо.

— Ваш смех несколько не оскорбляет меня! — злобно бросил публике г. Шик.

Публика хохотала.

— Будем терпеть до конца! — крикнул г. Шик, но не пришлось ему терпеть; публика кричала: «Вон его! вон с эстрады!»

И с шиком и свистом ушел г. Шик.

Место его сменил «подбрюсок» печального образа г. Рославцев.

Длинный, с волосами-провоками, напоминающий своей фигурой серба-огнепоклонника или обруселого факира...

Печально отметив факт изгнания г. Шика, эта печальная фигура говорила печальные слова...

За ним г. Соколов доказывал, что новую поэзию могут понимать только те, у кого в душе есть соответственные струны...

— А всем нас не понять, — закончил он...

Сидевший в первом ряду д-р Савей-Могилевич крутил свой ус и напоминал мне того самого француза в «Русских женщинах», про которого сказал Некрасов:

И лишь крутил свой длинный ус, Пытливо щуря взор, Знакомый с бурями француз, Столичный куафер...

Психиатра этим не удивишь!

Он принадлежит к числу понимающих...

А вот еще г. Хессин, сильно акцентируя, непрошено стал защищать гг. Бальмонта и Брюсова и закончил словами: «мы изломанные люди».

Сознание — половина вины, и ему за правду «похлопали».

— Очередь г. Бугаева! — заявляет председатель! Что-то худенькое, истощенное поднимается со стульев и уныло, как голос из оврага, умоляюще вещает:

— Я отказываюсь!

Из первого ряда вылетает на эстраду г. Курсинский и заявляет:

— Два слова — не более!

Публика радостно вздохнула: чем короче, тем лучше!

И жестоко ошиблась!

Этого «оратора» за его неприличные выходки по адресу шестидесятых годов останавливает даже председатель...

— Чехов, — вещает он, — поэт пошлости и пессимизма, разрушитель идеалов шестидесятых годов!

И этот новый «разрушитель», выругав по пути, по примеру предшественников, Макса Нордау, ушел с шиком...

После ораторов гг. Баснина и Быховского, вызвавших бурю аплодисментов, на эстраду полезло что-то жалкое, истомленное и стало просить слова.

Оно появилось на эстраде.

Уши врозь, дугою ноги, И как будто стоя спит!

Оно говорило, говорило — и все, что осталось в памяти у публики, — это новое слово: «зловещность»!..

Я видел этих «подбрюсков» в зале, за ужином.

Стол 13 «скорпионов» стоял в углу, где потемнее.

Пили и ели, как все люди едят, и так же, как все, ругали лакеев, долго не подававших кушанье.

— Ишь ты! — сказал бы Лука Горького, видя, как жадно едят капусту эти певцы лепестков невиданных растений...

Я видел «подбрюсков» после ужина, внизу, в карточной комнате...

О, если бы я не видел их в карточной комнате — я не написал бы ни слова об этом вечере!

Ни слова бы, уважая мнение всякого человека, уважая всякие порывы творчества, даже всякое заблуждение человека, если оно от сердца!..

В карточных комнатах четвертое измерение исчезло, а ярко выступили из «подбрюсков» их буржуазные мозги с плебейской боязнью быть обманутым...

Они раскрыли свои карты!..

— Ишь ты!.. — сказал бы Лука...

Я бы никогда не сказал слова «подбрюсок».

И теперь я не говорю ни слова ни о К. Д. Бальмонте, ни о В. Я. Брюсове.

Но мне их жаль в их последователях, в этих именуемых людьми, которые пыжаты, чтобы показаться заметными, чтоб чем-нибудь выделиться.

Ураган. В Москве

Вчера, в исходе 5-го часа дня, пронесся над Москвой страшный ураган с грозой и градом, местами сыпавшим величиной с куриное яйцо. Разразившееся бедствие так ужасно, что сразу подробно описать его невозможно. Особенно подверглись несчастью местности Лефортово, Сокольники, местами Басманная часть и Яузская. В Лефортове на улицах Хапиловской, Госпитальной, Ирининской, Коровьем Броде, Гавриковом пер. и Ольховской улице разрушена масса зданий, домов, поранены и убиты люди и скот. Вырваны телеграфные столбы, полуразрушено несколько домов, повреждены церкви, часовни, у которых местами разрушены купола, поломаны кресты и сбиты церковные тяжелые ограды. Из официальных учреждений сильно пострадали в Лефортове кадетские корпуса, где сорваны совершенно все крыши с частью чердака. Со здания военного госпиталя над всем корпусом сорвана крыша, местами разрушен чердак, унесены бурей деревья; со здания военно-фельдшерской школы сорвана вся крыша, разрушена часть чердака, совершенно разрушен и уничтожен разнесенный ураганом на части летний барак, в котором убит воспитанник школы Панкратов и 5 воспитанников ранено; кроме того, ранен служитель. Обширная Анненгофская роща вся уничтожена бурей и раскидана щепами по окрестностям. Лефортовский сад подвергся той же участи. Здание бывшего Лефортовского дворца также не миновало общей участи: над ним сорвана вся крыша и выбиты окна. Такая же участь постигла Лефортовскую часть — каланча уцелела, а крыши со всех корпусов сорваны и выбиты во всем здании окна.

В один лефортовский приемный покой доставлено 63 раненых и искалеченных, убито также несколько человек, но трупы еще не все подобраны и найдены, а потому количество определить невозможно. Пока в Лефортовской часовне 3 трупа. В Басманную больницу доставлено 30 раненых. Привезены раненые и в Яузскую больницу. Пострадало несколько вагонов конки, извозчиков и убито в роще много окота. В Сокольниках особенно пострадала Ивановская улица, где разрушено несколько зданий, ранено тяжело 7 человек, несколько легко. В течение всего вечера в ближайшую больницу непрерывно доставлялись раненые и искалеченные. Медицинские персоналы работали неутомимо, и многим были деланы сейчас же операции. Пострадавшие местности все время были переполнены массой народа, разыскивавшей в раненых и убитых своих друзей и родных. Убытки, понесенные от бури, как говорят, доходят более чем до 1 000 000 руб.

Ураган (Впечатления)

Живя во дворце в Лефортове, императрица Анна Иоанновна однажды сказала:

— Прекрасное место. Вот если бы перед окнами была роща!

Когда на следующее утро императрица подошла к окну, — напротив, где вчера еще было голое поле, возвышалась роща.

Герцог Бирон приказал в одну ночь накопать деревьев, свезти их и посадить рощу.

Так в одну ночь выросла Анненгофская роща. Третьего дня в одну минуту ее уничтожило.

В полночь при ярком свете луны стоял я один-одинешенек посреди этой рощи, или, вернее того, что было рощей. Долго стоял в ужасе посреди разбитых, расщепленных вековых сосен, пересыпанных разорванными ветвями.

Всем приходилось видеть сосны, разбитые молнией. Обыкновенно они расщеплены и переломлены. Всем приходилось видеть деревья, вырванные бурей с корнем. Здесь, в погибшей роще, — смешение того и другого, очень мало вырванных с корнем — почти все деревья расщеплены и пересыпаны изорванными намелко ветвями.

Я стоял посреди бывшей рощи. Среди поваленных деревьев, блестящих ярко-белыми изломами на темной зелени ветвей. Их пересекали черные тени от высоких

пней, окруженных сбитыми вершинами и оторванными сучьями. Мертвый блеск луны при мертвом безмолвии леденил это мертвое царство. Ни травка, ни веточка не шевелилась. Даже шум города не был слышен. Все будто не жило.

Вот передо мной громадные разрушенные здания кадетского корпуса и военно-фельдшерской школы с зияющими окнами, без рам и стекол и черными отверстиями между оголенных стропил. Правее, на фоне бледного неба, рисовался печальный силуэт пятиглавой церкви и конусообразной колокольни без крестов... Еще правее — мрачная, темная военная тюрьма, сквозь решетчатые окна которой краснели безотрадные огоньки.

Я шел к городу, пробираясь между беспорядочной массой торчащих во все стороны ветвей, шагая через обломки. Было холодно, жутко. И рядом с этим кладбищем великанов, бок о бок, вокруг мрачной громады тюрьмы уцелел молодой сад. Тонкие, гибкие деревца, окруженные кустарниками, касались вершинами земли, — но жили. Грозная стихия в своей неудержимой злобе поборолла и поломала могучих богатырей и не могла справиться с бессилием.

И кругом зданий корпуса и школы среди вырванных деревьев уцелели кустарники. Разбиты каменные столбы, согнуты и сброшены железные решетки, кругом целые горы свернутого и смятого, как бумага, кровельного железа и всевозможных обломков, среди которых валяется труп лошади.

Проезжаю мимо церкви Петра и Павла, с которой сорваны кресты, часть куполов и крыша. Около военного госпиталя груды обломков. Здания без стекол и крыш, сорвана и разбита будка — квартира городских, сад фельдшерской школы в полном разрушении. Останавливаюсь у городского. Его фамилия Алексеев. В момент смерча он был на том же месте. Его и рабочего с городского бассейна вихрем подняло с земли и перебросило через забор в сад. Придя в себя, он вытащил из-под упавших обломков забора и бревен молившего о помощи человека. Дальше — госпитальный вековой парк без деревьев: одни обломки. Мост через Язу сорван. Направо и налево, вплоть до Немецкого рынка. Картина разрушения здесь поразительна. Особенно ярка она с Коровьего Брода, если смотреть от здания Лефортовской части. Направо разрушенный верх Лефортовского дворца, впереди — целая площадь домов без крыш с белеющей сеткой подрешетников, налево — изуродованная громадная фабрика Кондрашова с рухнувшей трубой поперек улицы: проезда нет. Против части стоит без крыши дом Нефедова. Когда сорвало с этого дома крышу, то листьями железа поранило прохожих и побило лошадей.

По Гаврикову переулку полный разгром. На переезде Московско-Казанской ж. д. сорвало крышу с элеватора, перевернуло несколько вагонов, выбросило и поломало будки и столбы телефона, а высокий железный столб семафора свернуло и перегнуло пополам, уткнув верхний конец в землю.

Здесь много пострадало народа, особенно извозчиков и рабочих.

И дальше, к Сокольникам и в Сокольниках, та же картина разрушения. С десятками

очевидцев в разных местах говорил я, и все говорят, в общем, одно и то же.

В 3 часа ночи я снова поехал взглянуть на картину разрушения при свете просыпающегося дня, начав с Сокольников.

Кладбище Анненгофского бора было ужасно.

Было уже совершенно светло, ветерок шевелил наваленные между трупами старых сосен зеленые ветви.

Окружив рощу и выбравшись на Владимирское шоссе, я остановился у точки столицы, первой принявшей на себя губительный порыв смерча. И пострадавшей больше всех.

Это ряд зданий Покровского товарищества ассенизации.

Бывших зданий.

Теперь от дома конторы, казарм и службы — груды обломков. Впереди сотня бочек, некоторые пробиты воткнутыми в них бурей бревнами, принесенными издалека.

Налево, за канавой, среди обломков Анненгофской рощи, вокруг костра греются рабочие, оставшиеся без крова. Пасется табун лошадей, уцелевших, и валяются убитые лошади.

Близ кучки служащих из-под чистых рогож видны сапоги.

Я попросил поднять рогожу. Передо мной измятый труп человека средних лет, в пиджаке и рабочей блузе.

Челюсти поломаны, под левым ухом в черепе огромная рана. Смерть была мгновенная. Это — слесарь Николай Вавилов, оставивший после себя голодную семью из четырех детей и беременную жену. Старшей девочке 9 лет.

Кроме него, сильно ранило четырех рабочих, которые отправлены в больницу.

Стоящие передо мной люди первые встретили смерч и спаслись случайно. Все они рисуют одну и ту же картину. Впереди, откуда пришел смерч, широкое поле, за которым верстах в трех село Карачарово и деревня Хохловка.

Несмотря на пасмурное утро, даль видна хорошо, и можно различить разрушенные дома Карачарова и колокольню без креста: его сорвало с частью купола.

Картина катастрофы такова.

Сначала легкий дождь. Потом град по куриному яйцу и жестокая гроза. Как-то сразу потемнело, что-то черное повисло над Москвой... Потом это черное сменилось зловеще-желтым... Пахнуло теплом... Затем грянула буря, и стало холодно.

Так было во всей Москве.

Здесь очевидцы рассказывали так.

После грозы над Карачаровым опустилась низко черная туча. Это приняли за пожар: думали, разбиты молнией цистерны с нефтью. Один из служащих бросился в казармы и разбудил рабочих. Все выскочили и стали смотреть на невиданное зрелище. Туча снизу росла, сверху спускалась другая, и вдруг все закрутилось. Некоторым казалось, что внутри крутящейся черной массы, захватившей небо, сверкают молнии, другим казался пронизывающий сверху вниз черную массу огненный стержень, третьим — вспыхивающие огни...

Эта страшная масса неслась на них, бросились — кто куда, не помня себя от ужаса. Покойный Вавилов, управляющий Хорошутин с пятилетней дочкой и старухой матерью спрятались в крытой лестнице, ведущей в контору. Все ближе и ближе несся страшный шум.

В это время бросились в коридор, спасая свою жизнь, три собаки. Вавилов, помня народную примету, что собаки во время грозы опасны, бросился гнать собак и выскочил за ними из коридора.

В этот момент смерч налетел. От зданий остались обломки. Коридор случайно уцелел. Хорошутин с семьей спасся. А тремя ступеньками ниже, на земле, под обломками в полусидячем положении виднелся труп Вавилова.

И теперь, через 12 часов, на этом месте лужа не засохшей еще крови...

Только спустя долгое время люди начали вылезать из-под обломков и освобождать раненых. Здесь ужасная картина разрушения...

В роще, как говорят, тоже найдутся трупы. Там были люди. Эта роща — неизменный притон темного люда, промышлявшего разбоями в этой непокойной местности.

В 7 часов мы с моим спутником поехали в город и до самого дома не обменялись ни одним словом.

Впечатление ужасное.

"Три тысячи бритых старух" (Газетная утка)

Мы сидели 7-го января в ресторане Кюба, за столом журналистов.

— Да, ваша молодая газета щегольнула сегодня известием! — говорил заведующий хроникой старой газеты заведующему хроникой новой газеты.

— Да-с... известице... не часто такие бывают... а вот мы добыли.

И газета «Русь» ходила по рукам. В ней было напечатано следующее:

«3.000 бритых старух. Это почти невероятное событие совершилось, однако, недавно в стенах «градской богадельни», что у Смольного...

В один туманный, ненастный день, как раскаты грома, прокатилась по богадельне весть: старух брить будут! И действительно, вскоре в стенах богадельни, где призываются до 5.000 стариков и старух, явились парикмахеры со всеми атрибутами своей профессии. И началось поголовное бритье «прекрасной» половины богаделенского населения — набралось такового около трех тысяч душ.

Бедные старушки негодовали и изумлялись: что это — к смотру нас, что ли, готовят? На этот протест богаделенское начальство безапелляционно заявило: для дезинфекции, бабушки, — и делу конец! Так совершилось сие беспрецедентное в летописях всероссийского «призрения» действо. И дезинфекция крепко воцарилась в стенах богадельни: все старухи обриты наголо. Гоголевскому Артемию Филипповичу Землянике решительно следовало бы поучиться приемам управления «богоугодными» заведениями у администрации с. — петербургской градской богадельни».

Выйдя из ресторана, я взял извозчика и поехал к Смольному. Вот и громадные здания богадельни, занимающей своими садами и корпусами около 10 десятин.

Оставив извозчика, я шел по тротуару. Из ворот богадельни изредка выходили старики и старухи. Я останавливал некоторых и расспрашивал, бреют ли старух, есть ли такой обычай. Старушки смотрели на меня с удивлением, как на сумасшедшего, и отвечали разное:

— У нас, батюшка, не каторга, а богадельня... Мы, слава Богу, не каторжные, чтобы нам головы брили, — сказала, между прочим, одна почтенная, лет 90, особа.

Сторож у ворот богадельни ответил, что никого и никогда не брили насильно, и посоветовал мне обратиться в контору. Я шел по двору, мне ползли навстречу богаделки. Из-под платков у многих виднелись седые волосы.

В конторе меня весьма любезно принял смотритель богадельни А. И. Соколов. Я назвал себя. Разговорились.

— Читали вы сегодня «Русь»?

— Да, конечно... Много смеялись. Такая богатая фантазия... Сначала я ничего не понял... Потом хотел ответить... А потом нашел, что и отвечать не на что... В прошлом году газеты также закричали, что в богадельне заживо сварили старуху... Ну, это хоть какую-нибудь подкладку имело: действительно, одна старушка кипятком колено себе немного обварила... А тут остается удивляться изобретательности... Да вот, не угодно ли, пройдемте по богадельне... Всех увидим...

Я поблагодарил за любезность и не отказался идти.

В этом громадном здании с бесконечными коридорами, по сторонам которых помещаются спальни старушек, живет до 3.500 человек, из которых 500 мужчин, а остальные женщины. Есть и молодые призреваемые, расслабленные, эпилептики, но таких мало. Все старики. Женщины — более долголетние, чем мужчины. Последние редко доживают до 100

лет. В числе старейших могу назвать старушку 122 лет Ксению Никитину, 101 года Софью Барабанову, а два года назад умерла 123-летняя старушка Исакова. Никитина переведена из этой богадельни в отделение для слабых у Самсоновского моста. Богадельня имеет еще одно отделение на Малой Охте для психических больных. Мы прошли коридорами, заходили на выбор в спальни. Около своих кроватей стояли и сидели призреваемые в чистых ситцевых платьях и белых платочках, покрывавших седые волосы. Мы видели, может быть, около 1.000 старушек — и ни одной бритой.

Просто «Русь» перепутала гоголевских героев. И не Артемию Филипповичу Землянике надо было поучиться у администрации управления петербургской городской богадельни, а Ивану Александровичу Хлестакову у репортера «Руси»!..

Петербург, 7-го января.

Праздник рабочих

О первом мая в Сокольниках говорили давно. Носились слухи о «бунте», об избиениях, разгромах. Множество прокламаций в этом духе было разбросано всюду. Многие дачники, из боязни этого дня, не выезжали в Сокольники, и дачи пустуют.

Но это был намалеванный черт, которого, оказалось, бояться нечего.

Гулянье 1-го мая в Сокольниках прошло благополучно. Народу было более 50.000.

К этому дню фабричные и заводские рабочие устремились в Москву; 30-го апреля и 1-го мая утренние поезда были переполнены.

С полудня на Старом гулянье и в роще стал собираться народ: гуляющие семьями, с детьми — в чайные лавочки за мирный самоварчик, и рабочие группами в роще для бесед и обсуждения своих дел.

Подстриженные, причесанные, одетые по средствам и обычаю, рабочие все были чисты, праздничны, и сновавшие между «ими хулиганы и «ночные сокольничьи рыцари» ярко отличались от них.

И когда эта «рвань коричневая» подходила к группам рабочих, ее встречали не совсем дружелюбно.

Зато этой «публики» множество сновало в толпе гуляющих, около балаганов, каруселей и остановок трамвая.

Они, как волки, бросались при посадке пассажиров и положительно грабили, пользуясь давкой. Почти в каждом вагоне раздавались жалобы об украденном кошельке, сорванных часах...

И эти воры сотнями осаждали переполненные вагоны трамвая и сыграли впоследствии важную роль в Сокольниках.

Беспорядок и народная паника обязаны только им одним своим началом.

Это было уже около четырех часов дня.

Гулянье было в разгаре.

Толпы собственно рабочих то мирно гуляли, то время от времени собирались партиями в роще, за Старым гуляньем и за театром общества трезвости. Здесь к ним примешивался народ. Говорились речи, иногда, может быть, и резкие, слышались иногда и «модные поговорки» последнего времени.

Но когда к этим толпам начинали присоединяться хулиганы и карманники, которым во что бы то ни стало нужен был беспорядок ради чисто грабительских целей, — являлись казаки, и толпа расходилась.

Речи иногда начинались, но не доканчивались.

Были случаи, когда начинали говорить речь, и оратора заставляли смолкать. Иногда слушали со вниманием.

Если в толпе были только одни рабочие, все обходилось благополучно: послушают, поговорят и мирно расходятся. Иногда после речей кричали «ура», но было все смирно.

Не то — когда появлялись хулиганы и карманники!

Последние-то и произвели беспорядок.

Было так: сзади Старого гулянья собралась громадная смешанная толпа. Явились ораторы, полились речи, которые одним нравились, другим нет; гомон, шум. И вот во время речей среди толпы кто-то сделал выстрел из револьвера. Безопасный выстрел в воздух.

Он, при гомоне толпы, и прошел бы незаметным, но шайка карманников и хулиганов воспользовалась удобным для них моментом экзальтированности толпы и еще не успокоившейся от тревожных слухов последнего времени публики.

— Бьют! Стеляют! Ура!.. — в десятке мест крикнули хулиганы.

Толпа подхватила — и загомонили Сокольники!

Ринулись, в давке, мчатся кто куда.

Более десяти тысяч, гораздо более, стремглав ринулось, ища спасения.

Это была полная паника.

Нечто ужасное, стихийное.

Нужно было быть самому в этот момент в толпе, нужно было быть увлекаемым этим потоком, натекать на падающих, получать толчки отовсюду, чтобы понять ужас паники.

А тут еще женщины и дети!

Крики, визг.

А карманники — одни они были хладнокровны — грабили в суматохе, срывали часы, вырывали сумочки у дам, тащили из карманов.

Публика ринулась на Ивановскую улицу и на Сокольничье шоссе, к трамваю.

Полиция не в силах была сдержать эту волну. Полицейские чины или вертелись, как волчки, на месте, не оставляя своего поста, или были увлекаемы народной волной.

Но карманники насытились, угрожающие возгласы стихли.

Через десять минут — ужасных десять минут — люди начали приходить в себя.

Все успокоилось.

К городу бежала «чистая публика».

Рабочие, больше державшиеся дальней стороны гулянья, удалились в лес и продолжали гулять, собираться своими компаниями.

Лавочки торговок — чайниц на время опустели. Конечно, многие бежали и не заплатили им денег за самовары.

Особенно сильная давка была на Ивановской улице, которая положительно была запружена воющей с испуга толпой. Лавочники при первом приближении заперли двери своих магазинов и натерпелись страха. Но ни одно стекло не было разбито, ни одного покушения ворваться.

Будь такой случай поздно вечером, — могло быть хуже.

Когда прошла волна толпы, на мостовой валялись шапки, шляпы, зонтики.

На месте сборищ в роще — масса прокламаций.

Кроме проделок карманников, все окончилось благополучно, не считая двух-трех единичных случаев столкновения с полицией.

Так, один помощник пристава, ротмистр М-ий был слегка ранен в шею финским ножом; виновный задержан. Это самый крупный случай. Зато участок переполнен был... детьми!

Неразумные матери, набравшие с собой едва выучившихся ходить детей на гулянье в Сокольники, во время паники порастеряли их!

И трогательные сцены встреч малых детей со своими родителями происходили и в участке, и на площади около участка, куда привели и принесли на руках потерянных малолеток добросердечные чужие люди!

Паника отозвалась далеко от места ее начала — Старого гулянья.

Бежавшие в испуге мчались по всей роще, до самой железной дороги, где падали от усталости.

Часть их ринулась в сквер, окружающий Царский павильон, откуда в испуге убежали музыканты и потом были водворены на место полицией, которая и заставила их играть для

успокоения публики.

Из соседней Царскому павильону кофейни Яни тоже разбежалась публика, не заплатив за кушанья. Отсюда, издали, действительно картина казалась грозной: со стороны Старого гулянья слышались ужасные крики, за тем взвилась туча пыли, поднятая бегущей толпой, наконец, показались и мчавшиеся в ужасе кучки народа...

Городской праздник был окончен. Москвичи, натерпевшись страху в десятиминутной панике, убрались восвояси, кто на трамвае, кто на извозчике, кто пешком.

Рабочие остались в роще, заняли чайные столики, снова стали собираться в свои партии.

И, надо отметить, между рабочими не было пьяных. Если и были последние, то это были обычные посетители Сокольников.

Часу в седьмом образовалась еще одна партия, человек в триста, которая прошла по четвертому просеку до линии московско-ярославской ж.-д. и на 5-й версте, на полотне, расположилась, и начались речи.

С двух сторон были выставлены самодельные флаги из куска красной материи, нацепленной на тут же сломанную палку, для безопасности от идущего поезда.

Начались речи.

И в самый разгар речей вихрем по IV-му просеку налетел взвод казаков, и толпа скрылась в чаще леса.

Это был последний эпизод в Сокольничьей роще 1-го мая.

Только в темноте ратовали хулиганы. В участок было доставлено с десятков пойманных карманников, несколько хулиганов и буянов, и произведено несколько арестов лиц за возбуждение толпы.

Все страхи и ужасы этого дня, навеянные некоторыми газетами и массой прокламаций, оказались вздорными.

Пусть же празднуют и рабочие!

Пусть 1-е мая в Сокольниках будет их день.

Как Татьянин день для студентов.

И если к этому их празднику не будут примешиваться посторонние элементы, если хулиганы в этот день блеснут своим отсутствием в Сокольничьей роще, — тогда не нужно будет никаких усиленных охранительных мер.

Рабочие — люди труда, уважающие чужой покой и чужую собственность, — погуляют, поговорят меж собой на своих «митингах» — и мирно разойдутся.

И пусть же 1-е мая в Сокольниках будет праздником рабочих.

И только рабочих!